Юрий Давыдов

# НЕУНЫВАЮЩИЙ ТЕОДОР

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Юрий Давыдов — известный писатель, автор многих исторических романов и повестей. В серии «Пламенные революционеры» вышли его повести «Завещаю вам, братья» (об Александре Михайлове), «На Скаковом поле, около бойни» (о Дмитрии Лизогубе) и «Две связки писем» (о Германе Лопатине). Новая книга Давыдова посвящена Федору Каржавину — современнику и единомышленнику Радищева, предшественнику декабристов, участнику американской революции. Автор сочинений, проникнутых бунтарским духом, просветитель, смыслом жизни которого были стремление к свободе и ненависть к рабству, — таким предстанет на страницах повести Федор Каржавин.


- Юрий Давыдов
  - 
  - ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
  - ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55

○ 56
○ 57

**Юрий Давыдов**
# НЕУНЫВАЮЩИЙ ТЕОДОР
## Повесть о Федоре Каржавине

# ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Поздним вечером стоял я в пустынном сквере близ Морского собора, смотрел сквозь метель на желтые окна старинного петербургского дома. Там некогда жил Каржавин.

В сонме ушедших навсегда есть люди, тобой избранные. Духовно, душевно прильнув к ним, обретаешь как бы теневое соучастие в земных делах и днях этих людей. А взявшись за перо, словно бы предаешься воспоминаниям.

Мемуарное не всегда объективно, ибо память всегда субъективна. Она подобна железу, отклоняющему магнитную стрелку. Угол отклонения корабельщики называют девиацией, специалиста, исправляющего девиацию, — девиатором.

К девиатору от истории я и обратился с просьбой снабдить мою рукопись комментариями. Перелистнув несколько страниц, он поморщился:

— Бомарше и Каржавин? Ни один источник не подтверждает.

— А хоть один отрицает? — молвил я робко. Он отрезал:

— Не навязывайте мне гипотез.

Я почтительно осведомился, приемлют ли гипотезы доктора наук.

— Приемлют, — кивнул он небрежно. — Но всякий раз прямо и ясно оговаривают.

— Вот и пожалуйста.

Он желчно молчал: «ученый малый, но педант». Наконец нехотя согласился, выставив условием безымянность. Объяснил:

— Паскаль… Был такой философ, может, слыхали? Паскаль прав: иные авторы бубнят — «моя книга», «моя история», «мои комментарии», а надо бы во множественном числе — «наша книга», «наша история», «наши комментарии», ибо едва ли не у каждого из них больше чужого добра, чем собственного. — Он ухмыльнулся, тыча пальцем в рукопись: — Да и в этих ме-му-арах, полагаю, чужого добра с избытком. — Я смущенно потупился. Он заключил сухо — Примечания помечу! *«Ст. Р.» — «Старый Разыскатель».*

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## *1*

Как сейчас вижу Отель де Голланд на парижской Вьей дю Тампль. Когда-то в особняке — старинный сочинитель изобразил бы его в подробностях, на пяти-шести страницах, — помещалось голландское посольство, позже находился торговый дом «Родриго Горталес и К°».

Таинственная коммерция!

Его величество вложил в дело миллион ливров. Его сиятельство благословил дело. Г-н Дюран приступил к делу. Оно нуждалось в арсеналах и кораблях. Оно требовало сугубой осторожности. Малейшая оплошность — Людовик XVI и граф Верженн, министр, ведающий внешней политикой, умоют руки, а г-ну Дюрану достанется на орехи. Он отлично сознавал, что идет на риск достаточно серьезный, однако и не столь уж крутой, чтобы надолго переселиться в Бастилию.

Погожим днем позднего лета 1776 года в одном из покоев этого особняка на Вьей дю Тампль сидел за письменным столом статный господин с крупным, прямым носом и бровями вразлет. Это и был г-н Дюран, генеральный директор, пли президент торгового дома «Родриго Горталес».

Писал он набело, без помарок:

«Мы будем снабжать вас всем — одеждой, порохом, мушкетами, пушками и даже золотом для оплаты войск и вообще всем, что вам нужно в благородной войне, которую вы ведете. Не ожидая ответа от вас, я уже приобрел для ваших нужд около двухсот бронзовых четырехфунтовых пушек, двести тысяч фунтов пороха, двадцать тысяч отличных мушкетов, несколько бронзовых мортир, ядра, бомбы, штыки, одежду и т. д. для войск, свинец для мушкетных пуль…»

Скрипнула дверь, секретарь доложил: в приемной — мсье Лами. Президент сделал жест, означавший: одну, мол, минуту, и его легкое перо продолжало свой плавный полет. Г-н Дюран обладал точь-в-точь таким же почерком, как и знаменитый сочинитель «Севильского цирюльника», но вы, любезный читатель, взгляните, не теряя времени, на посетителя в приемной. Не рассеянно взгляните, а пристально, он этого достоин.

Тридцати от роду. Шатен. Лицо округлое. Глаза серо-голубые. Левую щеку метит шрам, наводящий на мысль о поножовщине. Подбородок тяжеловат, что считается признаком волевых натур,

хотя тяжелым подбородком одарены и слюнтяи. Высок, плечист, тонок в поясе. Так и веет… не скажу — упрямством, скажу — непреклонностью.

Лами не занимал ключевую позицию на шахматной доске Дюрана. Однако генеральный директор не сбрасывал его с этой доски: Лами выполнит опасные поручения «Родриго Горталеса». К тому же генеральному директору было на руку то, что поначалу казалось Лами пустячным: да, он сын купца, но проценты и дивиденды ничуть его не приманивают.

Сын купца! Вот это-то и устраивало Дюрана. Он убедил Лами сообщить отцу о своем намерении торговать за океаном — на «сахарных островах», а при случае и на американском материке. Убедил внушать это знакомым и полузнакомым, об этом же извещать и оттуда, из Нового Света, — словом, всячески поддерживать репутацию коммерсанта. Только, упаси бог, и звуком не обмолвиться о причастности к торговому дому на Вьей дю Тампль. (Когда г-н Дюран излагал какую-либо комбинацию, связанную с Отелем де Голланд, лицо его принимало выражение дерзкое.)

Лами понял: директор предлагает надежное прикрытие подлинной задачи, подлинной цели. Хорошо, он, Лами, не отказывается испещрять пухлые конторские книги четкой цифирью, звучными бухгалтерскими терминами. Сверх того он готов при каждом удобном случае устно и письменно рассуждать об экспорте-импорте.

Все было решено. Если… если не думать об окончательном объяснении с женой. Мне было жаль обоих. Может, Лотту больше — я помнил ее трогательную влюбленность в этого пылкого пособника лихого разбойника Мартена, потом грациозного кавалериста из аристократической школы Шево-Летер, а затем преуспевающего ученика коллежа…

Итак, сентябрьским днем 1776 года человек с флибустьерским шрамом явился в Отель де Голланд отдать прощальный визит г-ну Бомарше, ибо под именем г-на Дюрана действовал не кто иной, как Пьер Огюстен Бомарше, автор «Севильского цирюльника».

Открыв один псевдоним, открою второй: Теодор Лами — это Федор Каржавин.[1]

А теперь пусть водит пером строгий Хронос.

## *2*

В 1752 году шхуна, пропахшая тузлуком, шла к берегам

Англии.

Снежные хлопья носились, как чайки. Чайки неслись, как снежные хлопья. Свирепый норд играл на вантах, как на контрабасе. Красиво? Поправкой возьмем прозаизм: Василий Никитич блевал. Мука мученическая! А семилетнего Феденьку качка миловала. Отец, морщась и охая, приговаривал: «Ты на корабле, что деды твои на облучке».

В ту пору не держал я обиды на купца Каржавина. Это уж потом, в Кронштадте, не только обиделся, но и порицал сурово. А тогда… Тогда он был мне симпатичен — представитель молодой российской буржуазии. Я ж на школьной скамье усвоил — буржуазия прогрессивнее феодалов. Ну вот, и был мне приятен этот Василий Никитич Каржавин.

Приписанный по рождению к московской ямщине, он ямскую повинность не отбывал. Год от году шел в гору. Вломился в питерскую первогильдейщину и возмечтал: «Очень меня к себе заморский торг волочет!» Смиренники возражали: «Помышления за морем, ан смерть-то за плечами». Василий Никитич, смеясь, отвечал, что думать о старухе с косой страшнее, нежели помереть, не думая о ней, и что, какие бы ни были помышления, от этой старухи все равно не отвяжешься.

На титуле приходно-расходных книг купечество выводило жирно: «Г. Б.» — господи благослови. Блатословясь, вертелось мелким бесом. Василий Никитич ругался: «Ты в бочки с солониной копыта пихаешь! Какой же тебе кредит!» Другого вразумлял, опаляя темными горячими глазами: «Была у тебя мошна, что баба на сносях, да вдруг и проторговался до лопанцев. Отчего так? Понятия о генеральной коммерции нету! Ты, я, он — дробь, булавки. Иная песня — компанейски!»

У Василия Никитича был дальний прицел: учредить компанию с оборотом в пять-шесть миллионов; завести конторы в Гамбурге, Лондоне, Амстердаме; просить Адмиралтейскую коллегию — устройте за наш счет штурманскую школу, учите мужицких ребятишек навигации, а мы уж взбодрим славный купеческий флот, которому порадовался бы и царь Петр.

В этих мечтах-помыслах слышу отзвук ямщины. Его предки называли дорожные версты поприщем. Стреляя ременным кнутом, гаркали: «Дуй по пеньям — черт в санях!» Василию Никитичу поприще в морях распахивалось. Не кнут стрелял, а корабельная пушка, возвещая отплытие. Не кони роняли мыло, а форштевни срывали пену гривастых волн.

Он свечи палил дюжинами, сочиняя проект генеральной российской торговли. Другой проект — личный, семейный — клонился к тому, чтобы дать первенцу европейское образование

да и пустить по коммерческой линии. И вот, прихватив кое-какой товар, повез Феденьку в город Лондон. Повез, не спросясь дозволения властей.

В устье Темзы распогодилось. Тонко и четко прочертились корабельные мачты. Дегтем пахнуло и мокрыми канатами. Быстро, кратко струились узкие вымпелы. И влажно блистали лопасти весел, гребцы на баркасах были здоровенные, как преображенцы. Солнце, прорежив тучи, раскинуло лучи свои; казалось, громадные корабельные ванты протянулись до небес, хоть сейчас вбегай, увидишь как на ладони весь мир.

Василий Никитич ожил, оглядывался зорко. Он и в Питере, бывало, любовался портом. Водил Федю к Малой Неве, где таможня, а ниже по теченью Пеньковый буян. Весело хлопал по спине: «Примечай, малый!»

Смеркалось. Лондон-город показал огни. На пристани дожидались пассажиров проводники-оборванцы. Старательно, до легкого пота Василий Никитич выговорил: «Чипсайд. Сент-Мэри-ле-Боу»…

Запалив факел, проводник, освещая дорогу, независимо застучал башмаками — сват королю, брат министру. Василий Никитич не без досады подумал: «А наш-то простолюдин шастает тараканьей побежкой, да еще и с оглядочкой».

## *3*

Следуя за отцом и сыном, я думал о Петрухе Дементьеве. То есть не то чтобы думал именно о нем, а видел, как из дворов раскольничьей слободы выкатывают розвальни — мужики, бабы, ребятишки, узлы, веники, тазы. Славно за Яузой банились! А ребятишкам удовольствие — ну, баночки-кубышечки наливать, переливать, плескать друг на дружку. Потеха! Васёна Каржавин и Петрей Дементьев неразлучными были, всегда и везде вместе.

Входя в возраст, оба приохотились к мирскому чтению. А следом и брат Васёнин, Каржавин младший, Ерофей, по-домашнему — Ероня. Исподволь почувствовали они журавлиную тягу туда, туда, за горизонты. Не по зрелому размышлению, а по чувству долга Василий Никитич предпочел журавлю в небе синицу в руке: отец, дряхлея, передал ему дело. А Дементьев с Ерофеем взмахнули крыльями: жили на Яузе, поживем на Узе. Родственникам-свойственникам объявили: хотим, мол, на Ветку, а сами-то, Василий Никитич знал, не помышляли присохнуть на Ветке, нет, совсем другое в уме было.

На порубежье с Польшей, неподалеку от Гомеля, в местечке

Ветке чисто и честно жили раскольники. В заповедном сосняке, у излучины омутистой Узы срубили Лаврентьевский монастырь, знаменитый во всем старообрядчестве. Вот туда и подались Петр Дементьев и Ерофей Каржавин. Однако и вправду не «присохли», благо кордонные стражники, падкие на мзду, глядели сквозь пальцы: ступай, брат, коли охота пуще неволи. Они и пошли вослед солнышку, клонящемуся к закату…

Дементьев угнездился на Чипсайде, улице ремесленников. Был сперва учеником, потом подмастерьем; наконец стал мастером. Занимал верх краснокирпичного дома в три стрельчатых окошка. Внизу помещалась аптека, зеленый фонарь светил над дверями, обещая в полночь — за полночь целительные снадобья всем болящим и скорбящим.

Они списались загодя, Дементьев ждал Каржавина, однако удивился, увидев еще и мальчугана. Василий Никитич понизил голос:

— Можно сказать, тайком увез…

Дементьев прыснул:

— Здесь, Васёна, не таись.

И Каржавина опять, как давеча, завистью просквозило к заморскому. Он и потом, созерцая Лондон, испытывал нечто похожее — прикидывая на домашнее, сопоставляя с домашним. Спешу, впрочем, засвидетельствовать: не ударялся Василий Никитич в позорное низкопоклонство перед иностранщиной, грех для россиянина смертный.

Средневековый автор и тот дорожил терпением читателя — воскликнув: «много было удивительного», сам себя осадил: «но рассказывать долго». Обозначу лишь крохотный эпизод, ибо есть они, эдакие таинственные токи судьбы.

На Патернастер-роуд, где книжные лавки, Василий Никитич купил атлас. Гравированный, цветной, залюбуешься. Курчавые младенцы, надувая щеки, символизировали ветры разных румбов. На волнах кувыркались дельфины. Корабли, похожие на китов, и киты, похожие на корабли, шли, переваливаясь, встречь друг другу. Грудастые бабы обнимали связки фруктов. А верхом на бочке сидел голый мужик и, задрав голову, пил из кубка пенное, сладкое и, должно быть, душистое.

Василий Никитич, приобняв Федины плечи, склонялся над атласом. Разглядывали они вест-индский остров. «Мартиник… Мартиник…» — повторял Каржавин-старший, оглаживая ладонью Федину голову. «Мартиник…» — что-то особенное чудилось Василию Никитичу в этом звуке, да, особенное, мелодичное и манящее, но он, понятное дело, не думал, не гадал, что сын-то его, Феденька, узрит воочию этот «Мартиник», увидит и в мирных

буднях, и в ту страшную, погибельную ночь, когда от прелестного городка Сен-Пьер останутся одни руины.

Увлеченные Пространством, не слышали они то, что слушал Петр Дементьев, — стук морских часов с новейшим спусковым устройством, похожим на задние лапки кузнечика. Часы были далеки от шедевра, необходимого штурманам. Шедевр сулил премию в двадцать тысяч фунтов стерлингов.

Часы корабельные были мечтой; часы, так сказать, сухопутные — хлебом насущным. Механизмы, стрекоча, как цикады, казались пунктиром Вечности. И придавали ей вещность. Мерцала в металле загадка Времени. Материя физическая сливалась с материей философической. Дементьев восторгался: бог-вседержитель есть Часовщик Вселенной.

Василий Никитич ронял небрежно: «Враки!» Его атеистические «ха-ха» еще пуще злили Дементьева, когда Ероня приехал.

Тот явился как призрак — при полуночном бое Сент-Мэри-ле-Боу. Впрочем, ничего потустороннего в этом не было: он жил по ту сторону Ла-Манша. Пролив штормил, пакетбот опоздал к дилижансу Дувр — Лондон, пришлось добираться, как сказали бы нынче, на попутках.

Бледен и худ был младший брат Василия Никитича. Они обнимались накрепко. Ласково облобызал Ерофей Никитич племянника. И Дементьева, давнего приятеля, тоже. Повеяло московским детством, тихим плеском речки Яузы.

Неделю, может и дольше, длилась встреча на Чипсайде. Не бражничали братья, вели беседы-разговоры откровенные, нараспашку. Старший, намолчавшись во льдах петербургских, отворил шлюзы. Младший радовался единомыслию со старшим.

Петруха Дементьев уши не затыкал, но, повторяю, его коробили суждения-рассуждения Васены и Ерони. Не потому, что яростно потешались они над попами, обзывая дерьмом и православное, и католическое священство, Петруха тоже не жаловал служителей алтарей. А потому, что напрочь отрицали Часовщика Вселенной. Нету, не существует, выдуман, басня. Вот так-то! А простаки-бедняки веруют и, страшась загробных мук, безропотно сносят земные муки от неверующих владык.

Не пощадили и власти предержащие. Старший высказывался в том смысле, что воры сидят вкруг тропа, как вороны; государыня Елизавета, умом недальняя, потакает мздоимцам, а достойные люди во изгоне, челобитчики рыдают. Младший же высказывался в том смысле, что, ежели внести светоч знания в гущу простолюдия, возникли бы из сей гущи великие правители, без корон на голове, а с головой на плечах и чувством

справедливости в сердце.

Все это отозвалось впоследствии двойным эхом. И под тяжкими сводами приневского застенка, о чем речь ещо будет. И в душе неотрывного слушателя Феденьки.[2]

Не розно мыслили братья Каржавины и о делах купеческих. Торговля — мать вольности — пойдет в рост, обретет мощь да и положит на лопатки владык с гербами. Но едва старший попытался склонить младшего к содружеству — будешь-де моим «коррешпондентом», посредником в сделках с европейскими мануфактуристами, — младший отказался: он, мол, наукам предан до скончания живота своего; он-де намерен ученые трактаты писать и печатать, с русского на французский переводить, с французского на русский, передавая свет просвещения, как факел.

Василий Никитич вспылил. В его гневе бурлила обида — и на отказ Еронин, и на Еронино превосходство. Ведь и он, Василий Никитич, некогда прельщался науками, однако отклонился, ибо отцовский промысел возложил на загорбок, как поклажу, один изо всего семейства несет, ровно каторжный.

Бурым, как бурак, был Каржавин-старший. А пишущий эти строки вопросительно поглядывал на него из темного уголка: кому сына-то поручаешь? Ты кого желаешь увидеть в наследничке? А? Знатока генеральной коммерции, чтоб в европах ворочал. Ну, и какого же воздействия на мальчугана ждешь от Ерофея-то Никитича? Будешь потом волосы рвать, себя не помня, учинишь безобразие в Кронштадте…

Каржавин-старший тем временем переломил гнев свой. Стали рассуждать о будущем Федином ученье. Ерофей Никитич, вдохновясь, начертал программу, включившую не только коллеж, но и Сорбонну. И начертав, привлек к себе племянника. Тот смотрел на дядюшку с немым ликованием. Василий Никитич посветлел: «Будь по-твоему, Ерофей. И тебе и Федюшке каждый месяц по пятидесяти рублев».

Ерофей Никитич встал и поклонился. Хотел было заверить старшего брата в искренней любви, но из давнего, детского всплыло — негоже младшему заверять в любви старшего. И парижанин завил старомосковским кренделем:

— Всегда, Василий Никитич, почту за счастье иметь оказию доказать преданность.

Василий Никитич растрогался, махнул рукой:

— Эва, «преданность»… Покамест нужда — «преданность», а вот вельможей станешь — забудешь. Зна-а-ем мы человеков, знаем, преданность — покамест докука есть, забота, а нету — фью-и-ть…

— Вельможей не стану, — весело ухмыльнулся Ерофей.

Каржавин-старший справил гардероп и брату и сыну. Потом ходил с Ерофеем — тот толмачом-переводчиком — на Ломбард-стрит, к негоциантам и банкирам. Василий Никитич не без выгоды сбыл серебряный лом и окатный жемчуг, а с купцом Горном условился о поставках шеффилдских стальных изделий, пользующихся шибким спросом в Петербурге.

Подступил день росстанный. На почтовом дворе запрягали коней дуврского дилижанса. Федя расплакался, Василий Никитич, дрогнув скулами, молвил: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка…» Ерофей Никитич молитвенно прижал ладони к груди и, едва не всхлипнув, поклялся страшными клятвами беречь и холить племянника.

Пора было и Каржазину-старшему сниматься с постоя на Чипсайде. В последний вечер Дементьев, пряча глаза, покорнейше просил одолжить деньжонок. Ей-ей, вернет: сработает морские часы и получит двадцать тысяч фунтов. Василий Никитич почувствовал что-то вроде изжоги. Ох шаткий кредит, ох шаткий. Но не отказал, обещал выслать из Питера.

Простились на пристани. Было ясно, свежо, просторно. Дементьев всхлипнул. Потом долго махал шляпой. Горевал он, прощаясь с Васеной. Горюя, верил в скорую подмогу. Да и как не верить? Друг не обманет. А кто посмеется над другом, тот над собою поплачет — есть такая пословица.

## *4*

Старый стилист указывал: иногда надо писать «Париж», а иногда — «столица королевства».

Завидуя тем, кто нынче ездит в Париж, полагаю, что и они могут позавидовать тому, кто ездил в столицу королевства.

Поселились Каржавины на антресолях. Зимой холодно, летом душно. Сырость, картограф бедняков, изукрасила стоны контурами материков и морей. Да ведь зато вид на Пале-Бурбон! Блистают на фасаде плошки, подкатывают кареты, живописно галопируют всадники. И так красиво, красиво и мерно расхаживают по двору статные стражники.

Дядюшка Ерофей гасил восторг племянника:

— Они Мартена боятся, а мы нет.

Федя заряжал мушкет. Грозный Мартен склонялся с седла: «Малыш, у тебя львиное сердце!» — и, пришпорив коня, мчался дальше. Во главе сотни храбрецов разбивал тюрьмы и грабил богачей. Говорили, вот-вот грянет на Париж. И тогда он, Федор —

Теодор, приведет всех жильцов своего дома — туда, в Пале-Бурбон. И пусть они живут во дворце, а не в грязных логовищах. И пусть лакомятся котлетками из филе.

Пряча улыбку, дядюшка Ерофей вздыхал:

— Эти котлетки, дружок, не про наш роток.

— А пирожки вкуснее! — бойко отвечал племянник.

Мадам Жакоб мастерила шляпки. Но ее истинным призванием были пирожки с мясом. Упоительный запах повергал в исступление кошек, ютившихся на темных, от века немытых лестницах.

Упоминание о пирожках смутило Ерофея Никитича: не догадался ли Феденька? Ей было за тридцать, ему не было и сорока… Говорят: сытое брюхо к наукам глухо. Ну, а голод тоже не способствует постижению философических и математических истин.

Нет, ни о чем не догадывался племянничек. А пирожками его угощала Лотта — голубоглазая сиротка, ученица мадам Шакоб. Угощала тайком — мадам отличалась щедростью лишь на альковные ласки.

Обнаружив контрабанду, Ерофей Никитич задал воспитаннику взбучку. Можно было лопнуть со смеху, когда добрейший дядюшка напускал на себя строгость.

— Примером бери савояров! — заключил Ерофей Никитич.

Савояры жили в том же доме. Почти весь свой заработок, жалкие су, мальчики отсылали беднякам родителям в Савойю. Савояры чистили дымоходы. К их рукам чужое не липло. А ведь так легко прикарманить какую-нибудь безделушку — достало бы на прокорм деревенскому семейству. Очень легко похитить, когда выгребаешь сажу из дворцовых каминов, из каминов роскошных особняков. Но никто, никогда не приглядывал за савоярами. Их честность стала пословицей. И потому: «Примером бери савояров».

Пусть так. Но пирожков много у мадам Жакоб. И он, Теодор, отделяет толику савоярам. До чего же охота поспрошать, каково там, в этих пале-бурбонах. Савояры, принимая пирожки, от рассказов уклонялись — измученные, одеревенев всеми хрящиками, они едва ли не замертво валились на свои тощие тюфяки и засыпали мгновенно.

Вот Тимоха — другое дело.

Дворовый Воронцовых Тимоха сопровождал юного графа. Юный граф путешествовал. В Париже он отдавал визиты светочам наук и искусств. Ерофей Никитич застал его однажды в кабинете академика Бюаша. Метр лестно аттестовал мсье Каржавина. Юный Воронцов был любезен, но холоден. А Тимоха, слуга

Воронцова, тянулся к землякам, что, по правде сказать, не больно радовало Ерофея Никитича — не по сердцу был ему этот воронцовский дворовый: тот, кто тщеславится богатством и знатностью своего барина, своего душевладельца, тот вдвойне раб, вдвойне холоп.

Повадившись на каржавинские антресоли, он утолял Федино любопытство. Выходило так, будто Тимоха был не слугой, а вторым «я» своего господина. Вместе числились они в Шево-Летер, кавалерийской школе; принимали туда лишь по приказу короля. Их сиятельство был зван повсюду. Ну, сталоть, и он, Тимоха, тоже. Они в Версале как дома, все двери настежь. Вот так-то, братец Феденька, живем, не тужим.

И братец Феденька уже не заряжал мушкет для храбрецов Мартена, а тоже числился в Шево-Летер. У него была дама сердца. Она ехала в карете, он рысил обочиной. Она грациозно улыбалась, он приподнимал шляпу. Впереди, на холме, стояла зубчатая башня, над башней вились флаги; еще минута — и блеснет золотая труба, горнист, раздувая щеки, возвестит всей округе об отважном рыцаре Теодоре. Там, в башне, он, кавалерист, поцелует даму сердца.

И он поцеловал ее на темной лестнице.

— Сударь, вы меня электризуете! — вспыхнула Лотта.

Господи, откуда она подцепила такое? То было светским признаньем в любви. Может, слыхала от клиенток шляпницы Жакоб? Во всяком случае, девочка знала, что значит «электризация», а кавалерист не знал. И, потупившись, объяснил свой поцелуй тем, что Лотта очень похожа на его, Теодора, старшую сестру… Ах, и только-то? Лотта надула губки. И вдруг спросила, хороша ли сестрица мсье Теодора? «Очень!» — пылко воскликнул мальчик. И тогда Лотта, опустив реснички, жарко поцеловала очаровательного кавалериста из королевской школы Шево-Летер.

Обоюдная «электризация» осталась вне бдительного дозора дядюшки Ерофея. Ничего не подозревая, он сделал так, чтобы они часто оставались наедине. Дядюшка Ерофей велел племяннику ликвидировать Лоттину безграмотность. «Польза обоюдная», — сказал Ерофей Никитич богине пирожков. Толстуха подмигнула: «О да, обоюдная!» Ерофей Никитич покраснел. Он вовсе не выгадывал время для свиданий. А пишущий эти строки привел сей эпизод не ради игривости, а чтобы подчеркнуть желание дядюшки Ерофея просветить сиротку, его тонкую педагогику по отношению к племяннику: уча других, мы учимся сами.

Он был доволен Феодором-Теодором. Прилежен. Успехи быстрые. Латынь и французский, математику и географию,

постигая легко, забирает в память прочно. Но племяннику говорил: «Не обольщайся! У каждого из нас знание ограниченно. А то, чего каждый из нас не знает, — безгранично. Не к смирению зову тебя, оставим его послушникам. Нет, к бунту зову, противу себя бунтуй, но давай потачки: nulla dies sine linea».[3]

Феденька не обольщался, рапортовал в Петербург: «Государь мой батюшка, ты от меня трех грамоток на трех языках требуешь. Я повеление твое исполнить готов, но токмо во оном моем триязычном ответе разума, кроме письма руки моея, будет не весьма много…»

«Грамоток» из Петербурга ждали нетерпеливо; часто наведываясь в почтовую контору, искательно заглядывали в глаза скучного чиновника.

В тех «грамотках» Василий Никитич, лаская сына, нередко обижал меньшого брата. Еще в дни лондонского свидания срывались с языка грубости: «Я не князь, чтобы тебя кормить. Бедствуешь в Париже? А неча было с голой-то… толь далеко залетать». Теперь язвил: «Господин Ломоносов из бедной самой фамилии; никто об нем для пищи не старался; всегда хлеб сам доставал и обучаться сам 15 лет довольно имел. А нынче, я признаваю, по крайней мере 3000 р. и более в год достает; честию — Академии советником; всегда при милости императорской».

Ерофей Никитич сокрушался:

— Ох, Василий, варварский нрав имеешь…

И, наливаясь гневом, грыз перо. Потом вонзал в чернильницу, как стилет. Выхватив, ронял на бумагу кляксу, это отбивало охоту к громоподобному письменному опровержению, и Ерофей Никитич ограничивался восклицаниями:

— Я учеными мужами поощряюсь!

Ерофей Никитич не упускал случая ввести племянника в их домы. (Тогда говорили не «дома», а «домы» — лучше!)

Барбо переводил с немецкого историю России. Ерофей Никитич помогал; перебелять главу за главой усиживал Теодора: не столько для чистописания, сколько для запоминания — из кладовых памяти черпают материал для размышлений.

Зная увлечение мсье Каржавина еще и астрономией и географией, историк Барбо дудел, как в дуду, при этом его длинный галльский нос, казалось, ползал на полном лице, отчего физиономия профессора обретала трагикомическое выражение.

— Не волочитесь за Уранией, вы призваны служить Клио!

А старик Делиль фыркал;

— Клио! Я не питаю к этой потаскухе ни малейшего почтения. Она сожительствует с любым сочинителем. — Астроном ронял пепел куда ни попадя; парик сидел на нем

косо. — Звезды в небе и чувство долга в сердце, — патетически объявлял астроном, указывая на мраморную Уранию с небесным шаром в руках. И делал отстраняющий жест: — Все прочее — несерьезно. Ах, мой друг, жизнь без нее, — тут он опять указывал на богиню астрономии, — право, подобна смерти.

Мсье Каржавин величал старика Иосифом Николаевичем. Делилю это нравилось. О, в России он знавал хорошие дни. Двадцать лет служил в Петербурге директором обсерватории.

Отвергая тягу к «потаскухе Клио», старик Делиль уступал мсье Каржавина коллеге Бюашу: картография — кузина астрономии. Конечно, младшая сестра, добавлял старик, снисходительно улыбаясь. Он был великолепен, этот жрец астрального храма…

В кабинете Бюаша сверкали огромные венецианские окна. Потоки света омывали ландкарты и глобусы. Снопы солнечных лучей, перемещаясь, придавали им мощь и праздничность.

Бюаш набрасывал абрисы морского дна. И устремлял на мсье Каржавина ясно-синие глаза:

— Взламывая тяжкие оковы, океан обнажает извечно сокрытое.

Красно говаривали парижские метры; в звонком изяществе речений была двоякая, казалось бы, несовместная, точность — математическая и поэтическая.

Теодор-Феодор не знал, что же предпочесть? В библиотеке историка Барбо он, вчерашний пособник разбойника Мартена и недавний кавалерист Шево-Летер, был ревностным поклонником Клио; любуясь мраморной Уранией — ее пажем; среди ландкарт и глобусов — вторым Колумбом.

## *5*

Возвращались пешком.

Пересекая улицу, не угоди в сточную канаву. Щеголь оскользнулся и вот уж трясет манжетиной, брезгливо морщась на заляпанные башмаки. Смех! Колеса кареты мечут комья грязи, а парижская грязь хуже кислоты разъедает обувь и одежду. Не до смеха! Знай увертывайся. Утихнет гром кареты, услышишь скрип вывесок, вторящих голосу ветра: вывески качаются на кронштейнах. (Были и такие: «Окулист для глаз».) Услышишь не только скрип, но и вонь: Париж терзает обоняние чадом салотопен, кожевенных мастерских, скотобоен. Разве что переведешь дух на берегу Сены, любуясь на ялики. Но что это? Шорох саранчи: спешат, спешат нотариусы, судейские и прочие

чиновники. Мир стоит на трех китах? Басня! Мир стоит на контрактах и кадастрах, апелляциях и кассациях, дарственных и приговорах, претензиях и контрпретензиях… Как же не спешить урвать свой кус?! Шорох черных мантий, шорох белых бумаг. Для одного в этом звуке — пастораль золотых луидоров, для другого — скрежет ворот старинной долговой тюрьмы, проклятой Фор-л'Эвек, куда сажают банкротов, а дабы не скучали, сажают и провинившихся в чем-либо актеров.

Смеркается, вечереет. Ерофей Никитич убыстряет шаг. На стражников он не надеется: ночные дозоры, известно, появляются либо до грабежа, либо после грабежа, но в минуту разбоя — шаром покати. Дядюшка убыстряет шаг, а племянник делает вид, что устал донельзя, — Феденька медлит нарочно: страсть охота поглазеть на вечерний Париж.

У, круговерть!

Сломя голову несутся кабриолеты, берлины, коляски-визави. И вдруг — затор, водоворот. Никто никому не желает уступать дорогу. Ни министру, ни епископу. Хаос постромок, оглобель, задранных лошадиных морд; надсаживаются полицейские, кучера бранятся, зеваки хохочут. И так же внезапно, не сообразишь, каким манером, но вот все сдвинулось, все ринулось — и опять скоком, и опять сломя голову… У освещенных театральных подъездов — толчея; первые партии в трик-трак в трактирах; в танцевальных залах первые такты кадрили. Кадриль не отплясывают, о нет, кадриль вершат с такой глубокой серьезностью, с какой не вершат и судьбы Европы.

Основательный Ерофей Никитич не одобряет этих парижан:

— Лягушки-квакушки!

Версальские вельможи, стараясь уловить парижские пересуды, настороженно усмехались: «О чем квакает наш добрый Париж?» Ирония Ерофея Никитича была иной. Не осуждая соль парижского злоречия, он усматривал в ней подмену ума остроумием. Ему претили прожигатели жизни, те, кто свою душевную черствость маскирует флером пикантностей, пусть и политических. Они зубоскалят над персонами, чьи титулы, адреса и приемные часы указаны в «Королевском альманахе», а на другой день пресмыкаются в дворцовых сенях, клянча должность или подачку. Они не прочь съязвить и насчет короля — у его величества ни единой черты величия, у его величества велик лишь градус сладострастия, а на другой день вопят: «Да здравствует Людовик Возлюбленный!»

В час, когда городские фонарщики умеряли яркость уличных фонарей, а небесный фонарщик удваивал яркость Луны, дядюшка и племянник видели седьмой сон. А может, и не видели, спали

крепко, ибо не было у них сонника для разгадки сновидений.

Они не слышали предрассветный рокот, похожий на рокот морского прилива. А тот, нарастая, дробился на стук копыт и колес, катил, катил в сторону Крытого рынка: левиафан заглатывал горы провизии. А сумрачные старьевщики отворяли лари, огромные, как кладбищенские склепы. И вот уже наперекор здоровым деревенским запахам парного мяса, солений и копчений стлался, как крался, темный душок городского тлена.

Рядом с рынком и дальше, в улочках и проулочках, дымились жертвенники рассветного Парижа — большие посудины с подслащенным кофе. Выкладывай два су, пропусти кружечку и беги в кузнечную, столярную, кожевенную. На заставы беги или к набережной Сены — там всегда нужда в грузчиках, отравленных нищетой до полной покорности.

А савояров призывали трубы — безмолвно дымящие дымоходы Парижа. Деревянные башмаки-сабо выбивали дробь на лестнице. Еще четверть часа, и двери антресолей толкал старик-водонос. Шелудивый песик семенил за стариком. Старик сказал однажды Ерофею Никитичу: «Если я его прогоню, то кто же будет меня любить?» — и, разведя руками, обнажил беззубые десны в ухмылке печальной и слабой.

Плеск воды из ведер, опрокинутых над бочонком, отзывался в душе Ерофея Никитича: «Если не будет Феди, то кто же будет любить меня?» Он поднимался и разводил огонь в камельке. Помешивая ложкой, разогревал вчерашнюю похлебку и думал о продолжении вчерашнего, то есть о рукописи, над которой трудился усердно я которая, как он надеялся, будет весьма полезной.

Россияне, залетев в Париж, пихали в сундуки вороха галантереи, охапки водевилей, выкройки последних фасонов. Пустельги! Ерофей же Каржавин сознавал свое назначение, никем не утвержденное. Именно он, Ерофей Каржавин, полагал себя посредником между учеными Парижа и учеными Петербурга. Он хотел, чтобы первые знали труды последних. На шатком, в кляксах столе лежала рукопись: «Заметки о русском языке и его азбуке»…

Так жили они в Париже, беды не чуя.

А беда близилась. Началось с того, что месяц, другой, третий не было ни писем Василия Никитича, ни денежных субсидий. Младший отписал старшему: дороговизна гнет в три погибели, почто забыл нас, бедных? Ответа не последовало.

Стали жить в долг.

Но можно рукопись продать? Рукопись, удостоенную похвал Парижского университета, отвергли парижские типографы: надо

заказывать русские литеры, без них учебник не учебник, а заказывать литеры — значит нести дополнительные расходы, не будучи уверенным в последующих доходах.

Барбо негодующе дудел:

— Проклятые скряги! Они мечтают держать Вольтера взаперти и без штанов, чтобы не сбежал. Работал бы день и ночь, а они платили бы ему несколько су. Любая мода может овладеть Парижем, но только не мода на бескорыстие.

Ерофей Никитич грустно улыбался: он, Каржавин, принял бы и такие условия — без штанов и несколько су.

Делиль рычал:

— Мой друг, вы, как тот поэт… Он просил у министра денежной помощи, а министр поднял брови: «Зачем она вам?» Поэт вскричал: «Сударь! Мне же необходимо существовать». Финансист отрезал: «Не вижу в том необходимости». — Делиль фыркнул: — Как вам это нравится? Не скупость, нет! Хуже. Господин министр и впрямь не видел «необходимости»!

Ерофей Никитич скорбно поддакивал. Академик Бюаш сердился:

— Издатели-мерзавцы, лишь бы руки греть. Ваш труд не пропадет. Но прежде надо озаботиться хлебом насущным, и я этим займусь, клянусь честью, займусь.

Ерофей Никитич печально кивал.

Бюаш, лично известный его величеству, ходатайствовал — мсье Каржавин достоин отправлять должность библиотекаря Королевской библиотеки. Не удостоили.

Парижские метры сочувствовали московиту, но не раскошеливались. Домовладелец, сочувствия чуждый, стращал выселением. Жилец просил; «A credit…»[4] Хозяин непреклонно вздергивал подбородок: «A bon droit…»[5] Ерофей Никитич прощально смотрел на свои книги. О, запах голландской бумаги, сафьяна эльзасской выделки… Ужель букинисту? Непереносимой была мысль об утрате «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел». Как! Расстаться с детищем Дидро п Д'Аламбера?! Лишиться родников и светочей?! Прикидывал в отчаянии — не продать, а заложить? Пойти к ростовщикам… Они всегда сумрачны, всем своим видом внушают: наш промысел не из веселых, да ведь должен же кто-то спасать погибающих… Мысль о здешних, парижских гарпагонах соотносилась с мыслью о гарпагоне тамошнем, санкт-петербургском.

Ерофей и в Лондоне костил процентщиков. Это когда они с Василием Никитичем толковали о «генеральной коммерции». Старший настороженно спросил: «Кто таков Гарпагонов?» Младший объяснил: дают на театре комедию господина Мольера

про скупца Гарпагона, пускающего деньгу в рост. Василий Никитич огрызнулся: я, мол, хоть и первой гильдии, а тоже процентщик, потому благонадежно; он, Ероня, в своем Париже в ус не дует, а ему, Василию Никитичу, хребет ломать: задарма из ямского сословия не выключат; вот тебе и гар-па-го-нов. И пусть этот… как, бишь, его?.. Пусть господин Мольеров лясы точит, вольному воля.

И все же Ерофей Никитич отвергал «гарпагонство» Василия Никитича. Ну хорошо, говорил, будь я один. Да ведь Федя! Феденька! У Васьки скулы дрожали: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка». Легко сказать: оставаться спокойным среди бедствий. Стоик Катон, твой совет неисполним.

Не знал Ерофей Никитич, что делать, куда броситься.

## *6*

Не знал и Василий Никитич.

Заарестовали его в Петербурге, на Адмиралтейской першпективе, где квартировал он с фамилией.

(Одновременное пребывание автора в разных эпохах мстит эклектикой словаря. Примером, и вероятно не последним, вот эти «заарестовали», «першпектива», «фамилия». Наперед предполагая раздражение читателей, автор просит о снисхождении, заверяя притом в своей чуждости нарочитой стилизации.)

Процедуру лишения свободы вершил служитель Тайной канцелярии, эдакая орясина с диковинной фамилией Золототрубов. Отродясь пороха не нюхал, а тут, выпятив брюхо, сотрясал воздух батальными иерихонами. Каржавинские бумаги укладывал в парусиновый мешок, как боевые трофеи. «Мясничья рожа», — мелькнуло Василию Никитичу.

Прощальным взглядом глянул он на жену, на детей, испуганно жавшихся друг к дружке, все вдруг померкло — будто горела свеча, да вот и насунули железный гасильник. Страшно стало, утратил он силы телесные, будто вся кровь из жил, утратил и силы душевные, будто душа отлетела.

Долго ли, коротко ли колтыхался крытый возок? Этого Каржавин сказать не сумел бы по причине едва ли не полного бесчувствия… Остановился возок, выпихнули арестанта на забеленный порошей двор, услышал он гром курантов — сплющило, словно кувалдой, побелел белее пороши.

В сводчатом помещении, сумрачном и гулком, шибало нечистым исподним, как в прачечных на Мойке. Какие-то оборотни, шишиги какие-то наскочили — щупают, шарят,

раздевают, разувают… Он не противился, он повертывался, вроде бы торопился невесть куда. Щелк, щелк, щелк — падали пуговицы, отчекрыженные от кафтана. И вот уж, будто крюками зацепив, поволокли в каземат.

Старик унтер, дуб мореный, ухмыльнулся:

— Здесь келья — гроб, дверью — хлоп.

Мрак и стужа ознобили Василия Никитича.

Известна мыслишка новичка-колодника: сейчас поймут, что ошиблись, и дверь нараспашку — ступай, брат, домой, не поминай лихом, и на нас, брат, бывает проруха.

И точно — нараспашку! Шурхнула прелая шинелишка, шмякнулись разбитые сапожонки. Помедлив, Василий Никитич облачился в эту рвань да и сам будто в рухлядь обратился. Неверной рукой нашарил каменную осклизлую скамью, лег, подобрал ноги, подвернул полу шинельки. Помаленьку угреваясь, привыкая к темноте, усердно пригласил самого себя: разум-то собери в горсть, из малых ребят давно выбрел.

Собирая, выставил вопрос: не взят ли по делам раскольничьим? Помилуйте, давно уж отщепился от древлего благочестия, в потаенную молельню близ Сенной ни-ни… Не туда пялишься, сказал себе, на Гостиный двор оборотись — на одного доброхота по семи завидников. Перебирая недругов, примеривался к каждому поочередно. И ни единого, если по совести, не счел злодеем-доносчиком. Да и чего доносить? Языку воли не давал, мысли держал взаперти. Точь-в-точь как его самого держали теперь в крепости Петра и Павла. Ах, верное присловье: от сумы да от тюрьмы не зарекайся.

И так и этак прикидывал, пока не озарился надеждой. Меж прочих бумаг забрали в Тайную и проект генеральной российской коммерции. А Тайная, пусть и страшней сатаны, блюдет государственный интерес. Стало быть, какой бы ни был навет, а он, Василий Никитич Каржавнн, предстанет словно бы в белой ризе.

Пред кем, спрашивается, предстанет? И тут другая надежда высветилась. Василий Никитич пуще ободрился, вообразив давнее, московское — дом близ Арбата, куда волею отца своего носил он барашка в бумажке… Нынче этого не понять. В наше время кто рассчитывает на знакомства? Каржавин рассчитывал.

## 7

Неохота встречаться с г-ном Шешковским, а ничего не поделаешь, надо. Ходить недалеко — он здесь, в крепости Петра и

Павла. Но не в равелинной темнице, а и своей канцелярии, где стелется тяжелый дух секретного делопроизводства — сургуча и свечного нагара пополам с паленой человечиной и сырых от крови опилок.

Был Степан Иваныч тщедушен, ростом мал; выглядел изможденным, будто сейчас из подземелья. Но этим мозгляком владело могучее, как похоть, желание — изобличать. Повторял как заповедь: «Несть тайны, иже не явлена будет».

Отец его, бывало, плакался: «Ох, всеконечная моя скудость, дневной пищи не имею». Подвизался отец в московских приказах. Прытче всего в Ямском. Ямскую гоньбу отправляли раскольники. Тверезые и смекалистые, они нередко выходили на торговую линию. А как стряхнуть ямскую повинность? Тащи барашка в бумажке. Тащили. В числе прочих и Каржавины.

Шешковский-отец, плачась о пропитании, поставит близ Арбата каменный дом. А детушек ставил на ноги. Степку совсем еще отроком сунул в хомут службы. В канцелярии розыскных дел побегушки да колотушки? Зато местечко, как нынче бы выразились, перспективное. Поначалу, значит, синяки и шишки, а потом уж пироги и пышки.

При Петре сыск вершил Ромадановский, Царь, случалось, жучил его: полно с Ивашкой Хмельницким знатъся, быть роже драной. Ромадановский обижался: некогда, государь, винище дуть, беспрестанно в кровях омываемся… Копиист Степка Шешковский пером скрипел уже при генерал-аншефе Ушакове. Этот тоже не росой омывался. Потом Тайную канцелярию принял Шувалов. Его сиятельство благоволил Шешковскому-старшему, вняв просьбе, мановением перста переместил Шешковского-младшего из Москвы в Санкт-Петербург.

На Мойке, в доме близ Синего моста, у его сиятельства сновал Степушка часто. Год, другой — радость: «Во исполнении важных дел поступает добропорядочно и ревностно, почему и достоин он, Шешковский, быть протоколистом».

Медленно сплывали воды Мойки, а Степушка ходом тел — возвысили его в секретари Тайной канцелярии. Что сие значило? А то, что забрал он в кулачок весь имперский сыск. И не то чтобы формально, а натурально.

— Легко ли, судырь? — вздохнул Степан Иваныч и повел плечом, оправляя мерлушковый полушубочек внакидку; казна дров не жалела, но г-н Шешковский мерзляк был. Оправив полушубочек, опять вздохнул: — Прошу взять в соображение, каково достается.

В «соображение» следовало взять следующее.

— Прежде, судырь, кажный волен был донос отписать, а

нынче опаска берет, ибо за ложный извет — плетьми: «Имей впредь осторожность!» Грех на ближнего возводить напраслину, однако и без доносов хоть плачь… Прежде, судырь, стращали Тайной, а нынче запрет поминать ее всуе. Худо, когда у добрых людей костенит язык, а не хуже ль, когда язык-то лопочет, что хочет, чего не хочет, и то лопочет… Еще одно, судырь. Прежде не вникали, какое оно, дело-то, — все сюда, в Тайную. А нынче? Которые неважными сочтут, тем в губернии разбор, из чего, судырь, проистекает неустройство, то истъ нерадения и упущения, а мне-с за всех ответ держать перед господом богом и государыней моей, да-с… — Он грустно покачал головой, будто сам себя жалел.

Прежде, когда начинал он службу, каралось только деяние, а теперь, при царице Елизавете, карался и умысел. Деяние-то и олух узрит. А умысел не звезда во лбу — по запаху угадай… С какой-то анафемской ловкостью спрыгнул он с креслица и вытянул указательный палец:

— Оне не могут, а я могу. Могу! — И кулачком, кулачком по стене — за стеной корпел штат всероссийского розыска, всего-навсего шестнадцать душ: копиисты, протоколисты, регистраторы, архивариусы.

На столе — сукно алое, синего фарфора чернильница, канделябр серебряный — белел на столе лист, исписанный крупно, а заголовок и вовсе вершковыми буквами: *«Вашего императорского величества к подножию всенижайший и последнейший раб с искренним благоговением и подобострастием полагаю доношение».*

Степан Иваныч проворно убрал бумагу.

— Каждый, кто служит в Тайной, — строго сказал г-н Шешковский, — обязуется держать в секрете, что видит, что слышит, что знает.

— Понимаю. А между тем вот это… Вот это напечатают.

— Чего? — он коротко, сухонько рассмеялся, как горох из кулька. — Никто не дозволит.

— Время дозволит!

Он опять рассмеялся, слезинку смахнул.

— Пущай, коли делать нечего.

— Но, согласитесь, шпионством и не пахнет, — сказал я, сознавая бессилие апелляции к историческому возмездию.

— А богохульством? — Он мелко перекрестился. — А поношением государыни? — Он еще раз перекрестился. Объяснил назидательно: — Поношение иностранных государей есть неосторожность, не относящаяся к деяниям вредным и важным, посему подлежащее разбору в губернии. А тут?! — Г-н

Шешковский трижды брякнул бронзовой дужкой потайного ящика. — Тут, судырь, всемилостивейшей государыни нашей, дщери Негра Великого, отца отечества! — И г-н Шешковский перст воздел. Будто повинуясь его жесту, там, на дворе, высоко ударили куранты. «Осанна державе», — изрек секретарь розыскной канцелярии. Экая сволочь, подумалось мне, ведь совсем иные звоны слышит.

— А на Москве благолепнее, — сказал я, как бы заходя с тыла.

— Да-а-а… — Он покивал. — Бывалоче, ко всенощной в Ризположенскую.

— Я не о том.

Он кончиком языка лизнул губы. И посмотрел вопросительно — о чем, дескать, изволите?

— Все о том же… — Я опять показал глазами на ящик с «доношением». — Каржавины-то — земляки ваши, вот что. И с колодником, заарестованным на Адмиралтейской першпективе, вы знакомы. В Москве еще. И но только деньгами Каржавины от вашего батюшки откупались, а и лесом. Дом-то каменный ставили, но без дерева не обойтись.

— У-у… Ну, так, так. А что из того, судырь? Присяга мне всего на свете дороже. Службу служить, душой не кривить. Клятвенное обещание дадено — не щадя живота своего, до последней капли крови.

Я это мимо ушей, я ему седьмой пункт царицыного указа — о взятках: «Ежели кто хоть в малом чем обличен будет, тот бы не надеялся ни на какие свои заслуги, ибо, яко вредитель государственных прав и народной разоритель, по суду казнен будет смертию».

— Э-э, старые дрожжи чего поминать, — осклабился г-н Шешковский.

Опять он прав был: грозные указы против лихоимцев — кимвал бряцающий; пожалуй, ни один закон не обходят с такой естественной, всем понятной и приятной легкостью, как именно закон-то, воспрещающий взяточничество; поначалу, правда, подожмут хвост, а невдолге и распустят бойчее павлиньего.

Но, спрашивается, где же они, наши-то домашние правдолюбцы? Помню Михайлова, сенатского канцеляриста: неутомимо извещал начальство о тех, кто на руку почиет. И что же? Угнали в полунощный край, дабы «своими дерзкими словами глупостей не мог наделать». Или вот отставной поручик Ампилопов, в Нижнем жил, тоже обличитель и тоже, как и Михайлов, отправился созерцать северное сияние. Не велик труд и других назвать, да больно уж грустно.

— Не в силах ты, судырь, переменить черед событий, — победительно заключил г-н Шешковский и поплыл в богомерзкой ухмылочке.

## *8*

В тот же день Василия Никитича призвали к г-ну Шешковскому.

— Здравствуй, Каржавин. Прошу со вниманием слушать… — И пауза: донеслись стенанья, в пытошной камере орудовал рябой Малафеич. Печально вздохнул Степан Иваныч: — Деяния твои, Каржавин, известны, запирательство твое, Каржавин, тщетно. Кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет.

— Единственно о державе, — прошелестел Василий Никитич.

— Слушай со вниманием, — повторил секретарь Тайкой канцелярии, веером распуская по алому сукну белые листы доношения, но сказал о других бумагах, о каржавинском проекте заморского торга: — Читал. Одобряю. — Изможденное лицо его приняло мечтательное выражение. — В бо-ольшую разживу воспарял, да вот, соколик, пришла беда, отворяй ворота. Верная пословица. И другая тоже: любишь кататься, люби и саночки возить. От речей тебе, брат, никуда не деться. А речи здесь такие: пытошные и расспросные, то исть окромя Малафеича которые. Выбирай! Выбор предоставляю, как-никак мы с тобою… Кому другому нипочем бы мирволить не стал, а тебе… Ах, Москва, Москва-матушка… Совсем молоденький ты был, совсем молоденький…

— Единственно о державе, — начал было Василий Никитич, но г-н Шешковский окрысился: «Молчи, дурак!»

— Решенье мое разумей, — продолжил он тихо и даже с некоторой сладостью в голосе. — Ворочайся в келию и припомни город Лондон. Ты в Лондон-то езживал в котором годе? И сыночка воровски умыкнул… В котором годе, ась?

— В пятьдесят втором.

— Вот-вот. А на дворе пятьдесят шестой, издали веревочка, а вот и кончик… — Г-н Шешковский ласково огладил доношение. Повторил: — Припомни хорошенько, об чем с братцем-то толковал запальчиво. Ась? Ну, ну… И думай, думай неотрывно, каково твоему кровному на чужбине да без твоей подмоги. Думай, Каржавин. А я подожду. И дождусь чистой твоей совести, не взыщи, Васенька. С меня спрос там, — он пальцем указал на потолок, — а с тебя там, — он пальцем указал на пол. — Ну, ступай с богом, ступай…

## *9*

Не глыбы Петра и Павла давили Василия Никитича — злодейство, учиненное другом детства, Петрухой Дементьевым. Отписал он все, о чем рассуждали в лондонском доме братья Каржавины — непотребно поносили и государыню, и сенаторов, и митрополитов; бытие божие начисто отвергали; сетовали на покорность простого народа. Да еще и прибавил зазорное, несусветное: шпионствуют, дескать, в пользу французской короны.

По какой причине Дементьев макал перо в склянку с ядом? Годами дожидался Петруха обещанной подмоги. Получив, глядишь, и сработал бы морской часомерный механизм высокой точности. Слава! Награда! А Васена не то чтобы безвозмездно, но и в долг, на срок не ссудил ни копейки. И Петрей обмакнул перо в скляпку с ядом… Все понять — все простить? Э нет, любезный читатель. Нет! Бывает, конечно, и так — жил человек в России, сознавал, что почем, а уехал и призабыл, другим аршином стал мерить. Но Дементьев… Он очень хорошо, отчетливо и ясно понимал, как слово его отзовется.

Не глыбы Петра и Павла давили Василия Никитича — ужасное виденье: голодной смертью помирает Феденька на далекой чужбине.

## *10*

Казалось бы, призови Каржавина да и увенчай тонко задуманное, хорошо расчисленное. Но медлил Степан Иваныч, г-н Шешковский: серьезная помеха обнаружилась. Экая досада! А виною всему дубина стоеросовая Золототрубов.

Золототрубов (тот, что арестовал Каржавина), составляя перечень изъятым бумагам, открытие сделал: письма из Лондона от Петра Дементьева и анонимное доношение, поступившее из того же Лондона, — одна рука! Прибежал к г-ну Шешковскому, рожа — будто леденец за щекой.

Служебное правило гласило: коли доноситель известен, следует допросить его очно. Теперь, стало быть, что же? Пришлось Степану Иванычу трудить иностранную коллегию, коллегии — российское посольство в Англии. А там не торопились. Положим, не ахти как легко отыскать какого-то часовщика в огромном городе: иголка в стогу. Но, сдается, не очень-то потом обливались: за долами слабеет глас Тайной канцелярии. Ждал г-н Шешковский, нетерпенью своему находя

исход в других расследованиях.

Наконец дождался: беглый раскольник Петруха Дементьев преставился в городе Лондоне! Слава те господи, прости и помилуй.

Казалось бы, зови теперь колодника, зови Васеньку. Скрой, что его благоприятель помер, стращай и своего добейся. Но Степан Иваныч поспешал медленно. Семь раз отмерь, один — отрежь.

Читатель, вероятно, не забыл, как г-н Шешковский уверял, будто от 7-го пункта не ежится. (Царицыно о указа о смертной казни взяточникам.) Не лгал. По частя мздоимства был еще чист, но, оглядываясь вокруг, завистью уязвлялся. Ка-акие куши срывают и генерал-прокурор, и губернаторы, и вице-губернаторы. Один высший сановник «вымучил денег до двух миллионов», повергнув народонаселение в «совершенное убожество». Другой жирел на восточносибирских хищениях. Третий сбывал за море казенный лес, нагружая сундук золотом заморской чеканки… А он, верный пес государыни, пробавляется лишь жалованьем. О детях надо иметь помышление али не надо? О благоверной Алене Петровне надо иметь помышление али не надо?

Так вот, задумав ступить на стезю ухватистых взяточников, Степан Иваныч боялся слевшить. Примеривался, пока не углядел стотысячника Васеньку. Все в точку сошлось. И давнее московское знакомство, и привычные Каржавиным барашки в бумажке, и возможность похерить страшное дело — доносчика-то Дементьева выиесли ногами вперед. А может, и головой, черт ведает, какие у них там обыкновения…

И все же, повторяю, г-н Шешковский поспешал медленно.

Каждую неделю гонял посыльного на Почтовый двор — к приходу заграничной почты; тогда называлась «немецкой». Все письма от Ерофея Каржавина забирал себе. Прочитывал и злился: нет нужного известия. Такого, чтобы обуглило Каржавина, чтоб света не взвидел. А тут-то ему и милость, тут-то ему и дар небесный. А следствием — вековечная повинность Степану Иванычу, г-ну Шешковскому, добросердечному секретарю Тайной канцелярии.

Ерофей Никитич письма номером метил. Когда пришли 36-е и 37-е, друг за другом пришли, теплой волной смыло Степана Иваныча. Он эти письма разглядывал не без радостного удивления: господи, сколь фортуна к нему благосклонна. И умиленно прочел — назубок знал — акафист Иисусу сладчайшему.

Письма были как вопли. Сообщал Ерофей Никитич об ужасной болезни племянника. Медики и аптекари дерут три

шкуры; хирург предлагает ломать лицевую кость. А он, Ерофей, без гроша.

— Эй! — крикнул Степан Иваныч. — Эй, кто там? Живо!

Письма отнесли в темницу. И свечу подали.

Насилий Никитич, читая, рвал ворот рубахи, как в удушье.

Потом на колена рухнул. «Ероня, бога ради, не утрать ребенка…» Еще не опамятовался, а его уж волоком, волоком в канцелярию г-на Шешковского.

Сказано было:

— Внимай, Каржавин!

Колодник, уронив руки, головой мотал. Сказано было:

— Не тебе, во грехах погрязшему, сострадаю. И не братцу твоему, улизнувшему за кордон. Единственно сострадаю отроку. Кончается агнец середь чужих людей. А тут вот цидулка латинская приложена, какая, значит, болезнь. Еду к лейб-медику, испрошу консилиума. Тебе передам, что объявят, а ты поскорее отпишешь своему Ерофейке. Еще раз говорю: единственно отроку сострадаю. И смотри мне, чтобы деньги выслал. Не скупись по вашему купецкому обыкновению. Что на свете гаже скупости, а? С родного батюшки пример бери. Помнишь, небось, сколь охотно и любезно он суму выпрастовал. Знал, умница: себе же во благо!

Колодник, медленно поднимая руки, слушал г-на Шешковского и точно пенье ангелов слышал. В словах же о купецкой прижимке расслышал укор. Относящийся, однако, не к парижскому прозябанию своих кровных, а к своей собственной несообразительности.

— Да-с, не скупись, — вразумляюще продолжал секретарь Тайной канцелярии. — Мне, голубчик, ведомо, ты из ямщины норовишь выскочить, сего ради нужным людишкам пригоршни золота сыплешь. Выходит, хорошо понимаешь, все-е-е ты, братец, смекаешь. Так али нет? — Не мигая, пристально глядел он на Каржавина.

Столп солнечный осиял Василия Никитича. Он руки клятвенно воздел:

— По гроб…

## *11*

И пошел Василий Никитич Каржавин на волю. За спиной крылья, в сердце песня. Легко шел, шалым шагом. Архангел-трубач на стремительной игле собора ласково кивал ему с горней высоты.

Небо над городом было аспидное. Душно и едко припахивало

дальними лесными пожарами. А Василий Никитич улыбался так, словно витала над ним юная Аура, богиня нежного ветерка, взлетевшая из тростников на своем царственном лебеде.

Лодочник в белой рубахе налег на весла. Ялик уже достиг середины Невы, когда гроза грянула сухая, без ливня. Василий Никитич успел заметить — острым зигзагом ударила молния в крепость Петра и Павла. И вроде бы вспыхнуло там, задымилось. Почудилось даже, будто рушится что-то, тяжело, гибельно рушится.

— А! — вскрикнул Василий Никитич и в ладоши хлопнул: — Пришибло!

Но гроза хоть и небывалой ярости, а покорежила лишь шпиль крепостного собора. Что за притча? При любой грозе невредимы тайные канцелярии! Из сей притчи следовало: быть ему, Василию Каржавину, исправным данником Степана Иваныча, г-на Шешковского.

## *12*

Он не остался глух к челобитьям своего данника.

С высоты трона простили Ерофею Каржавину «самовольное отлучение за границу», обещали службу в Петербурге. Пособили, конечно, ходатайства парижских академиков, но, право, ничего бы не стоили их просьбы, если бы г-н Шешковский дал надлежащий ход лондонскому доносу.

А Федору Каржавину разрешили остаться во Франции «до окончания начатых им наук». И определили студентом российской Коллегии иностранных дел, прикомандированным к нашему посольству.

# ГЛАВА ВТОРАЯ

## *1*

Лотта, ученица белошвейки, по-прежнему жила в ветхом, неопрятном доме на левом берегу Сены. И по-прежнему любила Теодора. Правда, Теодор переселился на улицу Сен-Жак — дядюшка Ерофей, прощаясь с Парижем, устроил племянника пансионером состоятельного букиниста г-на Гериссана. Правда и то, что г-жа Гериссан, ужасная злюка, отпускала Теодора только в коллеж. Но Теодор ради Лотты сбежал бы даже из Бастилии. Лотта гордилась Теодором — крестик в петлице: знак победителя в классных состязаниях, происходивших каждую пятницу.

Федор считался не просто успевающим, а преуспевающим. Он подавал сочиненья на сорбоннские конкурсы. Профессоры усматривали самостоятельность суждений и умелость изложения. Однако лаврами не венчали.

Лотта ошибалась, думая, что г-жа Гериссан никуда не пускает Теодора. Это не совсем так. Он бывал в особняке на тихой улице де Граммон. Обязанности нашего посла при версальском дворе отправлял Дмитрий Алексеевич, князь Голицын. Дидро говорил: князь не кичится значительностью своего положения и происхождения; не рассудочно, а душою верит в равенство людей всех состояний; из титулов чтит первый — титул человека… Серьезный дипломат был и серьезным ученым; его занимали физика, астрономия, политическая экономия.

Дмитрий Алексеевич привечал отпрыска московских ямщиков: «Из сего молодого человека может быть со временем искусный профессор». Лестная аттестация была по душе Федору; он мысленно показывал кукиш сорбоннским метрам.

А в доме букиниста его не баловали.

Г-н Гериссан принадлежал к тем книгопродавцам, которые, слава богу, не переводятся, хотя и редчают: дорожил не столько красной ценой товара, сколько посильной помощью ученым мужам. Никому бы и в голову не пришло спросить в его лавке издания «Голубой библиотеки» — перелицовки ветхих рыцарских романов. Не могу, однако, утаить и позорное обстоятельство: букинист был из жалкого племени подкаблучников. Супруги боялся больше, чем вельзевула. Впрочем, что странного? В существовании вельзевула г-н Гериссан крепко сомневался; в существовании г-жи Гериссан сомневаться не приходилось. А Федор уподоблял ее собаке г-на Вольтера — той, что рычала даже

на собственную тень.

Тайком, не у себя, в Лоттиной комнатенке Федор писал родителю: свободные дни сижу дома, а с дядюшкой, бывало, осматривал библиотеки и кабинеты ученых; просил г-жу Гериссан заменить на моем черном камзоле шерстяную подкладку летней, но она этого не захотела; на деньги, присланные вами, купил книг по философии и физике, ботанике, хирургии, химии, остальные придется отдать г-же Гериссан; у нее сохраняется мой пенсион, но она никогда не дает мне отчета; словом, ничего не было бы лучшего, как избавиться от г-на и г-жи Гериссан.

И вдруг студент избавился от тирании.

Избавитель был высоколобый, плотный, плечистый. Книги выбирал тщательно, это нравилось букинисту. Держался с некоторой важностью, это нравилось супруге букиниста. Несмотря на молодость, состоял членом нескольких академий, это внушало почтение и букинисту и его супруге. Откажешь ли г-ну Баженову, желающему прогуляться со своим соотечественником? Извольте, мсье! Как вам будет угодно, мсье!

Берущие на поруки снисходительны; Баженов охотно отпускал Федора к Лотте. И, отпустив, провожал улыбкой завистливой. Право, он бы тоже отправился к возлюбленной. Увы, его солидность, его серьезность, видать, пугали Эрота, и этот шалун не решался натягивать свой гибкий лук.

Впрочем, Федор чем дальше, тем чаще устремлялся не к Лотте, а к Баженову. Он увидел Париж его глазами. Площадь Дофина прекрасна, Королевская площадь очень хороша? Несомненно. Но город, мой друг, надо зреть словно бы с высоты птичьего полета. Париж прелестен частностями. И плох в целом, у него нет капитальной идеи… Баженов импровизировал. Импровизации не витали над Сеной — витали над Москвой-рекой. Баженов был свободен в самом несвободном из искусств: оно требовало примирения, казалось бы, непримиримого — эфирной фантазии и грубого материала, вдохновения поэтического и вдохновения геометрического.

Слушая Баженова, Федор слышал звуки родной, позабытой речи. В устах Василия Ивановича была она величавой, подчас выспренной. Федор обладал, так сказать, филологическим слухом, но тут другое: в звуке был зов. Он ощутил свое житье в стороне, как бы на обочине, и это вызывало прилив тоски, внятной, как тонкий запах кипарисовых карандашей и теплый запах заготовок для архитектурных моделей, отдаленно напоминающий пасечный, в тесной квартирке на улочке Фромантен.

Теперь уж Федор не просил избавления от Гериссанов —

просил вызволения из Парижа: государь мой батюшка, ссудите деньгами на дорогу; даже и постель продал, на соломе сплю, а все не хватает; ссудите, батюшка, домой надо, хоть в солдаты, хоть в чистильщики сапог, кем угодно, куда угодно, лишь бы домой, в Россию.

Ему было трудно расставаться с Лоттой, но и тяжко оставаться в Париже. Есть любовь к женщине, но есть и любовь к судьбе. Последнее не всегда нечто фатальное, нет, иногда иное, совсем иное — неодолимое желание испытать судьбу.

Деньги были присланы. Пусть возвращается, решил Василий Никитич, знания у Феденьки достаточные, дабы успешно подвизаться в большой коммерции.

Каржавину исполнилось двадцать от роду. Уехал он в 1765-м, на одном корабле с Баженовым.

## *2*

Маменька обнимала первенца:

— Ох, кожа да кости… Ох, чужбинка-то непотачлива…

Здешнюю домашность Федор соизмерял с парижской. Там, в Париже, младшие держались вольно. Бывало, и главе семейства храбро подпускали шпильку. А тут… Василий Никитич шевельнет бровями, никто не смеет спросить: «Чего сердитесь?» — потупившись, шелестят: «Почто изволите гневаться?» Принесет из Гостиного подарочек, не скажут: «спасибо» — нет, в пояс кланяются: «Покорно благодарим за ваше пожалование»… Федор втихомолку посмеивался: ни дать ни взять «Наставление об учтивости благонравных детей». (Так называлась инструкция иеромонаха парижского посольства; призабыв русский, Федор выпросил рукопись, читал с пером в руке, очень это было полезно в грамматическом и лексическом смысле.)

Благодушно посмеиваясь над домашними строгостями, Федор неулыбчиво слушал, как отец убеждает их степенства сплотиться в компанию. Все это не по душе было Федору. Один лишь из посетителей отца всерьез интересовал Каржавина-младшего: Гаврила Попов.

Родом из Торопца, Новгородского уезда, жил тот некогда в Кенигсберге, подвизаясь по торговой части. Василий Никитич «корреншондировал» с Поповым. Да и позже, в годы службы Гаврилы Ивановича таможенным надзирателем, тоже встречался.

Наружность этого Попова совершенно не вязалась с ого натурой. Был этот Попов неказист, рябенький, бородёнка мочалкой; ходил бочком, будто робея, голосок имел слабенький и

словно бы с трещинкой. Душевные же свойства решительно выдвигали его из общего ряда. Был он начитан, читал не только по-русски, а и по-немецки; читал не для приятной отрешенности от обыденных забот, а ради пущей сосредоточенности на предметах, по его разумению, наиважнейших — зло, исходящее от государственного правления, вожжи коего в руках жестокого барского сословия; неизбежность погибели последнего, ибо мужицкое терпение «исполнит свою меру»; необходимость личной свободы крестьян.

Судьбу Гаврилы Попова не так уж и трудно провидеть. Досталось ему заточение в Спасо-Евфимиевском монастыре, где содержали его «в одиночестве, под крепкою стражей, не дозволяя писать». Этого «рассеивателя вредностей» изъяли из мира дольнего годы спустя. А в год возвращения Каржавина-младшего Гаврила Иванович жительствовал в Москве и, наезжая в невскую столицу, наведывался в дом на Адмиралтейской першпективе.

Рассужденья свои зиждил Попов на заветах священного писания. По заповеди божией, говорил он, каждый обязан возлюбить ближнего, как самого себя. А выходит иначе: человек у человека стал изнуренным невольником. Невольников же несть числа; взбунтовавшись, сделаются фуриями и, пролив кровь, что опять-таки противу слова творца вселенной, превратят дворянство в ничтожество. Отселе непреложная необходимость убедить барство отказаться от рабов.

Федора ничуть не огорчало возможное превращение дворянства в «ничтожество»; обращение же крестьянина в «фурию» — ничуть не пугало; а благое желание убедить рабовладельцев перестать быть рабовладельцами — смешило. И если он не смеялся, то лишь из сердечной уважительности к собеседнику…

Между тем время шло, надо было думать, куда натравить стопы свои. Федор полагал так: определюсь в иностранную коллегию, избавлюсь от родительской опеки и родительского кошелька, займусь переводами, как дядюшка Ерофей.

Ерофей Никитич уже выслужил чин поручика. Женился невыгодно, зато по любви. Не так, как старший брат. Не скажешь, конечно, что Василий из одной корысти, этого не скажешь, но Анна-то Исаевна купеческого корня, московских Тумборевых, весьма состоятельных. У Федосьи эк только и было что салопчик, полушалочек и колечко серебряное. А сердечко? Золотое сердечко, высшей пробы! Ни малейших посягательств на мужнин кошелек. Супруги исповедовали правило столь же необходимое, сколь и уныло-томительное: по одежке протягивай ножки.

Они нанимали скромную квартирку на Васильевском острове.

После службы, в сумраке, при сальной свече дядюшка Ерофей переводил «Путешествия Гулливеровы». Не с английского — с французского. Французский текст гладок был, щеголеват. Дядюшка Ерофей чутьем угадывал подлинник, грубоватый и крепкий, будто сработанный корабельным бондарем. Жалел, что недостаточно владеет английским. Право, лучше, куда лучше было бы обойтись без изящного французского посредника.

За Невой, у старшего брата, Ерофей Никитич не появлялся. В споре о Федином будущем разверзлась пропасть. Кончилось тем, что Василий Никитич, гневно пеняя прошлыми денежными субсидиями, затопал ногами: «Неблагодарный ты змей, Ерошка! Сгинь!» Оскорбленный поручик заклеймил брата тиранствующим гарпагоном, перед которым нечего метать бисер, и в сердцах хлопнул дверью, Василий же Никитич рывком отворил и засвистал вдогонку двупалым свистом.

Зная братнин характер, Ерофей Никитич не надеялся на исполнение Фединого желания. Скорбел: все мое тщание пойдет прахом. Господин Дидро, разумеется, прав: коммерсантов обвиняют в том, что они — космополиты; это равносильно обвинению воздуха и воды в том, что они полезны всем; упускается из виду общее благо всего мира. Да, господин Дидро прав, но только не Федя, только не милый Федя. Встречаясь, племянник и дядюшка обменивались как паролем и отзывом: «Не коммерция…»— насмешливо произносил племянник, «а служение обществу знанием», — торжественно произносил дядюшка. Они испытывали не просто обоюдную приязнь, а нежность, избегая, однако, внешнего изъявления ее.

Отец не скрыл от сына разрыв с «Ерошкой». Сын не счел нужным скрывать от отца благодарность дядюшке Ерофею. Василия Никитича злили хождения на ту сторону Невы. Он, однако, не допускал возможности сыновнего бунта. Но смутные опасения возникали: угадывал в сыне свое — упор и напор. И пускался в рассуждения окольные.

Пусть вникнет в отцовский проект о российской коммерции. Пусть вникнет в суть новых времен. Зри поверх суши: российский торговый корабль бороздит Средиземное море — мал почин, да дорог! Со дня на день государыня утвердит устав нижегородской купеческой компании. Распорядилась отпускать детей купеческих в заграничное ученье. Слышишь: ку-пе-чес-ких! А ежели вострым умом проткнешь завесу годов, постигнешь, что власть помаленьку утечет от земли к деньгам. Гоже ли нам, Каржавиным, сиднем сидеть?! Негоже! Под лежачий камень, сам знаешь… И вот еще: мы, купечество, державу в гору подъемлем, а шапку ломаем перед каждым пустельгой, который при шпаге…

Слушал сын серьезно, это было хорошо. Нехорошо было, что слушал холодно. Похоже, душа Федора отнюдь не ликовала от этого «перетекания» — весьма, впрочем, неприметного — одной власти в другую.

Василий Никитич сам прочел и сыну на подушку положил философический роман из русской жизни с нерусскими именами в заглавии — «Письма Эрнеста и Доравры». Здешнего, петербургского сочинителя. Сообщил, словно подмигнул: этот господин Эмин — сослуживец и благоприятель твоего любезного дядюшки. Понимай, значит, так: романное у господина Эмина не чуждо и Ерофею Никитичу.

Не чуждым, понял Федор, была некоторая близость романиста к духу Руссо, к «Новой Элоизе». Да вот разница высветилась: превознося свободу негоциации, сочинитель отвергал капитальное у Руссо — чтоб все было общественное. Глумливо отвергал: мысль, мол, совершенно циническая… Гм, не чуждо и Ерофею Никитичу? Отец был прав. Дядюшка чтил Жан-Жака, высоко ставил, но как раз в этом пункте заминался и спотыкался. А он, Федор…

Промолчать бы сыну, промолчать. Нет, преступил границу: сия мысль, батюшка, мне свет в окошке, звезда в небе.

— Красно глаголишь, — с грозным сожаленьем в голосе ответил Василий Никитич, — красно, да глупо. Все для всех — это ничего ни для кого. Это… это дух святый.

Они молча смотрели друг на друга, будто грудь с грудью сошлись. И легла тишина, такая тишина, что мыши в подполе замерли.

Василий Никитич темной кровью налился, желвака напряг.

Сплыли годы, как ладожские льдины, истаяли годы, как петербургские дымы, а февральская поземка десятилетней давности курилась, курилась, курилась. Мясничья рожа, Тайной канцелярии служитель, батально рыкал, будто редут брал… В крепости Петра и Павла пуговицы, срезанные с кафтана, щелкали о каменные плиты… Старичина унтер, дуб мореный, шамкал под скрежет ржавого засова: «Здесь келья — гроб, дверью — хлоп»… Сплыли годы, истаяли, но нет, не выросла трава забвенья. Кто не был, тот будет; кто был, тот не забудет. В этом присловье мрачно поблескивала соль отнюдь не аттическая. Дети — вот казнь наша. Неровен час, с твоим кровным, с плотью от плоти злосчастье повторится. Нынче заграничное ученье не возбраняется, а завтра, глядишь, и такое лыко в строку; нынче книжники в чести, а завтра побьют каменьями; нынче циническую мысль этого самого Руссо твердит, как «Отче наш», а завтра рябой Малафеич брякнет пыточным железом… Дети, дети, вот она, казнь наша…

Так знобко думалось Каржавину-старшему.

Он темной налился кровью и желваки напряг.

Ерошка скорбит: ужель его старанья прахом пойдут? А его, Василия Никитича, застеночные муки, ужас при известии о Фединой болезни, это все для чего, зачем? Для чего и зачем Василий Никитич данником у г-на Шешковского, как у хана ордынского? Для чего и зачем дом г-ну Шешковскому своим коштом поднял на окраинной, тихой Коломне? Для того, выходит, чтобы родной сын предал родного отца! О-о, не только отца — сословие; не все поголовно, а самых разумных, тех, кто у него, первой гильдии Каржавина, в союзниках.

Так с непереносимой, жгучей обидой, с гневом, распиравшим горло, думал Каржавин-старший, напрочь перечеркнув то, в чем прежде себе признавался: все претерпел и все терпит не токмо ради сына, а ради себя. Но сейчас, когда сын, не потупливаясь, в бунте своем, в молодой гордыне своей смотрел на отца, на отцовские седины, Василий Никитич слова ронял, будто бабу-снаряд на сваю: из-за тебя, из-за тебя в кабале… «Батюшка, милый батюшка», — вдруг прерывисто выдохнул Федор и облился слезами. Впервые так пронзительно вообразилось все, пережитое отцом в зловещей крепости Петра и Павла.

Без вины виноватость гнет подчас сильнее вины. Клонясь долу, клонился Федор к смиренью. А дядюшка Ерофей правоты за Каржавиным-старшим не усматривал. Когда он, Ерофей, заеденный парижской нуждой, едва не наложил на себя руки, Василий Никитич отписал, усмехаясь: в тебе, Ероня, страсти сильнее рассудка. Так ли, нет, да вот он-то, Ерофей, никого никогда не неволил. Федя ж в капкан попал, бьется, бедненький. А ведь не скажешь так: друг мой Теодор, батюшка и с тебя желает получать проценты, ты ему вроде капитала о двух ногах, перестань терзаться, у каждого своя стезя, не зарывай талант в мешок с деньгами… Не скажешь, а надо бы. Ерофей Никитич отводил глаза. Молчанье дядюшки не было знаком согласия. И молчаньем своим выпрямил он племянника. Ну нет, тысячу раз нет, не станет конфидентом отца своего, не нужен ему, Федору, телец златой.

Опять налился темной кровью первой гильдии Каржавин, тяжело дыша, как топором отрубил: «С глаз долой! Попляшешь! Согнет беда в бараний рог, не вздумай простирать руки. Ты — сын блудный, не отец я блудному сыну».

Все в доме ходили, точно в воду опущенные. Мать косилась на сына, как на отступника. Только Лизонька, сестрица, похожая на Лотту, украдкой поцелует в плечико и шмыгнет мимо. За семейным столом не было Федору куверта, места не было,

кормили его отдельно, как зачумленного.

Сдается, не без потачки г-на Шешковского помешал Василий Никитич поступить сыну в петербургскую службу. Определили Федора учителем в семинарию при Троице-Сергиевой лавре, что под Москвой. Таил Василий Никитич злую надежду — изведется неуломный Федька монастырщиной — кинется в ноги, а Василий Никитич и бровью не шелохнет.

## *3*

На парижских антресолях трескал пустое, постное. А тут и говядинка, и курятинка, уточки, индеечки, белужинка, осетринка. И «штей сколько потребуется». На день — четверть ведра пива. Янтарь! Меды, крепко варенные. Золото!

В городе Париже бегал в сквозной одежке, башмаки каши просили; в столице королевства, пансионером, на соломе спал. А тут, в монастыре, на пуховиках нежился. Сшил мундир обыденный, сшил и мундир праздничный — тончайшее сукно, хоть младенца пеленай. И шпагу прицепил — знак светского звания. Жалованье? С дядюшкой Ерофеем вдвоем ста рублями обходились; в семинарии — одному сто рублей положили.

Ох, не хлебом единым жив человек. (При достатке хлеба единого.) Последователя энциклопедистов мутила окружающая «клерикальность». В чужой монастырь он пришел со своим уставом, почерпнутым из «Философского словаря» г-на Вольтера, из книги «Об уме» г-на Гельвеция, из «Писем с горы» г-на Руссо.

Ему советовали: прими постриг, удостоишься прибавки жалованья. Он насмешничал: Париж стоил мессы, клобук не стоит прибавки жалованья.

Ему внушали: «Иночеством избавишься от мирской суеты и достигнешь горней премудрости». Он отвечал: «В мирской суете — корень познания сущего».

Ему говорили: «Служивый алтарю от алтаря и кормится». Он дерзко парировал: «Служивого солдата с розгой к семинаристам приставили — для унимания от резвости, а вас самих давно бы унять от поборов».

Старец-иеромонах приятность сообщил: «Помню, был у нас в Лужицкой обители Иосаф Каржавин, добротою славился. Не кровный ли тебе, сын мой?» А он отверз уста грубианством: «Если бы и кровный — не велика честь. По крови и зверь в родстве. По духу — только человек».

Хранитель библиотеки, тощий монах с плаксивым лицом кающегося грешника, указал на лондонские и амстердамские

тиснения, указал, демонстрируя богатства лаврского книжного собрания, и услышал презрительное: «Типографический станок тем плох, что ложь вперемешку с глупостью быстро множит».

Чернецы, забыв смирение, перстом грозились: парижанские ереси разводишь, епитимствовать тебе в Соловках. Ои разражался богохульным смехом. Рясоносцы каркали: смех в обители — кощунство. Учитель французского пронзал, как рапирой, французским: потерян тот день, когда мы ни разу не улыбнулись.

От мира сего монахи хоронились в кельях. Каржавин и в келье пребывал в мире сем. Не потому лишь, что читывал «Энциклопедический журнал»,[6] а потому, что составлял прибавления к «Прибавлениям» и примечания к «Примечаниям».

Там — в «Прибавлениях» к московским и петербургским ведомостям, а также в журнале «Примечания на Ведомости» — публиковались отчеты о занятиях Комиссии. Занятия эти, Комиссия эта были Каржавину предметом пристального интереса, сперва восторженного, потом насмешливого, а затем и саркастического.

Комиссия созывалась и призывалась, дабы даровать стране новое Уложение, новые законы. «Наказ» Комиссии составила императрица — восемьсот страниц, обряженных в малиновый бархат. И малиновым звоном разливалось по всей Руси великой, по градам ее и весям: «Закон христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно», а «всякого гражданина особо видеть охраняемого законами, которые не утесняли бы его благосостояния…»

В мартовский день — снег на припеке ноздреватый, в тени слюдяной блеск — у окна кремлевской Грановитой палаты стояла императрица; в ту минуту хороша была матушка — глаза голубизной сняли, грудь мерно вздымалась, щеки румянились. Свершилось! Московские депутаты шествовали в Успенский собор. Там, где витал призрак стародавней земщины, отслужили литургию, приняли присягу. Свершилось! Печатные заведения Европы, оттиснув листы «Наказа», явят миру мудрость российской монархини. И возликуют философы, узрев философа на тропе.

А летом следующего года в Грановитой открылись занятия Комиссии; газеты и журнал публиковали отчеты. Каржавин испещрял листы пометками, острыми, как шило, краткими, как щелчок курка.

Напечатано: государыня желает блаженства всех и каждого. Гневным пером: *«пыль в глаза»*.

Напечатано: депутаты имеют счастье быть руководимы императрицей. Саркастическим пером: *«то-то и глупо»*.

Напечатано: депутаты призваны выказать гражданские

добродетели. Ироническим пером: *«то ли у вас на уме?»*

Напечатано: занятия Комиссии временно прекращаются. Не пером, а словно ружейным беглым огнем: *«Распускают домой! Выгоняют вон! Чем меньше их будет, тем скорее сломают: а то заболтались, из десяти выберут по одному и прикажут им молчать».* Убежденным повтором: *«Пустили пыль в глаза; только всего и будет».* И лапидарным итогом: *«обман».*

Какова трезвость! Никаких надежд на коренные перемены, дарованные с высоты трона, а ведь сам Дидро, великий Дидро верил и в благие намерения российской монархини, и в то, что Комиссия — начало представительного правления…

Монастырские же, семинарские будни гуськом шли, неразличимой чередою. Зимою в шесть, летом в пять начинались классы.

Что сказать об учительстве? Карал не розгой, карал насмешкой: «Ты, малый, с ленцой, не пылаешь жаждой знания, ну и незачем тлеть». Подчас изменяло терпение; недостаток существенный. Зато доставало изобретательности; достоинство важное. К чертям заскорузлый учебник Бюжо «Краткие правила французской грамматики»! Вот другой — «Вновь выработанный прием изучить французский язык смеясь, без серьезного усилия и в то же время играя». В книжке двести анекдотов, занятных, веселых историй. Забавно соединять анекдот с грамматическим разбором! Последний тупица и тот запомнит.

Любил ли он бурсаков? Не уверен. Но был благожелателен к этим мальчуганам в сермяжных камзольчиках, отпрыскам пахарей и солдат, деревенских дьячков и пономарей.

К двум из семинаристов испытывал Каржавин привязанность. Взявшись учительствовать, он обещал выпестовать воспреемника, а Харламов поразительно быстро овладевал французским, Федор возлагал на него особые надежды и в Харламове не обманулся. Паша Криницкий тоже зубрил вокабулы, но, обладая умом без зазубрин, тянулся к мирскому чтению, и Каржавин поощрял бурсака. В галоп не пускался, неспешно, наводящими вопросами. И ответами, уводящими с избитой тропы. Осторожничал, побаиваясь кары властей предержащих.

А кары небесной не страшился. Высшее существо дало первый толчок развитию мироздания и больше уж не вмешивалось ни в сущность вещей, ни в ход вещей. Попы насчитывают миробытию несколько тысяч лет? Пустое! Морские песчинки сочти — вот тебе лишь мгновение. Бог создал человеков по образу и подобию своему? Пустое! Человеки создают богов. Возьми чернокожих — бог у них черный, а дьявол — белый. Поп и пастор, раввин и мулла — все проповедуют рабское повиновение

владыкам земным. А владыки земные в долгу не остаются, потакают попу и пастору, раввину и мулле.

Уподобляя богов самим себе, люди не уподоблялись друг другу. Изволь, вот пример, шутил Каржавин, — Пашка Криницкий не уподобился доносчику Петрухе Дементьеву. Вот уж когда пожалеешь, что нет в мироздании геенны огненной — очень подходящее местечко для доносчиков.

И верно, Криницкий крепко держался бурсацкого правила: пашквилей и подметных писем не писать. Были и другие правила, они тоже нравились учителю Каржавину. Вот, скажем, такое: товарищам жить братски, не ссорясь, а стараясь переносить неудовольствия. Или такое: подарков из дому не принимать, дабы равенства не потерять. По душе были Каржавину эти правила. Ах, если бы на таких китах обосновалось взрослое человечество.

Учительство, Харламов с Криницким — продушины в душной монастырщине, но Федор тосковал: ему был нужен не звон монастырских колоколов, а захлеб поддужных колокольчиков.

Рядом с лаврой находился ямской стан. Федор смотрел вслед тройкам. «Дуй по пеньям — черт в санях!» Тройки, истаивая в снежной пыли, летели в Москву.

## 4

Москву изобразить — не поле перейти. То мелкие строения, сбившиеся тесно, будто сошлись посудачить; то раскидистые усадьбы, хоть зайцев трави; то пожарища, взявшиеся лебедой. На высоких дворовых воротах с крышами-навесами прибиты медные восьмиугольные кресты. По колдобинам влекутся дроги, запряженные одрами. В обгон переваливаются экипажи, лоснятся вороные, а на запятках, по-тогдашнему сказать, букет: красный камзол великана-гайдука, белая чалма черного арапа в желтой куртке. А впереди пара скороходов в высоченных шапках с узкой тульей и широким козырьком.

Желаете единым взглядом окинуть «общество»? Поезжайте за Москву-реку, поезжайте в Сокольники. Ехать не на чем? Это уж точно, извозчиков не сыщешь днем с огнем. Но, может, кто-нибудь пригласит вас в свою карету.

Замоскворецкие гулянья? Извольте.

Бархат, атлас, окатный жемчуг на купеческих женах. Сразу видно, знать не знают о диетическом питании. Не оттого ли щеки-то маком цветут? Ошибаетесь — румянятся, без румян показаться на людях — «сделать невежество». Бородачи в глухих кафтанах гамбургского или английского сукна. Тупорылые

«степенства»? Ошибетесь. Лица дышат жаждой деятельности. Вот уж второй десяток лет отменены внутренние таможенные сборы, а эти ворочают всероссийской коммерцией. Не путайте с мелкотой, что на торжищах вскрикивает, подвизгивая на первом «и»: «Ниточки! Ниточки!», а с подвизгом на «и» концевом выпевает: «Платочки! Платочки!» И не путайте с приказчиками, что за полы хватают: «Шляпы фундаменталь-ныя!» «Шинели обстолтель-ныя!» «Ленты презентабель-ныя!» «Хомуты субтиль-ныя!»

Гулянье сокольническое? Извольте.

Спозаранку шатры разбиты, снедь и вина припасены. Прикатывают господа в синих кафтанах и снежных жабо, барыни в шелках и кисее, в атласных туфельках. Все знают друг друга; знают друг о друге все. Украдкой от маменек и тетушек зефирный шепот: «О, мой болванчик…» — уморительная трансформация французского: idole, кумир… Старушки, тряся чепцами и прыская в ладошку горстью, пеняют забавнику-рассказчику: «Ах, монкёр, совсем уморил…»[7] И эти восклицания: «Бесподобно! Бесподобно!» И чье-то насмешливо-носовое, но и не без завистливости: «Быть не может: три го-о-ода женат и все еще во блаженстве?» И уже задействована (так, кажется, нынче говорят?) особая знаковая система: мушки задействованы. Эти крохотные кружочки из черного пластыря на ланитах и подбородках щеголих, они ведь, мушки-то, хитро расположены: если так, значит, указывают время и место секретного рандеву, а если этак, то — градус чувства, и еще и еще по-разному для разного рода сигналов. Забавно! А там, на поляне, слышите, там уж дуэт сладился: «Не кидай притворных взоров и не тщись меня смущать».

А чаепития, московские чаепития? Летние, когда млеет закат. Зимние, когда изразцовые голландки колышут комнатный воздух мягкой теплынью своей. Нет, невозможно представить без чаепитий первопрестольную, златоглавую, белокаменную. Однако осторожнее. А то вот романист напишет: «чаепитие» — и тотчас: «самовар», «позвякивание серебряных ложечек»… Э, за самоварами тогда не сиживали, медные чайники были, на жаровни ставили, на алые уголья с быстролетной голубизной. А чайные ложечки — тогдашний дефицит. У какого-нибудь богача пять тысяч душ, а ложечек чайных знаете сколько? Две! В особой готовальне сохраняются.

Но полно! Негоже демократу услаждаться кущами Сокольников, чаи гонять в хоромах. Назвался демократом, полезай в демос. Благо недалеко ходить: в господских домах людей содержалось множество. Лакеи выездные и невыездные; повара и официанты, дворники, парикмахеры, камердинеры,

музыканты и певчие, девки-пряхи и девки-скотницы, сторожа и псари, а то и медвежатники, нет, не поводыри, что косолапого напоказ водят, а те, что приглядывают за домашним Топтыгиным.

Как расхожей рифмы, ждет читатель суждений о барском своеволии, о барской жестокости. И скулами мелко подрагивает, подавляя зевоту. Что так? Оскомину набили школьные прописи? Неохота держать в памяти страданья минувших времен? Посвист батожья да крутость рекрутчины, да куплю-продажу, когда оптом за тридцать рублев, а в розницу — не меньше сотни… Потянувшись всеми хрящиками, не худо бы и задуматься. В конце-то концов, барское своеволие, барская жестокость — очевидность. А вот соль холопства…

В городском господском дому челяди жилось вольготнее однодеревенцев. Не только кус с барского стола, не только кафтанец с барского плеча. Холоп тащил что ни попадя: от барина не убудет. И ленился, отлынивал: ничо, сойдет, больно мне нужно. И льстил, и лукавил, н ябедничал: а как иначе? — не ровен час, в деревню отошлют. А ежели кого и уважал душевно, то разве что угрюмого ярославца Герасима, победителя кулачных боев на москворецком льду.

Слышу: клевещет мемуарист, ни почвы у него, ни корней. Помилуйте, речь-то о рабстве. Несчастны холопы не оттого, что холопы, а оттого, что не сознают своего холопства. Тут он, корень-то.

Императрица Екатерина серчала: многовато на Москве бездельников-дворовых. Заботило же, тревожило иное: безрассудное, по ее мнению, заведение фабрик с чрезмерным количеством работного люда, который страсть любит ум свой питать россказнями о всяческих бунтах. Гневалась: вранья на Москве без конца и счету. И вот изобрела указ, прямо скажу, курьезный: о молчании. Не оговорился! Вот так в одно слово все вместилось — молчать!

Ударили барабаны, стабунивая толпы; полицейские офицеры, надрывая глотки, объявляли указ. Действо! Любо-дорого глядеть, как уста запечатывают. Не скрытно, а громогласно: нишкни и ни звука. Между нами сказать, это еще полдела. Один из римских цезарей, забыл, как звали, тот и в молчании порицание себе чуял; повелел не молчать, а денно-нощно восхвалять; и, понятно, восхваляли, куда денешься. А Екатерина II, или, если угодно, Великая, она, значит, указом возвестила — нишкни и ни звука, а не то батогами, батогами, и притом публично, на площади.

Труд, выпрямив обезьяну, одарил человека речью. Не отменяя труд, указ отменял членораздельность. Если на то пошло, следовало учинить всеобщую ампутацию голосовых связок. Да где

ж возьмешь прорву лекарей? И «вранье» продолжалось.

Петербург командировал г-на Шешковского. Особливый дар имеет допрашивать простолюдинов. Так говаривала государыня, прибавляя, чтобы не обижать Степана Иваныча, он, мол, любое самое трудное разбирательство доведет до точности; лучше бы, пожалуй, выразиться — до точки, после которой нет ничего, кроме отходной.

Его карету, запорошенную пылью петербургского тракта, увидел я на Лубянке. Там, где она переходит и Мясницкую, помещалась московская контора Тайной экспедиции. Духовная консистория — это потом, позже, а тогда, в годы, о которых речь, здешние «духовники», принимая «исповеди», губили души.

Степан Иваныч выпростался из кареты; его поддерживал под локоток верный Золототрубов, орясина, производившая некогда заарестование Каржавина-старшего. Как шилом кольнули меня востренькие глазки г-на Шешковского, усмехнулся презрительно: отмщение за мое давнее, шестьдесят второго года, злорадство. Не отрекаюсь, злая была радость, руки потирал.

Да, в начале шестьдесят второго, зимою. Императрицу Елизавету отпели, воцарился Петр III. Он, известно, пьяницей был. Не слыхивал, чтобы хоть единый сказал: пьян да умен, два угодья в нем. И вдруг разнеслось благовестом: ка-акое чувствительное сердце!

А началось с того, что государь явился в Сенат. Тотчас крепко, как в гвардейской караульне, запахло табаком-кнастером. Но спиртным не отдавало, тверезым явился. Возвестил: отныне Тайных розыскных дел канцелярия быть не имеет. И повелел изготовить высочайший манифест, имеющий быть объявленным со всех амвонов от моря Балтийского до моря Охотского.

Вообразите, что сталось с г-ном Шешковским: тьма в глазах, во тьме искры огненные. Гибель! Вообразите канцелярию: нос на квинту, мозги набекрень. Гибель!

Ужас и горе г-на Шешковского не были сугубо личными. Он знал твердо: упразднение тайного розыска есть ослепление державной власти. А уже возглашали манифест — Тайная канцелярия уничтожается. Г-н Шешковский страдал, его ужас тешил меня.

Увы, ни атмосферная гроза, ударившая в шпиль крепости Петра и Павла в тот день, когда Каржавин-старший вышел из застенка, ни даже божия гроза не испепеляет тайный розыск. Еще не улеглось ликование, еще скакали курьеры с манифестом, а брюхатый Сенат ужо разрешился от бремени: быть отныне Тайной экспедиции.

Это что же? Выходит, надули россиян? Отнюдь. Манифест

упразднял канцелярию. Но не сам по себе розыск. Тайная канцелярия, умирая, приказала долго жить Тайной экспедиции. Г-на Шешковского из секретарей переименовали в сенатские секретари. Переименование учреждения ничего не переменяло. Переименование должностного лица давало майорский ранг и потомственное дворянство. Праздник!

Екатерина упрочила его положение. Пребывая формально в ведении Сената, он теперь важные дела докладывал только императрице. Она так рассудила: неблагопристойно многим знать многое. Не глупо! Степану Иванычу отвели в Зимнем укромный покой — для «особливых занятий».

Как сейчас вижу, царица-матушка в кресле чулок вяжет, а Степан Иваныч стоит, уронив руки, кажутся эти руки непомерно длинными, словно пришитыми. Солнце катится за Неву, льется червонный отсвет. Вдумчиво улыбаясь, говорит Екатерина Алексеевна:

— Ты, батюшка, помни, чем тягчайше приносится обвинение, тем глубочае исследовать надлежит. Глубочае, инако безвинно осуждение может быть.

— Всегда помню, матушка, — вздохнув, отвечает Степан Иваныч. Она, рассмеявшись, грозит ему пальцем.

Он душевно желал своей ровеснице многая лета. Сердцем ловил ее тревогу, ее пасмурные, косые взгляды, брошенные в сторону наследника. Государыня и секретарь майорского ранга отлично понимали друг друга. Ни в намеках, ни в понукании нужды не было: Степан Иваныч не упускал из виду тех, кто окружал цесаревича Павла, кто с ним сближался, кто к нему приближался…

Когда на Мясницкой, у Рязанского подворья, остановилась казенная карета, запорошенная белесой, подзолистой пылью петербургского тракта, шел я в Садовники. При виде г-на Шешковского, вылезавшего из кареты, подумалось о покамест слабенькой, как паутинка, ниточке, которую, среди прочих, уже ухватил секретарь Тайной экспедиции, ухватил и осязал с каким-то особенным, ему свойственным сладострастием.

Вернувшись из Франции (если читатель не забыл, на одном корабле с Каржавиным), Баженов некоторое время жил в Петербурге. Ему поручили возвести дворец на Каменном острове. Каменный остров императрица подарила сыну. Мальчику, живому и любознательному, понравился и зодчий, и его чертежи — хорошо «расположены», хорошо «вымышлены». Баженов стал бывать у Павла, «приглашался к столу». Презентовал он наследнику книгу архитектора Патта, обстоятельную сводку работ французских мастеров, прекрасный фолиант,

приобретенный на улице Сен-Жак.

Ну и что из того, скажете вы, Павел-то был подростком. Справедливо. Но руководить — значит предвидеть. Г-н Шешковский руководил тайным сыском, а посему каждое лыко ставил в строку. Он заприметил благоволение наследника к Баженову. И сие упрятал в долгий ящик. Авось пригодится. Всему свой черед. «Несть тайны, иже не явлена будет».

А нынче г-н Шешковский пожаловал в белокаменную не ради архитектора, полюбившегося цесаревичу, а ради натаски московской конторы Тайной экспедиции в противодействии нарушителям указа «о молчании».

Черт с ним, надо идти за Москву-реку, в Садовники — узнать, когда ж наконец наш Федор избавится от монастырского плена? Бывал он в Москве лишь краткими наездами, гостил у Баженова, охотился за старинными книгами на развале возле Кремлевской стены. И возвращался в лавру пасмурный, ничуть не радуясь великолепным звонам колоколов, содержавших в металле своем изрядную долю серебра.

## *5*

Садовники, вернее, Средние Садовники начинали застраиваться. У Баженова дом был каменный, с молоденьким яблоневым садом. Василий Иванович жил семейно. Папенька и маменька, если память не изменяет, родом были калужские. Простые, приветливые, милые. В жены Баженов взял сироту. И правильно сделал — ни фанаберии, ни тещи. Пример, достойный подражания.

Оставляя Петербург, он слез не пролил: душа Москве принадлежала. Он любил город любовью зрячей и вместе мечтательной. Многое мысленно видел иным, нежели очно. И прежде всего то, что картинно и пестро открывалось по ту сторону неширокой, неглубокой Москвы-реки.

Открывался Кремль, памятный с детства: родитель служил псаломщиком в одной из тамошних церквей, очень ласкала она взор своей скромной, тихой красой.

Где б ни был Баженов, смотрел он в сторону кремлевского холма; так правоверный смотрит в сторону Мекки. Но правоверный не желает перемен, и Мекка пребывает неизменной. Баженовский Кремль кутали пестрые туманы. Исподволь, аккордами, возникало *Нечто,* никому, кроме Баженова, не зримое; так из глубоких вод, зыбясь и покачиваясь, всплывает град Китеж. А Кремль зримый, Кремль реальный мучил Баженова

хаосом пристроек, достроек, перестроек. Лишенные общей идеи, они, как стихия, увековечили вечное и вещее, то есть живое.

Робею изложить замысел зодчего. «Грандиозно», «колоссально», «гениально» — не пятаки ли давней чеканки? Внятно ли уподобление: мощь Баженова равна мощи Державина? И каждому ль понятно, что задуманное Баженовым превосходило храм Соломона или форум Траяна?

Он мыслил Кремль единством старины и новизны. Старины, освобожденной от сработанного на злобу повседневного. Новизны не заемной, не суетной, а вольно и гармонично объединяющей старину. Он мыслил кремлевский треугольник не пирамидой во славу монархии (хотя об этом твердил), а национальным символом (о чем, кажется, не обронил ни слова).

Но тут надо признаться, что не сам по себе проект — совокупность строгого расчета и пылающего воображения, не это брало за сердце, а бурный, мятущийся дух тридцатилетнего человека с темными густыми и легкими волосами, человека, весь облик которого… Понимаете ли, не в Париже, не в Санкт-Петербурге, а именно здесь, в Москве, вся сущность Баженова казалась мне насквозь русской. Отчего так? Да потому, что проект — уже одобренный, уже моделируемый из покорного рубанку и резцу мягкого липового дерева — проект этот не дарил зодчему величавого покоя. Снисходило, бывало, усталое удовлетворение; чувствовал, случалось, удовольствие; отступив и прищурившись, скрестив руки на груди и раскачиваясь на носках, бормотал: «Неплохо, неплохо… Даже и очень недурственно», эдак тоже бывало. Но покоя — свершил, сотворил — не было.

Видели бы вы Баженова в предвечерний домашний час, когда, сняв форменный зеленый кафтан с черными отворотами, облачившись в красный шлафрок, он придвигая кресло к окну и устремлял взгляд на Кремль. День мерк, ласточки реяли, река журчала, позванивала, все звало к отдохновению, а он испытывал и трепет сомнений, и отчаянную тревогу, и унизительное бессилие. Пляска нервов, зигзаги капризов? Другое! Страждущий дух, мука недостижимости и непостижимости идеала, неизбывное недовольство достигнутым и постигнутым — вот это и было истинно драгоценным в натуре Василия Ивановича Баженова, драгоценным и редкостным, присущим лишь истинным творцам, зиждителям, как говорится, милостью небес.

Он служил в Экспедиции. Не пугайтесь, не в костоломной тайной, а в Экспедиции кремлевского строения. Начальствовал генерал и камергер, коего за ненадобностью оставляю безымянным. Генерал вольготно княжил, Баженов рачительно правил. Правление обрушивало лавину хлопот. Начиная от

устройства кирпичного завода и поисков строительного камня где-нибудь у Девичьего перевоза на Оке или близ дремотного Зарайска, на берегу Осетра, и кончая укомплектованием архитекторской: команды опытными геодезистами и лепщиками, искусными краснодеревцами и скульпторами, усердными мастерами и подмастерьями каменных дел.

— Уповаю, — сказал он, — уповаю видеть Феодора Васильевича. Вчерашнего дни писал в Петербург — присмотрел-де отличного помощника… — Баженов улыбнулся и слегка руками развел, означало это, что объяснять не нужно: он, Баженов, давно «присмотрел», еще в Париже уговор был. — Горяч Феодор Васильевич, — продолжал Баженов, — не перечил бы батюшке, набрался терпения, глядишь, из Петербурга да в Москву. А пришлось из Парижа чуть ли не напрямки да в лавру. Ну какое ему житье в обители? Он мирской, беспокойный, закваска крамольная. Страшусь, не угодил бы в худые композиции. Уж больно Федор Васильевич неоглядчив, я его знаю. Кругом, говорит, лжебратия. Ковы на бедного Феодора моего, ковы!

Собственно, ковы, коварные замыслы, были словесными, в поступки еще не материализованные, однако не велик был труд понять, как душно и уныло Каржавину в лавре.

Впрочем, Баженов надеялся, что ходатайство возымеет действие. «То-то будет восхитительно!» — заключил Василий Иванович.

## *6*

Бабье лето стояло необыкновенное. В баженовском саду молодые яблоньки едва не зацвели. Гуси и утки вброд пересекали Москву-реку, плоскодонки, груженные дровами, сидели на мели. Ветер-тепляк, то южный, то восточный, выметал заблудшие тучки.

Похолодало внезапно, но снег еще долго не ложился. Лег только в декабре. И будто в тождество праздничному блеску пороши, совершилось формальное, с записью в журнале, назначение коллежского актуариуса Каржавина помощником архитектора Баженова.

Василий Иванович предложил кров в Садовниках. Федор благодарил и отказался. Ему отвели комнаты в Кремле, во втором этаже бывшего Потешного дворца, книзу помещалось что-то казенное, если не запамятовал, ревизион-коллегия. Отсюда рукой было подать до Модельного дома — мастерской, где работали громадную модель будущих кремлевских строений: в медных

тазах кипел, пузырясь, рыбий клей, плотен был шорох александрийской чертежной бумаги, и плавно, как струги, скользили двойные рубанки, те, что берут мелко и часто.

Сказать: Федор охотно приступил к делу — ничего не сказать. Такая радость бурлила, что допоздна сон не брал, а спозаранку ото сна поднимался, приоткрыв окошко жаркой горницы, всей грудью забирал молодой, снежистый воздух и смеялся невзначай.

Не буду вдаваться в его «рассуждения математических и физических правил». Еще на школьной скамье проникся к ним отвращеньем, в чем и каюсь, краснея, Да и архитектурные трактаты — Федор переводил с латинского и французского — не будят любознательность. Нельзя, однако, не отметить, что наш актуариус еще и безвозмездно обучал баженовскую команду алгебре и механике. И словарь составил, словарь архитектурных речений. Каков Каржавин!

Так жил он на кремлевском холме.

А с плоских невских берегов Каржавин-старший, словно бы привставая на цыпочки, шею вытянув, хмуро поглядывал на Каржавина-младшего.

Из монастыря Федор писал почтительно, но прощенья не просил. Куда-а-а! Холодом несло, как от железа, стылого на морозе. Из Москвы — в том же духе. Должно быть, и вовсе нос задрал фаворит академика Баженоьа. То-то они с ним еще в Питере все это шу-шу. И вот извольте, академик выцарапал Федьку из Троицкой лавры.

Жене не сказывая и как бы прячась от самого себя, Василий Никитич от времени до времени наводил справки.

К заяузским Каржавиным Федор не наведывался. То были люди древлего благочестия, привечали странников из дальних скитов. Небреженье родней, казалось бы, давало повод к вящему неудовольствию, Василий Никитич, однако, не серчал. Враждебный расколу любого толка, а равно и православию, он не жаловал московских свойственников. Исключая разве что Ивана, Федькиного ровесника. По своим торговым делам тот изредка наезжал в Питер; Василий Никитич любил состязаться с ним, как на ристалище; сутулый, смуглый родственничек слыл тонким буквалистом и крепким начетчиком, в перекрестных спорах о бытии божием Василию Никитичу доставалось, коса находила на камень, что и прельщало.

Через третьих лиц этот Иван Каржавин вызнавал про Каржавина Федора. И сообщал на Адмиралтейскую першпективу. Примером можно привести такое: «Сын наш связался с молодой Лукерьей, стряпухой Троицкого подворья». Новости такого рода ничуть не задевала Насилия Никитича: быль молодцу не в укор.

Задевало, злило другое: взял свое, предается наукам. Потом узнал, что «Федька-подлец» всех положил на лопатки, приняв участие в университетском конкурсе. Открылась вакансия на должность преподавателя французского языка; набежало множество московских французов; первенство досталось Каржавину Федору.[8] Василий Никитич испытал досаду пополам с гордостью. Эва, подумал, словно бы руками разведя, катается, неслух, как сыр в масле.

Но едва невских берегов достиг страшный слух о моровом поветрии, Василий Никитич почернел. Когда-то просил Ерофея: бога ради не утрать ребенка. А теперь кому поклоны бить? Ни чинов, ни званий не разбирает моровое поветрие, ни дитя не щадит, ни старца не милует, а взяток не берет.

## *7*

Чума!

Богатые фамилии спешно отъезжали в подмосковные. Фабрики закрывались. Церкви не вмещали молящихся. Полицейские солдаты волокли мертвецов к скрипучим фурам; фуры, глухо и страшно стуча колесами, волокли мертвецов к яминам, вырытым на неосвященной земле. Никто не желал укрыться в наспех сооруженных карантинах; лекарей били — злодеи они, отродье дьявола.

Модельный дом опустел. Караульных отпустили к семьям, в Преображенское, будто и там, за Яузой, не гуляла беспощадная зараза. Мастеровые мерли, шум работ смолк. Баженов и Каржавин угрюмо супились: существуем между животом и смертью.

В Модельный нередко приходил старец Амвросий — серебряная борода, тяжелые, иссиня-черные очи, мягкие южные интонации, наследие нежинской родины. Он был знатоком церковной архитектуры. Его строгим присмотром возобновлялась лепота кремлевских соборов. Архангельский уже воссиял, но Благовещенский с Успенским еще нет, и старец сокрушался, боясь, что не успеет запершить богоугодное, сердцу любезное дело.

Архиереев называли смиренными. Амвросий же вовсе не был смирен. Священство питало к нему неприязнь, многие — ненависть. Возлюбишь ли, коли из рук мошну выдрал? Амвросий, архиепископ Московский и Калужский, воспретил попам публичный торг требами — исстари рядились они с мирянами на Красной площади, предлагая платную обедню иль панихиду. А тут — шабаш…

Баженов любил старца, текли собеседования об архитектуре. Каржавин держался в стороне. Отдавая должное познаниям преосвященного, разве что терпел Амвросия, да и то ради баженовской приязни.

И не вытерпел.

Старец знай себе сетовал на мирскую власть. Вот-де наместник генерал-фельдмаршал Салтыков воинские команды из города вывел и сам схоронился за тридцать верст от белокаменной, в своем Марфине. Это было так. Но Каржавин, блеснув глазами, взорвался — нет у нас, нет иерея, подобного Франсуа Бельзену: славный марсельский епископ в чумную годину изо всех сил помогал горожанам, в первую голову беднякам, ничуть не заботясь о собственном здравии.

Смиренный смолчал. Громко стуча посохом, ушел в сопровождении послушника, белый клобук, казалось, подрагивал от негодования. К себе ушел, в Чудов.

Баженов укоризненно взглянул на Федора, хотел что-то сказать — не успел: вбежал мальчонка, сын сторожа, задыхаясь от восторга пополам с испугом, крикнул — со стороны Варварки валит на Кремль тьма-тьмущая. И, не сдержав бурного прилива чувств, повернулся на одной ножке и был таков.

Слитный гул нарастал, приближался. На дворе заплясала факелы, колыхалась толпа, вооруженная дубьем, топорами, рогатинами, вилами. Бунтовщики не тронули капище Баженова: «Э, там одни щепки!» И косматый вал, обтекая Модельный дом, покатил к Чудову монастырю.

В Чудовом бросились искать архиерея. Старец надел мужицкий армяк и скрылся. (В намерении разделаться с Амвросием — явное наущение попов: они не прощали ему запрет поповского торжища на Красной площади.) Исчезновение преосвященного плеснуло маслом на огонь. Окна и мебеля — вдрызг… В ризнице слепли иконные лики — ножами в глаза, ножами… Взлетели, трепеща, клочья древних манускриптов, реяли, вспыхивая в желтых языках факелов, оседали черными мягкими хлопьями… Клочья манускриптов умирали покорно, беззвучно, винные же бочки трещали и словно бы даже повизгивали. Клубились винные пары под сводами подвала, факелы с шипением и чадом гасли, как драконы, на склизких от вина каменных плитах. И этот плотный плеск ячменного английского чина, и этот обвал водочных штофов и полуштофов, этот тяжелый, будто чугунный, стук бутылей венгерского шампанского. И этот рев, как на пожаре: «Дружней, братцы!» Клубились винные пары, шел буреломный гул. Гуляли уже во дворе Чудова, гуляли на площадях Кремля, по окнам метались,

как лисы, отблески огней. А звезды стояли ясные, высокие, серебряной чеканки звезды золотой изначальной осени.

И там, вдалеке от Кремля, они были высокие и ясные — над Донским монастырем. Единой грудью выдохнул народ: «Святое место! Здесь нельзя!» Старика в мужицком армяке подхватили, легок был старик, пушинка. Понесли, пихаясь, каждый норовил ухватить за армяк, несли, голова моталась.

За монастырскими воротами, где место уж не свято, бросили старца наземь. Преосвященный медленно поднялся, губы вздрагивали, он искал отрока-послушника. Бедный вьюнош, ты, испугавшись, крикнул этой бессмысленной черни: «Архиерей на хорах!» Отыскали на хорах, волоком, волоком вниз и вот… Фабричный в опорках упоенно взмахнул дубиной и, хэкнув, как дровосек, хряснул смиренного по хребту. Охнув, осел старец, словно в безмерном удивлении. На него кинулись, изорвали в клочья. И отступили, попятились, ошеломленно втягивая головы в плечи. И вот уж, не оглядываясь, подались прочь, быстро растекаясь, быстро рассеиваясь.

Петухи пели в Донском.

Пели на Остоженке тож, на дворе генерала Еропкина.

Сказывали, человек простой и добрый. Судить не могу, однако отмечу: императрица пожаловала генералу орден Андрея Первозванного и тысячу душ; от ордена Еропкин не отказался, тысячу душ не принял — я, мол, сам друг с женой, всего хватает. Уникум!

Высокий, сутуловатый, мерно подрагивая икрами, он выхаживал по зале с навощенными половицами и штофной мебелью. В петушином распеве слышал боевой клич; щурил глаз, как прицеливаясь… Сберегая служивых от морового поветрия, Салтыков, фельдмаршал, переместил большинство воинских команд в Бронницкий уезд. Пока вернутся, голь обратит Кремль в руины.

Еропкин действовал быстро. С бору по сосенке сколототил воинскую команду. Послал за Тверскую заставу приказ пушкарям — везите пушки. Те повезли, да не довезли: охальники из ямской слободы не пустили. Ладно. Генерал раздобыл пушки на Пресне. И двинулся к Боровицким воротам.

У Кремля бунтовщики преградили дорогу. Еропкин ласково, как детям, приказал солдатам:

— Коли!

Пехотинцы ощетинились штыками, бунтовщики расступились. Еропкин подал знак кавалеристам:

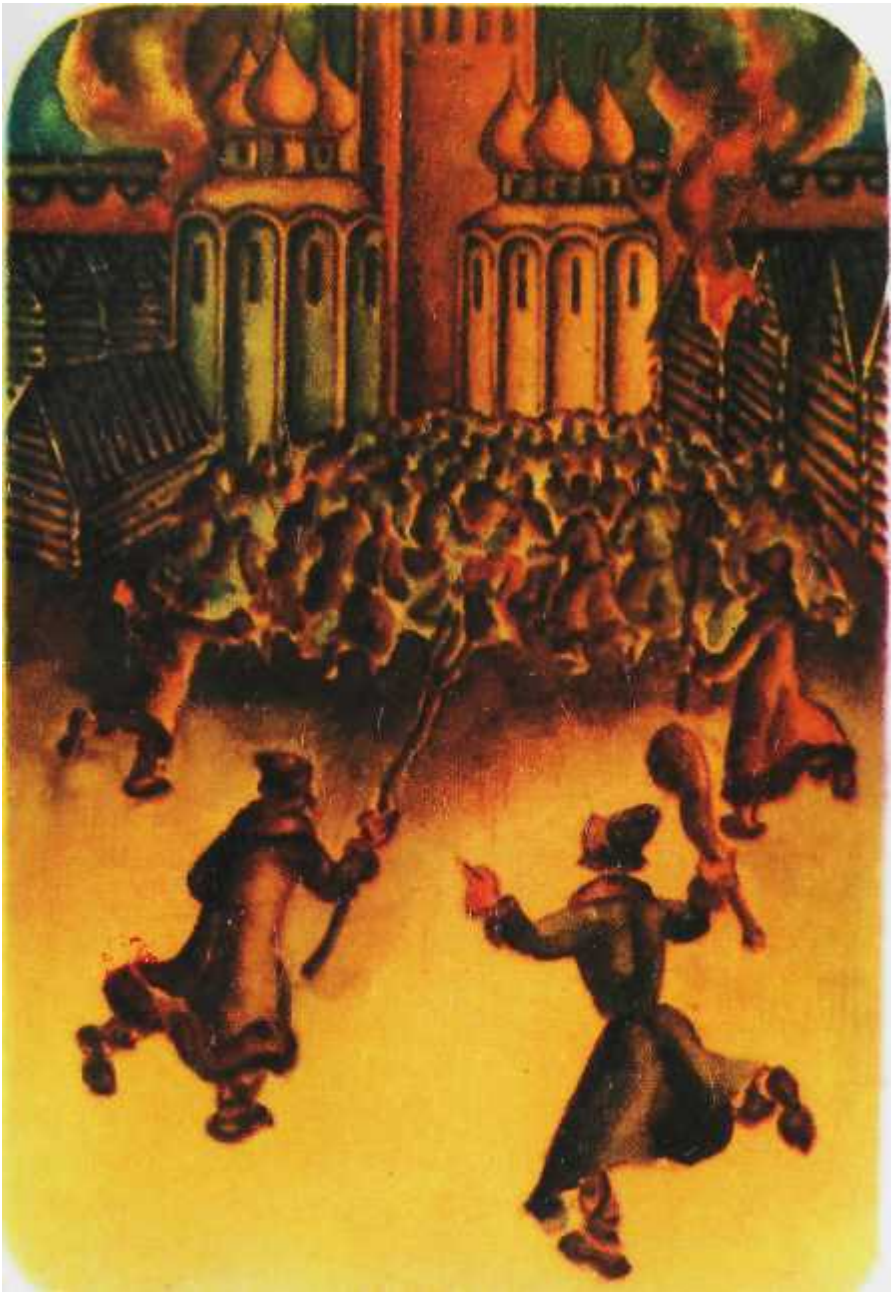
— Руби!

Конница, дружно цокая, полетела к кремлевской Ивановской

площади, запруженной бунтовщиками. На скаку офицер отменил генеральское «руби» — блеснув шалой улыбкой, крикнул:

— Опохмеляй эфесами!

Толпа слитно шарахнулась и откатилась, побежала; «опохмеляли» недолго — впереди были пушки. Кавалеристы осадили коней, кони заплясали, роняя пену с мундштуков.



Послышался тонкий, дерущий ухо, металлический визг картечи. Со всех колоколен сорвалось воронье, плотной стаей, треща крыльями, заходило кругами над Ивановской, предвкушая обильную тризну. Пало под картечью человек пятьсот; десятки, сотни, отчаянно стеная, ползли, брели, зажимая раны, кто пятерней, кто шапкой, кто полой.

Пехотная команда тем временем приблизилась к Чудову монастырю. Регулярная, мундирная сила и силушка бунтовская, холопская и фабричная, словно бы покачивались на незримых весах. Тихо было, тяжело дышали.

Но вот, как из лесу, грянуло атаманское:

— Бей солдат до смерти!

Громадный, косматый мужичина, кулачный боец Герасим, Москве известный по кличке Кобыла, грудью попер на штыки. Может, в последний миг ощутил за спиною зияющую пустоту, никто за ним не последовал, но нет, не задрожал, как не дрожал на гладком москворецком льду, когда стенка пятилась под ударами встречной стенки.

Штык достал Герасима трижды. Он взревел и, нагнув косматую голову, обрушил кулак-кувалду на здоровенного унтера. Тот повалился бездыханным, но и Герасим тоже — с распоротым брюхом, четвертый штык прикончил. И тогда воинскую команду бросило, как из пращи, на бунтовское скопище…

Чудово побоище угасло впотьмах. Спасские куранты, совсем еще новехонькие, чистым, без трещинки звоном отыграли десять пополудни. Крепкие караулы кряжисто летали у кремлевских башенных ворот.

Всю ночь, однако, бухал набат. Едва развиднелось, толпы, как волны, залили Красную площадь. Караульные надсаживались: «Расходись, хуже будет!», «Бунтовщик», бойчась друг перед другом, во всю глотку требовали: «Еропкина-убивцу давай!»

А тот тишком вершил обходной маневр: из Никольских ворот конницу вывел, из тех же ворот пушки выкатил. Крадучись зайдя в тыл несметных толп, внезапно охлестнул народ картечью и, как давеча, дал знак кавалерии: «Руби нещадно!»

И теперь уж рубили, рубили, а не эфесами шлепали. Свалка была скуловоротная, душа вон. Не бежали бунтовщики, нет, дрались с последним яростным отчаянием, успели даже пушку захватить, успели и развернуть к Спасской башне — ох, фитилей не было, фитилей не было…

В пять часов пополудни беглым шагом вступил в город Великолуцкий полк: восемьсот солдат, в сумке у каждого — сорок патронов. Час спустя сумки были пусты.

Полк встал биваком посреди Красной площади. Ни песен, ни смеха — молчание. И не зажглись в ту ночь ни звезды, ни месяц — тьма кромешная.

## *8*

После Чумного бунта наехал на Москву г-н Шешковский со своими присными. В лубянскую контору Тайной экспедиции призвали «самовидцев бесчинства черни», Баженова и Каржавина тоже.

Осторожно ступая, будто боясь расплескать что-то, вышел к ним г-н Шешковский, оба дрогнули крупной дрожью — вурдалак! Голова была кроваво-красной, на лоб, на щеку текло что-то алое. Морщась, молвил домашним, жалобным голосом: «Очень она меня пользует…» Кто «она»? — оказалось, клюква. Маясь мигренями, Степан Иваныч повязывался тряпкой, вымоченной в густом клюквенном соку. Но хотя треклятая трескотня в мозгах отнюдь не способствовала отправлению служебных обязанностей, г-н Шешковский стоически превозмогал недуг.

Эти двое интересовали секретаря Тайной экспедиции. По разным причинам, но интересовали.

На Баженова хотелось взглянуть, каков из себя один из любимцев наследника престола. (Выше я уже приводил известную сентенцию: руководить — значит предвидеть.) Показания о «злодействе черни» дал Баженов нехотя, но с нажимом показал, что Модельный дом не тронули. Записали. Очередь была за Федором.

Г-н Шешковский смотрел на него с любопытством.

— Да-а-авно о тебе наслышан.

Федора бросило в жар. Сызнова, как в Питере, но сильнее, сильнее проняло чувством без вины виноватости перед батюшкой. Спасаясь от этого чувства, он, вопросов не дожидаясь, объявил, что, ежели здраво судить, московская власть причиною Чумного бунта… Странно, Степан Иванович хотя и пресек горячность молодого человека, однако не озлобился. Странно и то, что, выговаривая Федору за неисполнение отцовской воли, выговаривал опять же не злобно, а, скорее, благодушно.

Приоткрою душевную тайну секретаря Тайной экспедиции.

Он служил государыне истово, а не рабски, пусть и титулуясь неизменно рабом ее величества, но многих из столпов ее царствования презирал. За казнокрадство и взяточничество, за угодничество перед матушкой. Бояре! Он тоже брал взятки и тоже угодничал, да ведь не был же, не был потомственным

дворянином, дед в денщиках ходил, отец — в приказных, не из благородных он, его высокоблагородие г-н Шешковский. И если берет, то сие столь же невинно, как прокорм халтурой, даровым угощением на поминках.

Так вот, он презирал «этих» — с младенчества все даром и все им мало. А «эти» презирали Шешковского. Он напускал на себя смирение, скрывая безбоязненность своего презрения. Но тут еще не вся задушевная тайна застеночного чародея.

В секретной сладости его отношения к вельможам бесшумно, как травка, проросло что-то похожее… Право, затруднительно определить отношение Степана Иваныча к людям третьего чина. Милосердие? Оно вообще не было ему свойственно. Снисходительность? Нет. Вот что, однако, примечательно. Бывало, «исследует» да и выставит резолюцию: признавая такого-то развращенным, уповаю, что оный по слабости духа не способен на пагубное деяние. И шабаш, не рвут ноздри, не гонят в Сибирь. Как прикажете понимать? Может, вроде кукиша «этим». Пусть в кармане, а все-таки кукиш. Тайная блажь секретаря Тайной экспедиции. Положим, так, но отчего благодушие в разговоре с Каржавиным-младшим? В пучок сошлось! Малый был первенцем Каржавина. А тот вроде был первенцем его, Степана Иваныча, нешуточного попрания указа о взяточниках. Но если так, почему ж Степан Иваныч не приструнил ослушника отцовской воли? Мешало презрение к «этим»; своих щенков в нарижах холят, они оттель мартышками выскакивают, а наши-то, такие-сякие, на черством хлебушке которые, соколами взлетают.

При всем том, отпуская Федора, назиданье сделал:

— А книжек-то больно много не чти, а то во ереси впадешь…

Ереси? То-то послушал бы Степан Иваныч, какие сюжеты обсуживают в Модельном доме и там, за Москвой-рекой, в Садовническом.

Московский бунт потряс душу. Баженов сокрушался: «Простолюдин подобен вепрю». Каржавин не спорил: «Кровавые нелепости». Тем и исчерпывалось согласие. Не потому лишь, что Каржавина восхищала отвага и удаль простонародья в яростной схватке на Красной площади, восхищал Герасим — Кобыла: «На штыки — грудью!» Нет, обнаружился водораздел. И размышления, как потоки, берущие начало на горном кряже, устремились в разные стороны.

Зодчий, созидающий зримое, как бы изнемогал под властью рационализма. И помышлял о созидании незримого Соломонова храма в душе своей. Каменных дел мастер тянулся к вольным каменщикам. Сущность масонства усматривал не в обрядности и даже не в филантропии. Полагал так: фундамент человеческого

братства закладывается по кирпичику; общая гармония произрастет из гармоний «я», из гармоний личностей; начинай не призывом ко всем, начинай призывом к своему сердцу, живи жизнью духа, день без нее не имеет солнца, а ночь — звезд.

Каржавина рационализм не тяготил. День не имеет солнца, ибо солнце в тучах рабства. Ночь не имеет звезд, ибо звезды застит невежество. Рабство и невежество — сообщающиеся сосуды. Упразднив первое, упразднишь второе. Воспаряя в сферы духа, спускайся на грешную землю. Грешной земле нужны решительные перемены. Такие, чтобы заложили фундамент братства.

## *9*

А фундамент Большого дворца закладывали в июне 1773 года. Толпы горожан, запруживая Кремль, теснились, рокоча, под высоким небом с неспешным наплывом обложных туч. Все московские сорок сороков благовестили. Рокот и колокольный звон накрывало, как шапкой, уханье пушек, и это мирное торжество Марса, казалось, останавливало тяжкий и плавный наплыв сизых, с рыжими подпалинами от солнца грозовых облаков.

Архитекторская команда шла церемониально во главе с Баженовым. На массивном серебряном блюде нес зодчий кирпичи из снежно-белого мрамора: один с вензелем государыни, другой — наследника. Бледное лицо Баженова было в крупных каплях пота.

Каржавин знал распорядок. Василий Иванович произнесет речь, совместно сочиненную с поэтом Сумароковым, а потом колокола и пушки грянут, и его сиятельство главнокомандующий Москвою свершит «положение первого камня» в фундамент Большого Кремлевского дворца.

Да, помощник Баженова шествует вместе со всей Архитекторской командой, шествует посреди несметных толп, все наперед расчислено, но помощник зодчего думает: «Пустили пыль в глаза, только всего и есть». Так думает он не о позабытом «Наказе», нет, о нынешнем празднестве.

Государыня, изнемогая под бременем военных расходов, и теперь пускала пыль в глаза. Внемлите, народы, покоритесь, языци — если мы ссужаем миллионы на украшение нашей древней столицы, стало быть, есть и золото в бочках, и порох в пороховницах. Кремлевская демонстрация была царскосельской мистификацией.

В крупных каплях пота прекрасное лицо зодчего Баженова. Вытянув руки, несет он напоказ всей Москве, всей России серебряное блюдо с беломраморными кирпичами. Баженову ли принять тайное известие о пресечении кредитов на строительство Большого дворца?

А помощник зодчего? Сердце сжимается при мысли о несчастии друга. Великий дар! И вот начало конца под этим июньским небом в обложных тучах. Душно!

Федор «держит шаг» в церемониальном шествии Архитекторской команды. «Пыль в глаза, обман», — беззвучно повторяет Каржавин. Как душно! Он рассеянно посматривает на толпы пеших и конных москвичей, замечает грузного г-на Демидова, восседающего в коляске. Прокофий Акинфович важно кивает и вдруг корчит рожу — один глаз, круглый и черный, выпучен, а внушительный нос непостижимым образом передвинут чуть ли не к уху. Черт знает что на уме мильонщика Демидова. А векселек-то, думает Каржавин, векселек-то на шесть тысяч гульденов на полу не валяется. Нечего медлить. Чужд ты и отчему дому, и нет тебе места в отечестве. Не приснели сроки грудью опрокинуть штыки, и еще не дано заложить на родине тот фундамент, о котором ты, Федор Васильевич, говорил Василию Ивановичу. Раз так, ступай на Басманную, объяви свое окончательное согласие.

## *10*

Демидовский дворец был на Басманной, в Немецкой слободе: окна зеркальные, стены обиты рытым бархатом, цветастым шелком, мебеля черного и розового дерева, в листве заморских растений снуют пичуги величиной с мизинец. Принадлежал дворец мильонщику Демидову, как принадлежали ему и обширные вотчины в пяти российских уездах, заводы уральские и приволжские, земля и строения здешние, в белокаменной.

Чудодей, забавник! Право, не трудно потрафить любезным читателям жанровыми сценками весьма динамичными: Прокофий Акинфович из конца в конец анфилады верхом на докучливом просителе скачет, наездившись, тотчас исполняет просьбу, сентенцией выставив латинское: вдвойне дает тот, кто дает быстро; Прокофий Акинфович, насмерть упоив полицейского офицера-пакостника, велит раздеть донага, обрить наголо, как басурмана, вымазать медом да и вывалять в перьях; у Прокофия Акинфовича пир, море разливанное, в одном из кресел — матерый хряк, а хозяин застолья почтительно величает борова

«вашим сиятельством», и все понимают, что Прокофий Акинфович шельмует важную персону, чем-то его обидевшую.

Хорош? Всей Москве были известны «жанровые сценки», пестрой чередой возникавшие во дворце на Басманной, многих в Москве потешали они — ха-ха, достается от Прокофия Акинфовича офицерам да барам. А Каржавин сумрачно пожимал плечами: не нрав, а ндрав; не самостоянье, а холопство навыворот, деспотизм на карачках.

Но широк русский человек, широк, это давно замечено. Нету в Москве родовспомогательного учреждения? Получите, господа, двести тысяч. Надо сиротам Воспитательный дом? Располагайтесь в одном из его, Демидова, домовладений, вот хоть на Донской, сделайте одолжение, всем места хватит. А в Нескучном саду он пышную «ботанику» учредил — оранжереи с ананасами, плодовые деревья, пальмы. И рогаток не выставил: пожалуйте, дорогие москвичи, заходите без различия чинов-званий.

Чадолюбием Прокофий Акинфович не отличался. Взрослых сыновей держал в черном теле. Дочкам воспретил выходить за дворян. Одна заупрямилась. Тотчас на воротах в Басманной, как дегтем: девица Демидова будет выдана за любого прохожего дворянина. Подвернулся некто Станиславский. (Кажется, офицером был. И при том из бедноватых.) Хочешь, братец, под венец, вот девка, берешь? Еще бы! И девицу Демидову окрутили с первым встречным.

Все это про Демидова не к тому лишь, что в его доме на Басманной механик-француз, обладатель «снаряда» — прибора с толстыми стеклами и зеркалами, — демонстрировал объемные изображения ландшафтов, здании, гаваней… Баженов с Каржавиным посещали сеансы в доме Демидова; их занимали «перспективные представления по правилам архитектуры». Между прочими картинами увидел Федор и бригантину, разбившуюся на скалах Мартиники. Увидев, улыбнулся давнему: географический атлас, купленный на Патернастер-роуд, отец, вожделенно-задумчиво повторяющий: «Мартиник… Мартиник…» Но и теперь, в Москве, как и тогда, в Лондоне, не шевельнулось в душе предчувствие очной встречи с Вест-Индией… Да, так вот, и про Демидова, и про чету Станиславских, подаривших мильонщику внука, — все это здесь неспроста.

Капризник, варвар, он был очень неглуп. Случалось, встретишься с ним глазами, едва не вздрогнешь: ах, бестия, так и проницает… Читал он много, в читанное вникал, тянулся к людям наук и искусств, год в Голландии прожил, с тамошней профессурой не чудил.

Проекты Баженова, грандиозная модель в Модельном доме

живо интересовали Демидова. К тому же, думается, имел он виды на зодчего и для собственных строительных затей. Баженов во прахе перед Демидовым не елозил. «Больно анбициозен Василий Иваныч», — ворчал мильонщик. Но худого в ту пору на уме не держал; это уж несколько лет спустя удрал наш забавник штуку: дал Баженову вексель, заверил, что беспроцентный, а потом и грянул громом с ясного неба — отдай тотчас!

Помощник зодчего казался Прокофию Акинфовичу дельным малым, но строптивцем: воротившись из чужих краев, не захотел споспешествовать отцовским негоциациям. С одной стороны, полагал Демидов, оно и не худо: пусть упражняется в переводах архитектурных трактатов. С другой стороны, полагал Демидов, Каржавина-старшего надобно понять: давно пора россиянам обзавестись просвещенным купечеством. Ни одна чаша весов не перевешивала. И даже не колебалась — Федор и пол-фунтика не весил в мыслях Прокофия Акинфовича.

Правда, однажды всплыло в памяти замечание князя Голицына о будущем искусном профессоре… Незадолго до приезда Демидова в Голландию перевели Голицына из Парижа в Гаагу. Познания и простота обхождения посланника покорили Прокофия Акинфовяча. Голицын-то и упомянул о Каржавнне, упомянул вскользь, но очень лестно. Демидов недоверчиво хмыкнул: ученых соотечественников, исключая покойного Ломоносова, язвил он «шалберами» — болтающими пустяки. И все ж замечание князя Голицына, всплыв однажды, соотнеслось с Кирюшей Станиславским. Прокофий Акинфович любил внука; так иногда холодность отцовских чувств как бы искупается полнотой и горячностью дедовских.

Демидов желал учить внука в Голландии. И знал, у кого именно. Демидов желал нанять внуку ментора-провожатого. И знал, кого именно… Тут надо оттенить упомянутую выше проницательность Прокофия Акинфовича, а вместе и широту натуры. Угадал он душевное томление баженовского помощника. И захотел ему пособить. Но г-н Каржавин, думал Демидов, христорадно руку не протянет. Он не ошибался — Федор нипочем не принял бы даровщинку. А предложение отвезти Кирюшу в Голландию и на первых порах приглядеть за мальчонкой принял. Приняв, не отдернул руку от векселя на шесть тысяч гульденов.

Отцовской помощи Федор не ждал. Напротив, ждал отцовского гнева. Не принимал смиренно, но сострадательно понимал. Отцовская печаль была печалью державной: ни одного русского торгового дома ни в одном из городов Европы, ни одного банка, все банковые агенты — чужеземцы. Отцовская мечта была семейной: «Каржавин, сын и К0» — холст и пенька,

лен и железо, щетина и воск. Отказываясь служить Меркурию, он, Федор Каржавин, предавал отца. А тот ведь какие муки вытерпел в крепости Петра и Павла. И доселе ходил в покорных данниках г-на Шешковского.

Сострадательно понимая отца, Федор ждал отцовского гнева. Смириться? Никогда! Иное, совсем иное назначено ему в подлунном мире. Ибо правят подлунным миром Несправедливость и Зло.

## *11*

Дорога взяла двенадцать ден. Пара лошадей обошлась в двенадцать рублей. Рубль в сутки! А прокорм, а ночлеги? Вексель-то был крупный, но притом и демидовский выверт был: оплатит амстердамский банкир Говен, а до Голландии, как говорится, будь добр. Каржавин, злясь на благодетеля, считал гривенники, не пренебрегая и счетом копеек.

В Петербурге, за версту обходя родительский дом на Адмиралтейской першпективе, побывал он у сестры Лизоньки, навестил и вдовеющую тетку.

Лизонька вышла за адъюнкт-профессора Козлова. Гаврила Игнатьевич служил в Академии художеств. Он принял Федора родственно, с первой минуты встали на короткую ногу, оба сразу поверили, что дружбу свою сохранят на всю жизнь.

По соседству, на Васильевском же острове, вековала вдова Ерофея Никитича. Еще не увядшая Федосья была из тех женщин, которые во вдовстве не живут, а доживают, и это свое доживание ощущают как вину перед покойным супругом. Затрудняюсь объяснить холодность Федора к вдове своего дядюшки, утрата была тяжкой, а вот к Федосье, к этой невзрачной женщине с заплаканными глазами, Федор почему-то не умел расположиться. (Странно, добряк Козлов тоже не очень-то жаловал ее, что не мешало профессору живописи чтить память переводчика Свифта.) Капитала Ерофей Никитич, разумеется, не нажил. Первые две книги «Путешествий Гулливеровых» напечатали, Федосья получила двести тридцать рублей. А третья книга, а четвертая? Надо было что-то предпринять, надо было где-то хлопотать. Тем паче что подобные хлопоты следовало осуществить не из одних лишь родственных чувств, а и ради читающей публики, не владеющей ни английским, ни французским. К тому же именно в переводе покойного дядюшки сочинения Свифта ближе к подлиннику, нежели лощеное французское издание, а близость к подлиннику уменьшает дозу пресной нравоучительности,

увеличивая дозу едко-сатирического…

Давно приманивало рассказать о знакомстве Каржавина с Николаем Новиковым. Но — усомнился: Новиков-то приезжал ли в Москву? Напрягая память, определил: приезжал до Чумного бунта, в шестьдесят девятом, в августе, а Каржавин был еще в Троице-Сергиевой лавре. Разминулись!

Зато теперь, в Петербурге, летом семьдесят третьего, Федору, озабоченному избавлением дядюшкиного наследства от мышей и тлена, теперь уж ему нельзя было разминуться с Новиковым.

Дело вот какое.

Лет пять, как существовало «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг». Сказал бы: «творческий союз», если бы не весьма существенные недостатки этого «Собрания»: отсутствие штатных единиц и карет для всяческих разъездов; к тому же и собраний «Собрание» но собирало. Но, словно бы вопреки организационному несовершенству, старательные переводчики выдавали в свет трактаты философические, физико-математические и естественноисторические, сочинения древних авторов, греческих и римских. Каждый трудился в домашнем уединении. Ерофей Никитич тоже. Общение, конечно, было, но не протокольное, не официальное, а по взаимной склочности, по сходству увлечений.

Труды праведные оплачивались неправедно — от пяти до восьми целковых за лист. Денежки капали из кабинета ее величества. С теченьем лет капали все реже, ибо у ее величества расходы росли, в том числе и альковные, на фаворитов.

Хиревшее «Собрание» ободрилось с появлением отставного поручика Новикова. Того самого, который, как сказывали, в день переворота стоял на часах не то у заставы, не то у моста и молодецки скомандовал: «Проезжай, государыня!» Я имею в виду день, когда Екатерина II выхватила скипетр из рук Петра III. Лейб-гвардеец Новиков волен был не пропустить ее карету, вышла бы заминка, из заминки — сумятица… Ну хорошо, отставной Новиков издавал журналы острые, колкие, сатирические. Государыня не мирволила бывшему лейб-гвардейцу: «Езжай, езжай, голубчик!» — напротив, исподтишка тормозила. Новиков не унимался. Его деятельным умом владели обширные замыслы. Завязав отношения с «Собранием, старающимся о переводе иностранных книг», он учредил «Собрание, старающееся о напечатании книг». Кто же, если не он, Николай Иванович, мог посмертно вызволить Ерофея Никитича? Да и как же иначе, если сатирическое куда действеннее нравоучительного, и уж кому-кому, а г-ну Новикову это очень хорошо известно.

Новиков жил тоже на Васильевском острове, возможно, впрочем, что он поселился там несколько позднее, но сейчас важен не адрес: в прихожей у Новикова Федор рассеянно-вежливо раскланялся с узколицым титулярным советником. Они лишь взглянули друг на друга. Жаль! Хорошо было бы обменяться рукопожатьями. Не потому, что титулярный служил обер-аудитором,[9] а потому, что знали его Радищевым. Он состоял в том же «Собрании», что и покойный Ерофей Никитич. А к Новикову заглянул условиться, когда получать остаток за перевод «Размышления о Греческой истории» аббата Мабли.

Новиков и Каржавин были погодками. Погодками и, собственно, ровней; так, во всяком случае, и пожалуй самонадеянно, считал Федор. Нимало не робея, улыбаясь дружелюбно, он представился:

— Богодар Вражкани.

За этим шутливым представлением пламенело, как за каминным экраном, авторское самолюбие — назовешься и услышишь удивленно-почтительное: «Ах, это вы?!», «Ах, вот вы какой!» Бедный Федор получил щелчок по носу: восклицаний не последовало. Покраснев, он, словно задев притолоку, досадливо и втихомолку ругнул себя стоеросовой дубиной.

Новиков ставил Каржавина на место? Указывал дистанцию? Ручаюсь, это никому не пришло бы в голову, глядя на Николая Ивановича: открытое лицо с прекрасным лбом выражало неординарную доброжелательность — устойчивую и широкую. (Доселе не пойму, какая такая «тайна» его физиономии пугала непугливую княгиню Дашкову?) Нет, Новиков и не думал обдирать холодной водой незнакомого посетителя. Помнил многих сотрудников журнала «Живописец», но Богодара Вражкани, убей, не помнил.

Но, право, чего обижаться-то?

Во-первых, этот Богодар Вражкани был всего-навсего одноразовым корреспондентом «Живописца». Во-вторых, Богодар Вражкани сам определил свое сочинение — «грубая подмалевка». Наконец, Богодар Вражкани не бог несть на кого поднял секиру-сатиру: на купца Живодралова — до ста тысяч рублевиков в процентах ходят, а сын, и науках просвещенный, едва пищу имеет… Этот сюжетец Новиков тиснул в «Живописце»: хоть и подмалевка, однако обличительная. Тиснул и упустил из памяти какого-то Богодара, какого-то Вражкани. А тот сидел перед ним в кресле. Да-да, собственной персоной: Федор в переводе с греческого — «дар бога»; Каржавин анаграммой — Вражкани.

Пришлось все это, злясь на самонадеянность, сказать Новикову. Николай Иванович рассмеялся и, коснувшись лба

кончиками пальцев, попросил Федора Васильевича явить снисхождение к его, Новикова, дырявой памяти. Лукавил! Но Федору Васильевичу ничего иного не оставалось, как «явить снисхождение» и приступить к переговорам о дядюшкином рукописном наследстве, подчеркивая необходимость полного издания «Гулливера».

Но Федор еще и не взял настоящего разбега, как Новиков уже достал корректурные листы: третьего дня принесли со стрелки Васильевского острова, из бывшего дворца царицы Прасковьи — там помещалась Академическая типография. У Николая Ивановича были добрые и прочные отношения с печатниками; они выдавали в свет его сатирические журналы. Типографское изделие в несколько сот страниц, которое Новиков сейчас подал Федору представляло собою третью и четвертую книгу «Гулливера» в переводе Ерофея Каржавина. Минута! Давешней неловкости, раздражения как не было. Каржавин встал и растроганно, благодарно поклонился Николаю Ивановичу. Новиков тоже встал, словно и ему привиделся Ерофей Никитич Каржавин.

Возвращая корректуру пузатому шкапу, Николай Иванович говорил, что вообще-то распродажа книг ползет улитой, что он решил не довольствоваться лавочным торгом, а сыскал на Морском рынке купца, готового за десять процентов с выручки держать уличных разносчиков… Стали толковать о шрифтах, бумаге, тираже, об издательском промысле. Толкуя, ощущали симпатию, согласие, товарищество.

Узнав же о скором каржавинском отправлении за границу, Новиков словно бы чуть-чуть отстранился от собеседника. Каржавин между тем не без горячности объяснял свое намерение пополнить и расширить круг научного знания, изучить хирургию и фармацевтику, дабы здесь, дома, лечить простолюдинов. Объясняя, вдруг уловил в своей горячности что-то похожее на оправдание, и это было неприятно, досадно, хотелось сказать, что медициной не довольствуется, а будет по мере сил близить решительные перемены, столь необходимые России. Но именно об этом-то он не то чтобы опасался сказать Новикову, а медлил, не сознавая отчетливо причину своей нерешительности.

Новиков между тем отвечал, что науки любят свободу и распространяются более всего там, где свободно мыслят, милосердие же есть свойство истинного христианина. Ни единого упрека не молвил, но вялость тона слилась с неприятным, острым ощущением Каржавиным своего давешнего самооправдания. Все это было отзвуком старинного, корневого отношения к отъезду. Даже при искренней сердечности к отъезжающему, даже при

понимании разумности и необходимости такого поступка, отъезд все равно словно бы соприкасался с изменой.

Чувство было стародавним наследственным, возникающим вопреки вольнодумию.

Каржавин глядел в раскрытое окно, на дворе желтизною растекался июльский полдень. Можно было бы сказать, что первопричиной заграничных вояжей — домашней деспотизм. И сказав, повторить мысль Дидро.

Новиков рассеянно перебирал бумаги. Можно было бы сказать, что россиян Европа не наставляет, а развращает. И сказав, повторить банальность.

Нет, оба молчали, увеличивая духоту паузы.

## *12*

Теперь даже у маринистов читаем: «парусник». И всем понятно: «парусное судно». А в те времена брякни кто-нибудь: «Поехал на паруснике», грянул бы хохот: вообразил бы каждый езду верхом на матросе, специалисте по шитью парусов. Нынешний читатель может возразить: моряки не ездят, моряки ходят на кораблях. Отвечаю: в те времена и корабельщики говаривали: «Поехал по морю».

Ехать предстояло на галиоте «Жанна и Питер» — шкипер Лоренс уходил из Кронштадта в Амстердам. Каржавин засвидетельствовал паспорт в конторе полицейской и в конторе адмиралтейской. Переправил багаж на борт двухмачтового суденышка. Переночевал в гостинице и ранним утром, когда так далеко и чисто слышны корабельные колокола-рынды, направился с белокуреньким мальчуганом, демидовским внуком, в Купеческую гавань.

Тусклая волна шлепала, как тряпкой, о сваи. Пристань гудела под тяжестью телег и бочек. Кричали чайки, отчаливали и причаливали баркасы. Хорошо! Хорошо, да не совсем ладно: из Ораниенбаума, с южного берега Финского залива мчалась шлюпка.

Четверть часа спустя наперехват Федору тяжеловесно ринулся Каржавин-старший. Лицо его, налитое кровью, было страшным, горячие, темные глаза метали молнии, голос срывался:

— Подлец! Ступай за мной! Бежать вздумал?

И с той же тяжеловесной стремительностью — в адмиралтейскую контору. Не оглядывался, ни разу не оглянулся. А Федор… Федор шел за отцом, сжимая руку перепуганного,

плачущего мальчугана. Да, шел за отцом — не посмел ослушаться. «Кто донес? — стучало в голове. — Кто ему донес?»

В конторе Каржавин-старший, раздувая ноздри, жестко попросил флотского офицера взять под караул «сего господина»: пачпорт фальшивый, вор и покуситель на жизнь родителя. Федор, серый, как холст, сказал: «Ложь». Каржавин-старший метнулся к железному ящику в углу… Стояли такие в людских, в караульнях, на кухнях: огниво, кремень, трут, два-три сухих полешка на растопку, лучины для раскуривания трубок… Метнулся, выхватил полено, занес над Федором, но дежурный мичман грянул, как в рупор: «Суши весла!» — и захохотал, как дурак.

В ту минуту возник адмирал, грузно-тугой и грозно-заспанный. Мичман пальнул рапортом. Его превосходительство с непонятной веселостью выдохнул: «Хо!» И, приблизившись к Федору, указательным перстом поднял его подбородок. Федор отшатнулся. «Хо?» — удивился его превосходительство. Приказал: «Связать!» — и спросил Каржавина-старшего:

— Покамест суд да дело, не угостить ли молодца порцией кошек?[10]

Сжав кулаки, Федор отступил на шаг. Шрам под скулой багровел. В миг единый Василий Никитич ухватил взглядом и эти кулаки, и этот шрам. Руки повторяли отцовские — такие же крупные, сильные, с побелевшими сейчас крепкими костяшками; раскаленный шрам, каталось, обжег Василию Никитичу губы, некогда шептавшие: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка…» Он засопел, колупнул носком сапога половицу и отвернулся. «Хо!» — выдохнул адмирал и сделал знак мичману. Каржавины остались с глазу на глаз.

— Государь мой батюшка, — едва слышно, но очень отчетливо произнес Федор, — вот вы минуту тому едва не порешили меня, сладко бы вам жилось, окажись вы сыноубийцей?

— Ты меня, Федька, без полена убил, — трудно и хрипло отозвался Василий Никитич.

— А велика ли вам радость-то была бы увидеть в своем сыне рабский дух? Дух человека, рожденного под игом холопства?

— Не велика, Федька, радость, что вижу в тебе дух этого… как бишь?.. Руссо который, проповедник который: все общее. Знаю, не только противу отца бунтуешь, но только. Гляди, не сидеть бы на бобах.

— А сын ваш, — заключил Федор, будто не расслышав, — чадо ваше желает вам покоя и благоденствия. Статься может, никогда больше не увидимся.

— Будет! — отрезал Василий Никитич. — Аминь! Езжай куда хочешь. А только знай: нету у тебя отца. Нету!

День или два держали Федора под караулом. Удостоверились: паспорт нефальшивый, умысла на жизнь родителя не было. И Кронштадт медленно утонул за кормой галиота «Жанна и Питер».

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## *1*

По смерти бездетной вдовы Жакоб Лотте досталась крохотная мастерская. Если ты не ветришься, ветреность моды приносит доход.

Хорошенькая блондиночка могла бы стать гризеткой — содержанкой дворянчика на красных каблуках или нотариуса в черной мантии. Черта с два! Она была из тех, кого легко заподозрить в шашнях, но трудно склонить к ним. О да, уличные торговцы курятиной — по совместительству почтальоны Амура — доставляли то, что игриво называлось «цыплятками»: любовные записочки. И Лотта отправлялась на рандеву. Но только тогда, когда хотела, и только с тем, с кем хотела.

Ей предлагали брачные контракты. Она отказывала весело, беспечно, претенденты не оскорблялись: такова была общая участь. Постепенно отказы стали огорчать самое отказчицу. Лотта не находила того, кого у нас называют суженым. А ей так хотелось развести светлый огонь домашнего очага.

## *2*

Пожив в Голландии, Каржавин приехал в Париж. Он поселился на набережной Августинцев, у букиниста мсье Лами и сам называл себя этим именем — мсье Лами. Из осторожности? Избегая российских дипломатических чиновников? Объяснить не берусь.

Деньги были, Каржавин мог не служить — следственно, мог работать. Королевская библиотека принимала посетителей дважды в неделю. Ежедневно после полудня открывались кабинеты для чтения: четыре су — и пожалуйста. Федора привлекали история, физика, медицина. Круг интересов очерчивал и круг дружеских связей, включая знакомства давние, времен дядюшки Ерофея, и знакомства, сделанные вновь.[11]

Читатель вправе сетовать на краткость предыдущего абзаца. Эта лапидарность объясняется просто, хотя и неудовлетворительно: Лотта на уме, Лотта…

Там, в России, Каржавин часто вспоминал Лотту. Разлука кормила его воображение отравленной пищей: он ревновал Лотту к безымянным и, разумеется, счастливым соперникам. Здесь, в

Париже, словно бы отмщения ради, он не бросился со всех ног к Лотте. А случайная встреча в полумиллионном городе почти исключалась. Неслучайная тоже: он не посещал мастерские модисток, она — Королевскую библиотеку.

Да, они могли бы и не встретиться, если бы… если бы Каржавин однажды не отправился в тот ветхий дом, который нашел бы и с завязанными глазами. Потянуло на антресоли, где мальчика Теодора растил и воспитывал покойный дядюшка Ерофей? Так. Но это не все. И коли честно, далеко не все: Если есть в любви странности, а странности в любви есть, то одна из них таится в мгновенном приливе чувства и чувственности, словно бы отдохнувших в разлуке.

И Теодор пришел к Лотте. О, какие объятия, какие поцелуи! Лопни от зависти или умились до слез.

Недели не минуло, Федор предложил ей свое сердце. Она согласилась, не раздумывая. И вдруг всплеснула руками: у нас разные вероисповедания! Он расхохотался, запрокинув голову и трагикомически разведя руками.

— Послушай, милая, — сказал он сквозь смех, — для брачных наслаждений нужна только любовь. Только любовь, моя милая!

Кюре остался бы недоволен прихожанкой: у мадемуазель Рамбур не нашлось контрдоводов. Впрочем, она была нерадивой прихожанкой. Что же до Федора, то он пребывал в безверии.

Года два Теодор и Лотта носили цепи Гименея, сплоченные из роз. Увы, розы без шипов цветут лишь в кущах мифологии. Даже цепи из роз — цепи. Они требуют выносливости. Оба были вспыльчивы. Вспыльчивы и неуступчивы. Признавая ученость Теодора, она не признавала его правоту всегда и во всем. Признавая достоинства Лотты, он отвергал ее право на замашки вольной парижанки. Шквалы страсти нежной перемежались вспышками черной ревности. Упреки прошлому смешили Лотту, упреки настоящему бесили.

Мои подруги отнюдь не монашки? — саркастически изгибались ее брови. Э, лишь дурочки дают обет целомудрия!.. Она скоротала вечерок в доброй компании? — Лотта вздергивала нос. Она строит глазки учителю музыка и танцев? Гастон смазливый малый, но она — и этот плясун? Оля-ля, сердито посмеивалась Лотта, придумайте что-нибудь получше… У нее нрав вольной парижанки? Лотта колола, как пикой: мечтая о воле народов, жаждете моей неволи! И опускала, как палицу: толкуя о всемирном равенстве, хотите домашнего неравенства!

Лотте не дана была сладость утраты независимости, Федору — отрада подчинения. Но оба, гневно умолкнув, испытывали потребность в примирении. Каждый принимался за свое;

воцарялось если не примирение, то перемирие.

Дробно стучал кухонный нож. Надо нарезать свеклу кружочками, а потом тушить в оливковом масле, залив красным вином… Каков бы ни был Теодор, но все же нельзя оставить его без ужина.

Сторонник твердой домашней власти ловил запах стряпни и, нахмурив чело, перебирал газетные листы.

## *3*

Кабинеты для чтения, Королевское книгохранилище, букинисты на улице Сен-Жак и набережной Августинцев, нет, все это не могло заменить Каржавину лавки с эмблемой горластого петуха — там нарасхват газеты, журналы, брошюры; торговля шла бойко, дверной колокольчик брякал поминутно.

Привычка к новостям, как и привычка к шпинату, была в Париже всесословной. Текущую, как сказали б теперь, информацию поглощали в мансардах и бельэтажах, в кофейнях и на бульварах, в антрактах спектаклей и опер. Читали дамы и кавалеры, ремесленники и горничные, конюхи и белошвейки. Представьте, даже в бане читали.

Когда г-н Ренодо, давным-давно покойный, основал «Газету», ее прозвали «курьером дьявола» — у сатаны только и забот что морочить новостями род людской. В лавках с эмблемой галльского крикуна Каржавин брал и эту парижскую «Газету», и бесцензурные — швейцарские и голландские. К нему, стало быть, сбегалось полдюжины «курьеров». Но в каржавинской алчности к новостям была особенность, парижанам не свойственная: нетерпеливо припадал он к сообщениям из «татарских степей», Оренбурга, Поволжья.

То были смутные, иногда и лживые сообщения о российской жакерии, о пугачевщине. Каржавин искал истину. Занятие изнурительное, если ты располагаешь лишь периодическими изданиями.

Все представлялось ему повтором Чумного бунта; Каржавин мрачнел. Мало-помалу проступили черты не бунта, а восстания, войны, и Каржавин, ощущая что-то похожее на вдохновение, вслух рассуждал об этом восстании, об этой войне. У него были внимательные, больше того — жадные слушатели, газет по неграмотности не читавшие.

Земляк земляка видит издалека? Это так, но пойди-ка разгляди в кипящем, суетном Париже. Помогла случайность, если только считать случайностью закономерно возникающую

потребность в починке обуви. По сей причине Каржавин наведался в мастерскую.

Сапожник, подняв глаза на клиента, хватил молотком по пальцу и крепко выругался. Нет, не на французском диалекте… Каржавин вздрогнул: вот тебе и фунт! — сюрприз неожиданный. И, расплывшись в улыбке, завязал разговор.

В оны годы Тимофей тянул солдатскую лямку. Не вынес и дал деру; бог весть каким ветром занесло его в Париж. Он женился отнюдь не на дурнушке. Обзаведясь семейством, обзавелся и родственниками, коих дивил отсутствием скаредной расчетливости и беспокойства за завтрашний день.

Радея земляку, Тимофей управился на совесть, отнес башмаки Федору Васильевичу. Тот усадил чаевничать. Очень понравилось Тимофею у Каржавина. Славно! Так славно, что захотелось привести Зарина.

Кто таков Зарин? Оказалось, бывший дворовый сиятельного Бутурлина. Барин, вояжируя из Петербурга в Париж, взял его камердинером. А вояжируя из Парижа в Петербург, обходился без камердинера: Зарин «потерялся». И служил теперь в доме его сиятельства графа Верженна, королевского министра иностранных дел.[12]

Тимофей и Зарин держались с Федором Васильевичем почтительно — умственный господин, книг не счесть. А мадам хоть и бой-баба, но тоже к ним ласковая. И Тимофею и Зарину в удовольствие было беседовать с Федором Васильевичем. О чем? Вроде бы и ни о чем, лишь бы по-русски, и эта жажда родных звуков светло напомнила Каржавину такую же жажду при встрече с Баженовым здесь, в Париже.

Но вот Федор Васильевич объявил об огромном мятеже в России и газетными листами взмахнул, Тимофей и Зарин — безбородые, гладко выбритые — припали грудью к столешнице.

С того дня Каржавин все по порядку излагал. Радовался пугачевским успехам. Морщился, когда Тимофей и Зарин клонили к тому, чтобы «тех, которые засекают до смерти», поголовно, под самый, значит, корень, с чадами и домочадцами.

— А потом? — вопрошал Каржавин. — Ты, Зарин, барином, а Бутурлин у тебя в лакеях?

Они отвечали:

— Не то, Федор Васильевич. Мы да земля, чтобы рожала нам от трудов наших.

— Труды, известно, ваши, да земля-то не ваша. По закону, по уложению ведь не ваша, а?

Тайный умысел был у Каржавина: нуте-с, нуте-с, что на сие возразят? И не ему, нет, князю Дмитрию Алексеевичу…

(Когда-то князь Голицын предрекал Теодору ученую карьеру: будешь, мой милый, профессором. Такое услышать лестно из уст человека семи пядей во лбу, географа, физика, знатока политической экономии. Годы спустя встретились не в Париже — в Гааге, где князь вершил петербургскую дипломатию. О географии и физике не говорили. Речь шла о политической экономии, и притом не отвлеченная. «Отнять у помещика землю в пользу крестьянина? О-о, это было бы торжеством несправедливости. И к тому же, — тонко улыбнулся князь, — сильно понизило бы уровень патриотизма благородного российского дворянства. Между нами, мой милый, уровень вашего патриотизма зависит от нашей собственности. Но тот, кто не желает крушения дворянства, — продолжал князь без улыбки, — тот должен желать освобождения крестьянства. — Он быстро взглянул на Каржавина и, словно бы упреждая, останавливая, поднял руку: — Но без земли. Без земли! Пусть мужики выкупят землю, сударь, пусть выкупят. И никакой спешки, да-с, торопиться нечего. Однако и не откладывая до греческих календ, ибо звероподобная жестокость селянина, следствие долгого рабства, вспыхнет в миг единый. — И опять повторил, как неукоснительное, непреложное: — Без земли, пусть выкупят».)

Нуте-с, что же они возразят, Тимофей, Зарин, иже с ними?

Возразили:

— Эх, Федор Васильич, Федор Васильич, ужель невдомек? Земля-то чья? Она, матушка, божия, а не барская. А мы, которые от трудов своих, мы дети божии, ну, сталоть, и земля-кормилица наша.

## *4*

Узкие окна слезились, ветер слизывал мокрый снег. Каржавин огня не зажигал. «Женевский журнал» смутно белел на столе. Еще засветло прочел Каржавин о последних днях Пугачева.

Пугачевым «занимался» г-н Шешковский в подземелье Монетного двора. Поставили Пугачева на колена перед судьями — сенаторами, президентами коллегий, архиереями. Потом приговоренного увещевал священник, а на другой день ехали в санях Пугачев, священник, Шешковский. Пугачев держал в руках две зажженные свечи. Черны были улицы от черного народа. На Болотной площади солдаты взяли «на караул». В середину каре пускали только господ. Ждали указа о помиловании. Ожидая, прочитали сентенцию. Не дождались и начали обряд смертной

казни. Белый тулуп рухнул с Пугачева на белый помост, стоял Пугачев в малиновом кафтане. Разодрали кафтан, как рубаху, на груди. Пугачев плечами повел, словно бы от всего на свете отрешаясь. Поклонился низко; «Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою»…

Зарин взял подсвечник, потом другой, поставил на подоконник. Тимофей поднес огонь. Две свечи горели — как в руках Пугачева на пути к эшафоту.

## *5*

Деды называли поприщем — версты дорожные; отец — мили морские; Федор полагал: поприще там, где трещат троны. Что правда, то правда, он написал однажды: мы, Каржавины, не Пугачевы. Но вот вопрос: куда написал? В Россию, помышляя о возвращении, пусть и не близком. А теперь он устремлялся мыслью по ту сторону океана, в Новый Свет: эхо повстанческих залпов, прогремевших близ Бостона, слилось в его душе с эхом пугачевского восстания, уже отгремевшего. Беллини — о нем позже, — Карло Беллини из колледжа Уильяма и Мэри называл Федора «гражданином вселенной». Беспачпортный бродяга в человечестве? Совсем иное! Невозможность оставаться глухим ко злу, где бы зло ни творилось. Натура Каржавина жаждала битвы со злом. Шить — значит действовать. Он хотел жить, а не применяться к обстоятельствам.

«Пунктом отшествия» называют штурманы начальную точку плавания. Таким пунктом была письменная рекомендация Баженова. Она привела Каржавина на По-де-Фер, в бывшую обитель иезуитов. Переступив порог, он попал в масонскую ложу.

Каржавин и масонская ложа? Да и при чем здесь московский зодчий? Отвечаю на последнее: Баженов состоял в московской ложе. Отвечаю на первое: посмеиваясь над масонской мистикой, Каржавин не глумился над масонским стремлением к нравственному совершенству. Главное же не только в том, что на По-де-Фер блистали философы, а в том, что они блистали вольномыслием.

На По-де-Фер восхищались бостонскими инсургентами — мятежники открыли огонь по отряду английской королевской армии. Некоторые из братьев ложи «Девять муз» имели представление о торговом доме «Родриго Горталес и К0». Мсье Лами пришелся им по душе. И они проложили ему курс в «пункт пришествия».

Настал срок объяснить ситуацию, отмеченную на первых

страницах этого повествования, — особняк Отель де Голланд, фирма г-на Дюрана, под именем которого энергически действовал Пьер Огюстен Бомарше…

Отвергая божественное право королей на скипетр, Каржавин признавал право народов восставать на королей. Спор решит оружие — возвестили залпы близ Бостона. Ружьям вторила дробь копыт: в Филадельфию съезжались делегаты конгресса. Королевская Англия клеймила их главарями развращенной черни. Королевская Англия опубликовала «Прокламацию о подавлении бунтов и подрывной деятельности». Засим Георг III запинающейся скороговоркой повелел объявить колонии в состоянии мятежа. Осенью семьдесят пятого артиллерия флота его величества сожгла Фалмут.[13] В январе семьдесят шестого участь Фалмута разделил Норфолк. На помощь королевским гарнизонам в Америку доставили несколько тысяч рослых усачей в зеленой и синей униформе: немцев, проданных немецкими князьями единокровному Георгу. Больше всех прочих продал ландграф Гессен-Кассельский, оттого и говорили — гессенцы. Повстанцы отвечали набором добровольцев в континентальную армию. Ею командовал атлет с каштановыми волосами и большим, крепко сжатым ртом — уроженец Виргинии Джордж Вашингтон. Добровольцы, сотни тысяч их сограждан читали памфлет Томаса Пейна «Здравый смысл» — свободу травят по всему миру; тот, кто любит человечество и ненавидит тиранию, выходите вперед. Набат слышала н Европа. Федору ли Каржавину оставаться в стороне?

Торговый дом на Вьей дю Тампль учредили для тайной поддержки мятежников. «Мы будем снабжать вас всем — одеждой, порохом, мушкетами, пушками и даже золотом для оплаты войск и вообще всем, что вам нужно в благородной войне», — набело, без помарок писал статный человек с крупным, прямым носом и бровями вразлет. Писал тем же почерком, которым был написан и «Севильский цирюльник».

Прекрасно! Но ведь тайна фирмы Дюрана-Бомарше не была тайной для Версаля. Напомним: Людовик XVI вложил в дело миллион ливров, граф Верженн, ведающий внешними сношениями, благословил дело. Как же так? Мятежники подняли меч на законного владыку. Мятежники попрали его право на владычество. Куда ж девалось братство королей? О, в политике не рассчитывают на благодарность партнера. Даже партнера-союзника. А Франция и Англия жестоко соперничали. И на суше и на море. Умаление Англии было праздником Франции; потеря Англией заокеанских владений — вдвойне праздник. Но война в открытую еще не возгорелась. А скрытая продолжалась.

Осторожный до боязливости Людовик XVI и осмотрительный до подозрительности граф Верженн при малейшей «неувязке» отреклись бы от Бомарше-Дюрана, столь же отважного, сколь и авантюрного, умного и остроумного, блестящего и гибкого; и — самое сейчас главное — убежденного поборника американской революции.

Что же до Каржавина-Лами, то его диспозиция, надеюсь, ясна: наконец-то, наконец получил он возможность делать, что должно!

Он отдал прощальный визит Дюрану-Бомарше. Все было решено — мсье Лами отправляется за океан, сначала в Вест-Индию, на Мартинику, а потом — к берегам Нового Света, поистине *нового*.

Из Отеля де Голланд можно было выйти на людную Вьей дю Тампль, а можно было, пройдя садом, выскользнуть в пустынный проулок из железной калитки в каменной ограде. Калитку сторожил угрюмый малый: ни дать ни взять вчерашний жилец арестного дома. Черт побери, такие умеют держать язык за зубами.

В нескольких шагах от калитки Каржавин встретил молодого человека в черном дорожном платье. Приподняв шляпы, они раскланялись, как сообщники, ибо кто ж иной, как не сообщник, пользовался неприметной калиткой и садовой дорожкой под каштанами и вязами. Этот молодой человек по имени Джон Роуз возникнет на последующих страницах. А в тот день Каржавин лишь мельком раскланялся с Роузом.

Хмур и рассеян был Федор Васильевич. Казалось бы, ликуй — вот он, крутой поворот жизненной дороги. Но хмур и рассеян был Федор: предстояло решительное объяснение с Лоттой — она не хотела покидать Париж.

На следующее утро он уже был в пути. Лотты с ним не было.

Ливень умыл кроны и кровли, Руанская дорога стелилась берегом Сены,

## *6*

Кто-то (позабыл, кто именно) говаривал с апломбом: в канун дальнего плавания наш брат моряк весел бесконечно. Согласен, весел, но лишь в том случае, если сорвался с виселицы или покинул «лужок», как на воровском арго тех времен, о которых речь, называлась каторгу. Во всех иных случаях моряк сосредоточен, почти угрюм и разве что в последний вечер наедине со своей подружкой отпускает шуточки насчет дамской преданности тем, кто в море.

Ио французском флоте тогда были две корпорации — синие и красные. Синие, выходцы из разночинцев, служили обычно на коммерческих судах; красные, дворяне, большей частью уроженцы приморских провинций, служили на военных кораблях, что, не в обиду будь сказано, не делало из них лучших навигаторов, нежели синие.

Капитан бригантины «Ле Жантий» Шюль Фремон, человек могучего сложения, с львиным лицом, тронутым оспой, был разночинцем, синим, и уже это одно пришлось по душе Каржавину. (Впрочем, и здесь, на бригантине, он числился под именем Лами.)

Моряк от макушки до пяток, Фремон не терпел первый понедельник апреля, второй понедельник августа и все пятницы чохом. Знающие люди утверждали, будто именно в эти роковые дни волны смыкаются над скитальцами морей. Так иль не так, не имеет значения — на дворе не апрель и не август, а сентябрь, в пятницу же Фремон не снимается с якоря даже под угрозой расстрела.

Фремон не раз ходил в Вест-Индию, зарубил на носу — океан пересечь — не джигу сплясать, все следует предусмотреть; под огромным небом, на огромной соленой воде ты предоставлен самому себе, а вовсе не господу богу. Но сейчас, в Гавре, капитан испытывал тревогу, прежде не испытанную: прежде, до нынешнего рейса на «Ле Жантай», ему не приходилось опасаться иностранных шпионов.

Хотя мистер Уолтерс уже сыграл в ящик, его вдова продолжала хорошо поставленное шпионство в пользу британской короны. Сидела, как сова, в Роттердаме и оттуда, из Голландии, надзирала за своими молодцами. А те шныряли в гаванях Франции, жгуче интересуясь импортом в Вест-Индию: с «сахарных островов» рукой подать до американских колоний. Донесения вдовы Уолтерс докладывали лордам Адмиралтейства. Кораблям его величества велено было топить суда под французским флагом, если в их трюмах — имущество военного ведомства, армейских и флотских арсеналов.

У Фремона не было желания пойти ко дну на радость акулам. У него было желание достичь берегов Нового Света на радость бунтовщикам-американцам и тем самым натянуть нос кичливым британцам.

Фрахтуя корабли, Бомарше сам назначал капитанов. Капитаны нанимали команду из матросов, знакомых по прежним плаваниям. Так поступил и Фремон. И так же, как другие, принимал груз под покровом ночи.

Наконец наступила минута, когда французский моряк

произносит: «Кливер поставлен, за все уплачено!» Понимай: довольно болтать, счеты с берегом кончены, я отрезанный ломоть, с меня взятки гладки.

Пепельным утром «Ле Жантий», лавируя, миновала обширную мель Ле-Гран-Плакар, потом внешний рейд Ла-Кросс и вот уже одевалась парусами, ложилась на генеральный курс, всем своим строгим, стройным видом бросая горделивый вызов судьбе, океану, небесам.

Глядя на команду, стороннему наблюдателю ничего не стоило заключить, что она работает спустя рукава. Ошибка! То была неторопливость людей, которые управляются с делом так, словно все предметы — железо, дерево, пенька — только и дожидаются повеления своих ухватистых хозяев. Каржавин сказал об этом Фремону. Капитан рассмеялся: «Наш матрос — ворчун, но работает на совесть»…

На бригантине были и другие пассажиры.

Один из них уже упомянут: мелькнул в саду Отель де Голланд. Как тогда, так и теперь, был он в черном дорожном платье. Его звали Джон Роуз. Судя по имени, не француз. А судя по акценту, не англичанин.

Второй, тоже лет двадцати, может, чуть за двадцать, и своим именем — дез Эпинье, и быстрым, как ручеек по камешкам, парижским говором, и манерами был, позвольте сказать, стопроцентно французист, хотя отнюдь не сто процентов французов наделены холерическим темпераментом.

Ни Роуз, ни дез Эпинье не переступали порога конторы с гербом и флагом, где вербовщики, угощая простаков россказнями об армейской карьере, непременно цитировали какого-то именитого француза: «Первый, кто стал королем, был удачливым солдатом». Молодым людям очень хотелось быть удачливыми солдатами, но лишь для того, чтобы король перестал быть королем в американских колониях.

Тех, кто не занят делом — не стоит ходовую вахту и не спит праведным сном подвахтенного, — океан склоняет либо к бездумной созерцательности, либо к отвлеченным размышлениям; правда, чаще всего не столь глубоким, как сам океан. Но в кают-компании бригантины обсуждались сюжеты не философические, а политические, военные.

Эти размышления приняли характер откровенный после того, как собеседники убедились в наличии медальонов с изображением Юпитера-Странноприимца. Нет, их не предъявляли нарочито, а предъявляли как бы ненароком — поигрывая, словно брелоком. То был мандат торгового дома «Родриго Горталес»: обладатель сего деятельно сочувствует «благородной войне». Не

знаю, автор ли «Севильского цирюльника» придумал этот опознавательный знак, но сама по себе, по-нынешнему сказать, придумка вторила трогательному обыкновению древности: медальон с обликом Странноприимца, разломив пополам, хранили в семьях, связанных узами нерушимой дружбы. Побратимы, названые братья. Разве что не крестами менялись, а полумедальонами. И притом ие молясь на икону или, за неимением, оборотясь лицом к востоку.

Так вот, на «Ле Жантий» обсуждали положение в Америке, чаще прочего произнося: «Нью-Йорк».

Тогдашний Нью-Йорк — это всего-навсего три десятка тысяч островитян Манхэттена. Восставшие горожане, ликуя, низвергли статую короля Георга III. Свинцовая голова его величества угодила в огонь, расплавилась, получились из нее отличные пули для континентальной армии. Но летом семьдесят шестого нависла над Нью-Йорком погромная туча. Погромными зовут те, что градом чреваты; эта тоже грозила градобитием, да только не зернистым или орешковым, а ядерным.

Главнокомандующий разутой армии в драных охотничьих рубахах и в шляпах, отвергавших претензию на моду, Вашингтон предвидел кровавое дело. Впрочем, особой проницательности не требовалось. Стоило только глянуть на мощную британскую эскадру — у всех кораблей были настежь порты артиллерийских палуб.[14]

Генерал Хоу располагал двадцатью тысячами; генерал Вашингтон — пятью тысячами, вооруженных чем ни попадя, включая индейские томагавки. Хоу окружил мятежников. К центру их позиции двинулись немецкие наемники: мерно колеблющимися рядами, тяжеловесно, уверенно, с ружьями «на плечо», во весь рост.

Удерживая коня, Вашингтон видел, как его отряды попятились, дрожа от страха… Шесть суток в седле, обмороки от усталости, но спас, спас Вашингтон остатки разбитых, опозоренных отрядов.

Все это успели узнать напоследок в Старом Свете стратеги, заседавшие теперь в кают-компании бригантины «Ле Жантий».

Весьма туманно представляя театр военных действий, они заочно требовали от виргинца «сражаться до последней капли крови». Никто из них не понимал великого преимущества повстанческой армии: отступать, увлекая противника в глубь материка; увлекая, отсекать от могущественного флота; отсекая, наносить удары мгновенные и мгновенно исчезать. Нет, этого они не понимали. Впрочем, и Вашингтон, и его штабные покамест не осознали преимуществ «заманивания».

Французская бригантина еще не вытянулась из Гавра, когда британская эскадра протянулась вверх по Гудзону и опять обрушилась десантом. Повстанцами овладел ужас. Вашингтон плетью охаживал бегущих. Выхватил шпагу, выхватил пистолет. Вопил, молил, грозил. Тщетно! Он швырнул наземь шляпу: «Великий боже, что за армия!» Его губы тряслись: «И с этими я должен защищать Америку!» Нью-Йорк горел. По Бродвею, мимо постамента без статуи короля Георга шли солдаты короля Георга…

Все кончено? Каждого, кто на палубе «Ле Жантий» произнес бы нечто подобное, выбросили бы за борт.

Спустя год или два майор артиллерии континентальной армии дез Эпинье напишет в Париж Пьеру Огюстену Бомарше: «Ваш племянник может быть убитым; но он никогда не сделает ничего такого, что было бы недостойно человека, имеющего честь принадлежать к Вашей семье».

Много лет спустя и за много миль от Америки, на эстляндской мызе Фелкс, отставной пехотный майор напишет: «Под именем Джона Роуза я вступил в континентальные войска…» И служил, прибавит майор, все годы войны за независимость.

А Неунывающий Теодор? (Он сам так себя окрестил, подчеркнув, что безунывность есть коренное свойство русского духа.) Наш Теодор напишет попросту: «Видел огонь войны на суше и на море и вознагражден за невзгоды тем, что выучился английскому языку».

Да, и английскому, но позже. А на палубе французской бригантины «Ле Жантий» — под парусами прямыми и косыми, на шкафуте и юте, у грот-мачты и бизань-мачты — Каржавин Федор, изучивший высшую математику и медицину, архитектурные трактаты и трактаты исторические, постигал науку кораблевождения, и надо было видеть, каким удовольствием светилось лицо капитана Фремона, львиное лицо, тронутое оспой: сметливый ученик попался, еще немного — и сумеет править вахтой.

Не без зависти отметим, что сообразительности Каржавина способствовало знание математики. А шепотом, чтобы Фремон не услышал, воздадим хвалу англичанину. И квадрант, сияющий медью, и секстант, поблескивающий зеркалами, изготовил Джон Берд. Знаменитый мастер Берд, это понимать надо: его изделия ценились на вес золота.

Бердовским секстантом Федор брал высоту солнца в тот ясный, ни облачка, день, когда на горизонте возникли очертания Мартиники.

Когда-то, в Лондоне, Каржавин-старший, разглядывая географический атлас и приобняв сына за плечи, повторял мечтательно-певуче: «Мартиник… Мартиник…»

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## *1*

Бригантина положила якорь.

Зеленый склон вулкана пестрел красными, белыми, желтыми крышами городка Сен-Пьер. Не так уж много времени минет, и этот рай обернется адом: пушки и гробы пустятся в пляс, пучина заглотнет корабли, разверстая суша — людей. Но в ноябрьский день семьсот семьдесят шестого года стояла тишь, озвученная стеклянным звоном мелких волн, шелковисто повитая бризом.

Едва рассвело, Каржавин съехал на берег. В мозжечке еще гуляла синусоида корабельной качки, но уже нежило душу и тело ощущение тверди земной. Струились запахи сухие и пряные. Дома с крутыми черепичными кровлями спали в садах, слышался мирный стук тележек: негры развозили воду.

Каржавин был бдителен. По соседству — британский остров Доминик. Островитяне непрестанно общаются друг с другом. Никаких проводников, любой может предать; по чести сказать, Федор слишком уж осторожничал. Но и то правда, зачем проводник, если капитан Фремон начертал маршрут на клочке бумаги. «Друг мой, все это пустяки», — сказал он тоном морского презрения к передвижению на своих двоих.

За городком дорога еще круче взяла вверх. Дорогу затенял лес. Лес был тропический, следственно, — неизменный эпитет — буйный. Солнце, поднимаясь, не пробивало кроны, нагнетая сумеречную влажную духоту, теснившую грудь, Каржавин отирал пот: «Угораю, как в бане».

Но вот, слава тебе, придорожная хижина. Запахло фиалками, отчего и примерещилось нечто голубое. Но нет, фиалками благоухала розоватая древесина. Нарезанная брусками, она была уложена штабелями. Старый негр, хозяин хижины, промышлял деревом, необходимым для изготовления красильного экстракта.

Передохнув в хижине, Каржавин пустился в путь. Перевала достиг он, высунув язык, как гончая после охоты. Сердце колотилось отчаянно, ноги подгибались, в ушах шумело. Ах, капитан Фремон: «Пустяки, всего-навсего несколько миль».

В имение г-на Попена пришел он поздним вечером. Если понятие «тропический лес» притягивает эпитет «буйный», то имения требуют миганья огоньков, собачьего лая, запаха дыма. Так оно и было.

Из чащи появился чернокожий геркулес, вежливо приподнял

соломенную шляпу. Каржавин спросил, у себя ли г-н Попеп? Оказалось, уехал к дядюшке на остров Доминик. А г-н Блондель? Этот, оказалось, дома. И, вероятно, еще не спит, хотя имеет обыкновение ложиться рано.

То был дородный человек лет шестидесяти, рыжий, светлоглазый, похожий скорее на ирландца, чем на француза. Блонделю не терпелось вступить в беседу, но выжатый лимон — а Каржавин именно так и выглядел — вызвал у рыжего прилив милосердия. Европейцы, сказал он участливо, поначалу чувствуют себя скверно; однако взгляните на вашего покорного слугу, и вы убедитесь, что весь фокус в привычке. Усмехнувшись, он прибавил: «Охотно променял бы эту привычку на другую — к северным непогодам».

Расскажу о Блонделе то, что узнал по мере его общения с Каржавиным. Не в имении, а позже, в Сен-Пьере, когда они сделались, что называется, не разлей водой.

Еще в первой молодости Блондель, сын парижского кожевника, променял дубильный чан на чернильницу. Он жил в одной-единственнои комнате, слуги у него не было. Те, кто считал перо предметом торговли, находили положение подобных литераторов плачевным.

Фортуна однажды бросила на Блонделя милостивый взгляд. Ему посулили место в ежемесячнике, имевшем бешеный спрос. Франсуа отказался. Он писал так, как учил Вольтер: коротко и солоно. Сочинения Блонделя редко попадали на типографский станок, они доставались переписчикам; копии украдкой разносили по домам, дважды в неделю сбывали из-под полы в кофейнях. Блондель был из тех, кого называли брошюристами. Из тех, чьи памфлеты палач испепелял на парижских площадях, и это можно счесть прогрессом, ибо вместе с сочинением не сжигали сочинителя.

Вольтер советовал: пускайте стрелы, но не показывайте руки. Блондель, пребывая неизвестным читающей публике, стал, однако, известен полиции. Ему предложили… сотрудничать. Нет, не доносить, зачем же, доносчиков хватало, не хватало наемных перьев, способных черное изобразить белым, правду — грязной клеветой, а клевету — чистой правдой. Единомышленник Гудара и Лабомеля наотрез отказался.

Гудар и Лабомель? Каржавин лишь краем уха слышал оти имена. «Такова участь достойнейших», — горько усмехнулся Блондель. Он имел в виду некую непоследовательность в репрессивной последовательности правительства. Одно дело — взысканные европейской известностью, другое дело — незнаменитые. Вольтер и Мармонтель недолго гостили в

Бастилии, а Дидро — в Венсенском замке. В том-то и суть — гости-ли. Принимая посетителей и выражения сочувствия. А незнаменитые, непрославленные брякали галерной цепью или подыхали в Кайенне,[15] где кровь кипит в жилах, словно сера в котле, вокруг которого пляшут ведьмы.

Франсуа же Блондель… О, парижская полиция имела на него большой зуб. Отказавшись от сотрудничества, он не отказался от удовольствия сообщить об этом в своей очередной огнедышащей брошюре. Шестеро явились на рассвете, офицер коснулся Блонделя белым жезлом: «Вы арестованы!» Загремела карета, Блонделя увезли. Расправа была ужасной — не галера, а сумасшедший дом.[16] В отделении буйнопомешанных провел он несколько лет; потом его выслали на Мартинику, справедливо полагая, что уж он-то получил с лихвой.

О своих мучениях Франсуа говорить не любил; Каржавин, разумеется, расспросами не докучал. Зато о Гударе и Лабомеле рассуждали они часто. Ни Гудар, ни Лабомель не верили в благие намерения монархов, даже если те баловались философией. Реформы сверху не стоили понюшки табаку. Гудар и Лабомель провидели неотвратимость революций, сметающих троны. Они утверждали: право и долг народа разносить деспотизм в щепы; если народ захочет, народ победит. Да, победит, объединившись, сомкнувшись, поднося рдеющий фитиль к заряженным пушкам.

Лицо Федора принимало то напряженно-восторженное выражение, какое бывает у впередсмотрящего: «Вижу берег!»

И он, и Блондель видели берег — от Мартиники недальний — материковый, американский.

— Оружие как последнее средство решает сейчас спор, — повторял Франсуа. — Никогда еще солнце не светило более достойному делу.[17]

## *2*

Мартиника была транзитным пунктом: бригантине «Ле Жантий» предстояло достичь берега материкового, американского. А здесь, на острове, следовало учредить перевалочную базу для будущих поставок г-на Дюрана. Этим иозаботились Блондель и Лами.

В Сен-Пьере они поселились в комнатах трактира «Бургундия». Девять ливров поденно, хочешь парижской чеканки, а хочешь колониальной с выразительной надписью, или, как говорят нумизматы, легендой: «Да будет благословенно имя Господне». Федор покряхтывал. А Франсуа пошучивал:

«Обладатель таких сокровищ внакладе не останется». Франсуа имел в виду антиквариат, привезенный Каржавиным из Парижа. Распродажа в рекламе не нуждалась — спрос был достаточный. [18]

Гельвеции писал: сахар Антильских островов смочен кровью рабов. Дидро сказал, что эти строки Гельвеция отравили весь сахар, который ему, Дидро, увы, придется есть до конца своей жизни.

Богачи Сен-Пьера, продавая сахар, покупали сочинения Гельвеция и Дидро. Покупали картины, книги, редкости. Сладкая жизнь была у плантаторов. Даже у изможденного Орвилье, хотя он и пробавлялся одной лишь молочной кашей — на этом настаивали лекари.

Дом Орвилье блистал той роскошью, что, вытеснив величавый стиль Людовика XIV, утвердила вычурный стиль Людовика XV — жеманная текучесть линий и ботанический орнамент резьбы, пасторальные сценки на шелках Гобелена или Бове, китайский лак и китайские пейзажи. Комнаты и мебель были голубые и золотистые, белые и зеленые. Здесь собирался цвет Сен-Пьера.

Они сходились у Орвилье поздним вечером. Обреченный на строжайшую диету, он задавал виртуозно-гастрономические пиршества, извлекая удовольствие из плотоядности гостей. Потом, покорный режиму, удалялся в опочивальню. Следом удалялась дежурная патронесса. Порогами легкими, как лунные блики, она нежила больного. И мурлыкала колыбельные песни. Все патронессы были свежи, как морской бриз, и гибки как сахарный тростник. Они обожали Орвилье. О, милосердие в благородных отсветах ожерелий и брошек из шкатулок страстотерпца.

Обращаясь к вещам серьезным, седлаю коня и пускаюсь вдогонку за Каржавиным, за рыжим Франсуа, шляпа которого всегда съезжает на затылок, не поймешь, как держится.

В нескольких лье от Сен-Пьера голубела закрытая высокими горами глубокая бухта. Американцы еще до восстания доставляли туда свою контрабанду (торговля колонистов с французской Вест-Индией строго-настрого запрещалась британскими властями), в укромных уголках бухты издавна звучали трубные звуки ламби — морской раковины, употребляемой островитянами вместо сигнального рога.

Эту бухту и решено было использовать как якорную стоянку судов торгового дома «Родриго Горталес и К0». Здесь же и перегружать оружие и боеприпасы, доставленные из Гавра, Бреста и Бордо, на суда, зафрахтованные бунтовщиками-

американцами, — шхуны и бриги водоизмещением до двухсот тонн, на палубе две пушки крупного калибра и дюжина пушек калибром помельче для стрельбы с близкой дистанции.

Отчего же мрачен Каржавин?

Его удручали газетные известия. Собственно, не известия, а слухи. В Лондоне потирали руки: русские высадятся на берегу Нового Света и образумят проклятых бунтовщиков. В Париже нервничали: англичане намерены выложить три миллиона фунтов стерлингов за двадцать иль тридцать тысяч русских солдат, известных своей доблестью и терпением.

Блондель успокаивал Каржавина: реальные выгоды перевесят монархические сантименты; Екатерина, даже находясь в формальном союзе с Георгом, не найдет в восстании американцев casus foederis.[19]

Он был прав, но Каржавин не мог избыть чувства гнетущей тревоги. Панин и Михельсон, победители Пугачева, мерещились ему усмирителями пугачевцев Америки. Не предложить ли свои услуги Континентальному конгрессу? Джентльмены, если британский флот привезет солдат императрицы Екатерины, вам, несомненно, будет полезен человек, владеющий русским языком.[20]

Каржавин нетерпеливо поглядывал на рейд — «Ле Жантий» казалась ему лежебокой, Федор молил Фремона не медлить с постановкой парусов.

Обедая в общем зале «Бургундии», он, впадая в поддельное коммерческое вдохновение, объяснял, какой профит ожидает в Новом Свете. Здесь бочонок соли — пятнадцать ливров, в Америке — сорок пять! Здесь бочка пива — сто двадцать ливров, там — тысяча пятьсот! Все это объявлялось во всеуслышание ради дезинформации.

Недругов дезинформируют. От друзей ждут информации. Недруги оставались невидимками. Друзья явились, когда бриг «Провиденс», затравленный британскими фрегатами, укрылся в одной из бухт Мартиники.

Хроникер, находись таковой в штате трактира «Бургундия», несомненно, отметил бы событие, имевшее место на вторые сутки после прибытия этого брига.

Прологом был требовательный стук в дверь комнаты Блонделя. Франсуа только что отужинал и, разоблачась, готовился к объятиям Морфея, одновременно испытывая легкую тоску по объятиям чернокожей подруги, оставленной, к сожалению, в имении г-на Попена.

— Что за дьявол? — не без досады воскликнул Франсуа, поднимая подсвечник с зажженной свечой, и, как был в одном

исподнем, шагнул к дверям.

— По вашу душу, сэр! — с фальшивой мрачностью раздалось в коридоре.

Блондель тотчас узнал голос шотландца — они были не в долгом, но близком знакомстве. Узнал и рывком отворил дверь. Коренастый, смуглый моряк смотрел на Блонделя смеющимися, дерзкими глазами. Он был живописен, командир брига «Провиденс», — лихо заломленный шотландский колпак с блескучим золотым галуном и массивные рукоятки пяти пистолетов за широким шарфом-поясом, затянутым натуго.

Блондель позвал Каржавина. Сели за стол. Закатав рукава батистовой рубахи, шотландец рассказывал печальные подробности минувшего лета, когда пал Нью-Йорк и отряды повстанцев бежали. А он на своем бриге — восемь пушек, семьдесят матросов, три офицера, — пользуясь туманом или потемками, отлично зная фарватер, шнырял среди кораблей королевского флота: привозил боевые припасы, вывозил раненых. А потом ушел к Бермудским островам мстить неприятелю.

— Надеюсь, охота была удачной? — вставил Блондель. Шотландец самолюбиво вздернул подбородок:

— Слуга покорный! Тридцать призов,[21] сэр. Не считая пущенных ко дну, отличная усыпальница: песок, как сахар, кораллы, как кровь, губчатые растения, как малахит, — подходящее местечко даже для короля Георга. — Он широко улыбнулся. — На Бермудах славные ребята: дали нам сотни бочонков с порохом… — Шотландец нахмурился. — Но вот я здесь: травили, как лисицу; пуст, как эта бутылка.

Разговор пошел практический — о помощи бригу «Провиденс».

## *3*

Они покинули Мартинику не в одночасье, а с интервалом в несколько дней: сначала «Провиденс», следом «Ле Жантин».

Судовые документы французской бригантины перечисляли груз — соль и вино, водка и патока. Судовые документы указывали курс — остров Микелон, владенье французской короны.

Истинный груз «Ле Жантнн» читателю известен: «Оружие как последнее средство решает сейчас спор». Истинный курс читателю укажем: американский порт Хэмптон.

Каржавин, разумеется, был на борту «Ле Жантий». А пишущий эти строки? Господи, как было отказаться от

приглашения ночного гостя «Бургундии»! Ведь бригом «Провиденс» командовал Пол Джонс, первый офицер повстанческого флота. Тот самый, которого годы спустя приветит наш Суворов. Руку на отсечение, никто не устоял бы перед таким искушением.

# ГЛАВА ПЯТАЯ

## *1*

По праздникам соседи-фермеры собирались в отчем доме Пола Джонса. Они пели шотландскую песню о старом Робине. А пришлые моряки пели «Весь в Даунсе флот».

Конопатый Пол грозно командовал флотом в тесных пределах скалистой бухты: дюжина лодочек и две дюжины подростков в залатанных портках. Они слыхали про адмирала Бинга: спустил флаг под натиском французов, Бинга расстреляли. Поделом! Они не читали Вольтера, но согласились бы с Вольтером: иногда не мешает прикончить одного адмирала, дабы придать бодрости другим адмиралам.

Пойти в гардемарины? Нужны связи и деньги. Ни того, ни другого не было. Учеником на торговую посудину? Ох, шотландцы — хорошие сыновья. Огорчишь ли родителей, если старший брат уехал в Виргинию?

Шотландцы — хорошие сыновья. Пол не бежал: его благословили. Он надел шерстяную синюю блузу и обул тяжелые башмаки на медных гвоздях. Он обязался служить семь лет юнгой. Служить за несколько пенсов, но судовой рацион получать сполна, как взрослый.

Море награждало кровавыми мозолями. Морской харч лудил желудок. Не зарубки на дверном косяке отмечали, на сколько дюймов он вырос, а узелки на смоленой бечевке. Он не обручался с морем, как венецианские дожи, и не созерцал море, как барды, — работал на море тяжкую работу. «Так держать, ребята!»

Вест-индский бурун метил кливер светлыми бликами; ливни окатывали, как из пожарного рукава, ураганы подбрасывали до звезд и рушили в бездны; американские берега выстреливали длинными, острыми мысами, оглушали неистовым гомоном пернатых, дышали зловонием лагун.

Но зловоние не болотное возникало задолго до лагун — сочилось, как жижа, из трюмов. Да, от английских пределов «держали» в океан. Однако не прямиком к Новому Свету. Сперва шли к Золотому Берегу. Шли за живым товаром.[22] Глядели в оба! Упрямые африканцы норовили избунтоваться. Душно в трюмах, тесно и мерзко, тяжела кандальная цепь. Но трюм — не зал для балов и концертов. При тихой погоде отворите темницу, отдрайте люки. И небольшими партиями пускайте чернокожих на верхнюю палубу. Пусть разогнутся и разомнутся, пусть глотнут

свежего воздуха. Дайте им бусы, негры как дети. И пальмовое масло дайте, пусть умащивают свои мускулистые тела. Но не забудьте изготовить пушку, фитиль должен дымиться. Жестокость? Работорговля — занятие почтенное. Герцог Нортумберленд и герцог Гамильтон женились на внучках Барелла, а тот не галантереей разжился, о нет, не ею.

Джонс был уже помощником капитана, когда ему стало невмоготу. Оп-ро-ти-ве-ло! Зловоние работорговли нутро вывернуло.

Пересекая Атлантический, Пол навещал старшего брата. Уильям жил в Вильямсберге. Отличный портной обшивал виргинских джентльменов. Многие, конечно, предпочитали заказывать гардероп у мастеров Уайтчепла, лондонского портняжного квартала, но Уильям конкурировал храбро и, случалось, удостаивался заказов даже от майора Вашингтона, человека очень серьезного и очень вежливого.

Уильям приглашал — оставайся, брат, вот стол и кров. Даровщинку Пол не принял, в Америке Пол остался. Ему вверили шхуну. Мал золотник, да дорог; отныне Пол Джонс был первым после бога, как называли шкиперов и капитанов по обе стороны океана. Это ему нравилось.

Не нравилась, как и всем американским морякам, зависимость от Англии. Строить суда дозволялось; производить что-либо для оснастки судов не разрешалось. Какого дьявола?! В таком случае, господа, пусть Дептфордские доки на Темзе не требуют нашу белую сосну. Из чащоб эти гигантские деревья волокут волы. На каждое — без ветвей, окоренное — требуется шестнадцать, а то и двадцать пар лобастых тягачей. Нет под луною лучшего аромата, чем запах смолы вперемешку с йодистым запахом моря. Без сосны-красавицы не бывать мачтам на фрегатах и линейных кораблях Британии. Тех, что охраняют ее коммерческий флот. Тот, что зафрахтован «Лондон эшуранс компани» и застрахован джентльменами, совершающими сделки в лондонском кафе Эдварда Ллойда.

Когда-то конопатый мальчуган, затевая абордажные схватки в тесной скалистой бухточке, видел себя офицером британского флота — синий сюртук с золотыми галунами и шляпа с черной кокардой. Теперь он нипочем не пошел бы во флот его величества. Не потому лишь, что там каторга. И не потому, что получил шхуну. Нет! Натура не терпела «застегивания пуговиц» — так с горечью определяли низшие страх свой и растерянность перед высшими. Столбенеешь, приложив руку к шляпе: «Слушаюсь, сэр!» — а пальцы другой руки, дрожа, теребят металлические пуговицы куртки или мундира. «Застегивание»

претило Полу.

Но давняя мечта о военно-морской службе жила в душе шкипера, иссеченного ветрами Атлантики, выдубленного солнцем Вест-Индии. Пришла пора, сбывалась мечта Пола Джонса!

Сбывалась под флагом, на котором был изображен знак метрополии, но эту эмблему британской тирании решительно перечеркивали белые и красные полосы. Пол Джонс первым поднял корабельный флаг колоний, не желающих быть колониями. И первым упрятал в свои сундучок патент офицера повстанческого флота.

Континентальный конгресс создал комиссию по военно-морским делам, а затем два бюро — в Бостоне и Филадельфии. Возник корабельный отряд, приданный армии Вашингтона. А каперские свидетельства давали право партизанить на коммуникациях. О, лихая ватага каперов, москитный флот незабвенных времен! Водоизмещение от ста до четырехсот тонн; десяток-другой орудийных стволов; полсотни, сотня отчаянных головушек.

На бриге Пола Джонса числилось семьдесят моряков. Пишущий эти строки получил снаряжение: внушительный бычий рог, изнутри начисто выскобленный, с деревянной втулкой на широком конце и медной крышкой с пружинкой — на узком. Рог с порохом носили на ремне через плечо.

В каждой команде, в каждом экипаже всегда водится, говоря по-нынешнему, неформальный лидер. Если он в ладу с лидером формальным (по рангу и положению), считайте, корабль в надежных руках. Таких на «Провидэнс» было шестеро, шестеро «сынов Нептуна». Нет, не масонская ложа — организация взаимопомощи матросов и грузчиков. Возникла она задолго до восстания, задолго до войны; сперва в Нью-Йорке, затем в других портовых городах. Эти шестеро задавали тон, на что Полу Джонсу сетовать не приходилось. Напротив! Храбрец радовался храбрецам.

Вопреки рогаткам владычицы морей американцы исподволь, задолго до восстания, взбодрили коммерческий флот, вышколенный к тому же в тех самых широтах, где теперь каперы щипали и трепали неприятеля. Люди Пола были превосходными моряками, и это неудивительно.

Удивило другое — негры.

Кому, как не рабам, драться против рабства? И разве революция не есть избавление от рабства? Ах, любезный читатель, то была американская революция. Ее лидеры страшились негра с ружьем. Глупо? Да, если ты не плантатор-рабовладелец. Ну, а ежели и дед твой, и отец, и ты сам рубили

головы чернокожим бунтарям и, отрубив, водружали на шесты или печные трубы судебного зала? Вот и летом семьдесят пятого года в Северной Каролине обнаружили заговор черных невольников. Многих вздернули, многим отрезали уши, всех поголовно клеймили каленым железом. А осенью того же года совет генералов континентальной армии запретил принимать под знамена черных. Континентальный конгресс не перечил, согласился.

Приходится признать гибкость противной стороны. Те, для кого изображение негра — ну, скажем, на фронтоне ливерпульской биржи — было символом обогащения, спешно изготавливали ярлыки «Свободу рабам». И пришивали к алым мундирам британской пехоты; мундиры предназначались чернокожим. И те бежали, бежали к англичанам. О, стайеры, за одну-две недели они покрывали сотни миль.

А виргинскому плантатору, вежливому и серьезному джентльмену, командующему континентальной армией, потребовалось время, чтобы понять: успех зависит от того, кто быстрее вооружит негров!

Не так было во флоте. На бриге Джонса служили виргинские и южнокаролинские негры. Не все были рабами. А те, что были рабами, не были беглецами. Да-да, эти не бежали, этих отпустили хозяева, рассудив, что лучше уж с глаз долой, нежели дожидаться домашнего бунта. Нетрудно заключить, спроваживали опасный, так сказать, подрывной элемент. «Сыны Нептуна», задавая тон, держались с ними братски. Что же до пишущего эти строки, то он служил бок о бок с замечательным парнем по имени Криспас.

Криспас мрачнел, вспоминая житье в графстве Орэндж, в имении мистера Мэдисона. И озарялся улыбкой при раскате сигнального судового барабана. Там, в Виргинии, рабам позволяли играть на банджо, на любых ударных инструментах, а на барабане — никогда; барабанный бой — призыв к мятежу! И вот прозвучит судовой барабан — широкое лицо Криспаса озарится улыбкой.

Что правда, то правда, не пахло во флоте негрофобией. Так было и на палубе «Андреа Дориа» под командой смельчака и добряка Бидлла. И на судах сурового Хоккинса, поколотившего англичан у Бермудских островов. И на фрегате капитана Уикса, который отвез во Францию полномочного представителя восставших колоний известного всем доктора Бенджамина Франклина. (Чертовски жаль, что «Ле Жантий» разминулась в Атлантике с фрегатом Уикса!) Так было и под парусами Пола Джонса. На «Провиденс», а потом и на «Рейджерсе».

## 2

Месяц спустя после того, как бриг «Провиденс» оставил Мартинику и уже дважды ввязывался в бой с неприятелем, пишущий эти строки вызвался сопровождать старшего мичмана Барни Галафара.

Мичман отправлялся в Нью-Йорк, захваченный англичанами. Ни прежде, ни потом, любезный читатель, вашему покорному слуге не приходилось фланировать но Бродвею; однако Пол Джонс согласился отпустить пишущего эти строки отнюдь не ради утоления туристского любопытства, совершенно неуместного в военное время. Нет, Барни Галафару мог очень пригодиться человек, владеющий немецким, так как в оккупированном городе роилось множество германских наемников.

Минуло полторы недели, и обросшие щетиной «рыбаки» в грубой парусиновой робе и видавших виды шляпах, обхитрив вражеские пикеты и проникнув на окраину Нью-Йорка, нашли приют у Маргариты Уэттен, хозяйки матросской харчевни «Золотой желудь»…

Но тут следует малость отгрести назад, дать шлюпке задний ход, иначе читателю невдомек, почему, зачем понадобилась опасная вылазка мичмана Барни.

Дело в том, что на бриге «Провиденс» состоялось краткое свидание старых, еще с ребячества приятелей: Пола Джонса и Уильяма Уэттена, шкипера шхуны «Стар».

Еще до войны Уэттен, как и Джонс, поселился в Америке. Прикопив деньжонок, обзавелся суденышком, а его жена получила в наследство харчевню «Золотой желудь». При встрече Джонс джентльменски осведомился, каково здравие и благополучие миссис Маргариты. Вот тут-то шкипер и упомянул о нью-йоркской тюрьме Провост и транспорте «Джерси».

Положение пленных американцев было известно солдатам континентальной армии и морякам повстанческого флота. Но подробности, рассказанные Уэттеном, ужаснули Джонса. Прощаясь с Уэттеном, Пол попросил его черкнуть миссис Маргарите, дабы она приняла двух молодцов с брига «Провиденс». Шкипер, разумеется, не отказал.

А теперь пожалуйте в Нью-Йорк.

Овладев Нью-Йорком, генерал Хоу рекомендовал подчиненным: ведите себя, как подобает англичанам и хорошим солдатам. Его поняли правильно: плясали и драили амуницию белой глиной. Сам же генерал не подражал лорду Гею. Тридцать с лишним лет назад, когда у бельгийской деревушки сошлись,

сверкая оружием, гвардейцы французские и гвардейцы английские, Гей крикнул голосом благородного дуэлянта: «Сударь, прикажите вашим людям стрелять!» На что высокородный лейтенант д'Отрош ответил: «Нет, сударь! Предоставляю эту честь вам». Красиво, но непрактично. Подавляя мятеж, генерал Хоу не аттестовал американцев иначе, как «проклятыми бунтовщиками», и не боялся замарать перчатки.

Четыре узилища завел он в Нью-Йорке, два на суше, два на воде. В тюрьме Провост содержали пленных офицеров Вашингтона; в заброшенной сахарной фабрике — солдат. А моряков — на транспортных судах «Джерси» и «Уилби». Худшей считалась «Джерси», поставленная на якоря у Лонг-Айленда.

Приютившая нас Маргарита Уэттен — темноглазая, быстрая в движениях женщина, повязанная белоснежным платком, уложенным на груди аккуратными складками, — миссис Маргарита и ее соседки, ее товарки поставляли заключенным провиант. Вернее сказать, кое-какую снедь: с продовольствием в городе было туго, цены кусались.

Майор, начальник тюрьмы Провост, хлыщ и сифилитик, пинал корзинки ногой; опрокинув, исследовал, нет ли чего недозволенного. Обладая зоркостью досмотрщика, он обладал и юмором негодяя: подвластное заведение называл «конгрессом», хилого недотепу-мусорщика, прибиравшего во дворе, — «Вашингтоном», а женщин, приносивших передачи, — «сухопутными галерами», то есть шлюхами. Развлекался же острослов-юморист следующим манером: увесистой связкой ключей шмякал заключенного то по лбу, то по темени и замирал, словно прислушиваясь, каков резонанс.

Двух мнений быть не может: эта гнида заслуживала пеньковой удавки, и мичман Барни, знаток морских узлов, спроворил бы сие в одну минуту, если бы не соблюдал сугубую осторожность. Не тюрьма Провост занимала все его помыслы, а «Джерси»: Пол Джонс намеревался освободить заключенных моряков и приказал изыскать возможности для этой операции, столь же благородной, сколь и трудноисполнимой.

Прячась за могучими вязами и густым кустарником, мы разглядывали транспортное судно — старая грязная лохань. Широкая полоса воды отделяла ее от низкого песчаного берега Лонг-Айленда. Круглые сутки дежурные баркасы объезжали плавучую тюрьму. Ночью патрулировал еще и береговой наряд гессенцев.

Не забыть слитный стон из трюмов «Джерси» — стон раненых. Не забыть вой голодных, когда над люками, забранными железными решетками, опрастывали мешки с пищевым

довольствием — гнилыми яблоками. Не забить зловоние, тяжело натекавшее с «Джерси», — запах заскорузлой человечины, гноящихся язв, испражнений. И не забыть эти береговые песчаные рвы, еженедельно смыкавшиеся над мертвецами. Одиннадцать тысяч легли в эти рвы, одиннадцать тысяч.

Подкупив стражу, женщины, случалось, проникали в плавучую домовину, кишевшую заразой, как чумной барак. Сопревший от гноя корпий заменяли свежим, стирали вшивое исподнее, выгребали нечистоты, обмывали трупы. Да и одним лишь своим присутствием бодрили изможденных людей, в глазах которых мерцало безумие. Среди тех горожанок, чей героизм выше батальных подвигов сильного пола, неизменно была и Маргарита Уэттен.

Мичман Барни не скрыл от нее свой план. То есть не то чтобы план, а намерение. Живые темные глаза миссис Маргариты вспыхнули так радостно-ярко, что все в комнате будто бы посветлело. Вспыхнули и померкли, она покачала головой и горестно вздохнула. Мичман Барни печально потупился. Э, он тоже не видел никакого просвета.

И вдруг словно бы что-то затеплилось.

Среди редких и случайных посетителей харчевни «Золотой желудь» был и посетитель регулярный — солдат в зеленом мундире, усатый и ражий, как и все здешнее гессенское воинство. Ведь владетельные князья раздробленной Германии продали англичанам тридцать тысяч своих верных подданных. Репутация у них была того же цвета, что и знамя, — черная: пленных вешали, женщин насиловали, фермы грабили. Немало гессенцев дислоцировалось в оккупированном Нью-Йорке, и потому, как уже говорилось, мичману-лазутчику мог пригодиться спутник, владеющий немецким.

Но — по порядку.

Началось с того, что мичман опознал в регулярном посетителе «Золотого желудя» одного из тех караульных, что после заката солнца вышагивали по низкому песчаному берегу Лонг-Айленда ради вящей охраны «Джерси». Но это опознание не стоило бы и гроша, если бы Ганс Мюллер (так звали солдата) однажды не привел в харчевню соотечественника. Они пригубливали рюмочку ликера и торжественно салютовали друг другу клубами трубочного дыма. Молчуны! А потом Ганс Мюллер принялся объяснять однополчанину достоинства русской икры. Нетрудно было сообразить, что ражий усач бывал с России.

На следующий вечер он опять заявился один, уселся в своем уголке, пригубливал рюмочку и курил трубку. Скажите, как поступили бы вы, любезный читатель? Вы устроились бы рядом и

попытались вступить в беседу.

Не стану рассказывать о «подходах-заходах», произведенных вокруг да около Ганса Мюллера. Скажу лишь, что была выдана весьма куцая информация: герр Мюллер, ваш vis-å-vis, когда-то служил на гамбургских судах, плавал в Кронштадт, бывал в Петергофе и тоже отдает должное русской икре. Этого оказалось достаточным, чтобы развязать не слишком поворотливый язык герра Мюллера.

Мало-помалу он выложил свою историю, сохраняя на грубом лице с резкими морщинами выражение деревянное и перемежая свое косноязычие долгими паузами, которые казались сизыми, ибо они тонули в клубах табачного дыма.

Он был из тех голштинцев, что служили Петру III. Когда Екатерина отправила незадачливого супруга к праотцам, решено было отправить его верных голштинцев к соотчичам. Голштинцы жалели о сытом житье в России. Россия, не жалея голштинцев, учинила им жестокие праводы: на траверзе Кронштадта буря разметала и разбила суда. Многих поглотил Финский залив, немногие, Ганс Мюллер в их числе, добрались до прибрежных валунов. Кронштадтская стража на берег не пустила. Сидючи на камнях, бедняги вопияли о помощи. Комендант крепости, исправный служака, ждал распоряжений высшего начальства, но вместе с тем комендант, ненавистник немецкого засилья, не жаждал распоряжений высшего начальства. Короче, уцелела горсть. Ганса приголубила кронштадтская молочница. С грехом пополам он вернулся в Гольштинию, где у него не нашлось ни кола ни двора, и он мыкался, как шелудивый пес, пока не осенился черным знаменем…

Невеселая история. А все же вряд ли забрала бы за живое, не вообрази пишущий эти строки на месте Ганса нашенского Ивана: вспомните слухи о готовности русской монархини пособить русскими штыками английскому монарху; слухи, сильно огорчившие на Мартинике Федора Каржавина. Вот и вообразился теперь, в харчевне «Золотой желудь», на месте рыжего голштинца малый рязанский или калужский.

Что сделал бы в подобном случае Каржавин? Ручаюсь, постарался бы втолковать земляку: негоже русскому мужику давить и душить здешних мужиков; ты спишь и видишь, как избавиться от бар, а они уже избавляются… Думаю, что и Ганса Мюллера, ландскнехта, он постарался бы пронять рассуждениями на сию тему. И конечно, не преминул бы воспользоваться душистым презентом, имея в виду ящик, который миссис Маргарита третьего дня получила из-за линии фронта. Получила не для продажи, нет, для тайного и дарового распространения

среди немецких наемников.

Именно так и сделал пишущий эти строки, наделенный полномочиями каржавинского alter ego, второго «я». И душистый презент пустил в ход; угощайтесь, герр Мюллер, угощайтесь. То был отличный товар виргинских плантаций: плотная пачка табака. Ее обертку-бандероль испещрял типографский текст, колючие, как тернии, готические буквы.

Табак и прокламации — вот что получила из-за линии фронта Маргарита Уэттен. Прокламации конгресса, адресованные гессенцам. Обращение, напечатанное на табачных бандеролях: здесь, в Америке, вас ждут смерть или плен; останься вы живы, вас ждет ваш князь, чтобы продать в рабство новому хозяину, врагу человечества; идите к нам, получайте права свободных граждан.[23]

Впервые невозмутимо-деревянное лицо Ганса Мюллера отразило гамму душевных движений — смятение, страх, растерянность, недоверие и, наконец, робкую надежду. Помедлив, голштинец потянул к себе табачную пачку, потянул опасливо и как бы прислушиваясь к ее шороху. И вдруг она молниеносно исчезла под полой его мундира, после чего объект пропаганды, не обронив ни слова, покинул харчевню «Золотой желудь».

Что сие значило? Отправился с доносом к офицеру, к полковому пастору или клюнул, призадумался? Бог весть. Но как бы там ни было, а больше уж он не появлялся в «Золотом желуде»…

День уходил за днем. Мичману Барни изменила обычная веселость. И обычный аппетит, отличительное свойство всех тогдашних мичманов, тоже. Он сознавал невозможность исполнить поручение командира, и его унижала предстоящая взбучка, неминучесть которой обещал нрав Пола Джонса, достаточно известный Барни Галафару.

Прямое нападение брига «Провиденс» исключалось — бесплодная гибель. Другое дело — принять на борт заключенных, сбежавших с «Джерси». Пол Джонс сумел бы крадучись миновать британскую эскадру и схорониться милях в семи от Нью-Йорка, в тех Адских воротах, где сшибались «спорные» течения и крутились душегубные воронки. Черт побери, Пол Джонс был и на это способен. Да вот беда: мичман Барни был не способен изобрести что-либо подходящее для побега заключенных из трюмов трижды проклятой плавучей тюрьмы.

Ничего иного не оставалось, как только ждать нарочного или письменного извещения с брига «Провиденс» — куда подаваться, где найти своих.

Время текло сумеречно. Мичман коротал вечера за картами

— играл сам с собою, сам себя пытаясь одурачить. Этим почтенным делом, сильно развивающим умственные способности, Барни был занят и в тот знаменательный вечер — ненастный, с проливным дождем и холодным, порывистым ветром. Хозяйка возилась у камелька. Пахло поджаренным кукурузным хлебом и коричневым пойлом из жженых злаков, которое миссис Маргарита, смеясь, называла кофием.

Было уже совсем поздно, когда в окошко постучали. Хозяйка ничуть не удивилась — лазутчики континентальной армии всегда находили пристанище в ее доме. Взяла лампу и пошла отворять. А мичман Барни насторожился: уж не гонец ли Пола Джонса?

Послышался шум тяжелых шагов, ввалилось четверо оборванцев, вымокших до нитки. Последним вошел… Ганс Мюллер.

Произошло следующее.

«Джерси» снабжали пресной водой сами заключенные. Под охраной двух солдат шли на баркасе к устью широкого ручья и там наполняли бочонки-анкерки, оставаясь в поле зрения вахтенных плавучей тюрьмы. Но в тот день, я говорил, дул сильный ветер, к тому же лил дождь, резко сокративший дальность видимости. Гребцы-водовозы не справились с порывами ветра, баркас унесло, «Джерси» скрылась из виду. Заключенные скопом напали на караульных и разом удушили обоих. В несколько ударов весел (откуда только силы прихлынули) подогнали баркас к берегу, выпрыгнули и напоролись на верзилу стражника. Немец не успел глазом моргнуть, как дула мушкетов (наследие только что удавленных караульщиков) уперлись в его грудь. Немец воздел руки и вдруг, словно бы решившись на что-то, злобно сплюнул. У него отобрали ружье, он рассмеялся. Остается добавить, что дом миссис Маргариты знал один из беглецов, бывший до войны рулевым на шхуне мистера Уэттена. Да и Ганс Мюллер не сбился бы с дорожки, ведущей в харчевню «Золотой желудь», где он часто предавался сумрачным думам о судьбе солдата в России, в Германии, в Америке.

Миссис Маргарита накормила беглецов. Они обсушились. Но счастливчиками не глядели — морок «Джерси» тяготел над ними, поимке, возвращению они, ни минуты не колеблясь, предпочли бы расстрел на месте.

За полночь — дождь и ветер не унимались — миссис Маргарита повела беглецов на какую-то ферму — оттуда начинался тайный маршрут к передовым позициям континентальной армии. Опасаться следовало не только конных разъездов и пеших пикетов, но и оседлых американцев — тех, что

прибивали к дверям своих домов красную тряпицу, знак повиновения британской короне…

О, с какой охотой и мичман Барни убрался бы из постылого Нью-Йорка! Ушел бы и, конечно, разминулся с гонцом Пола Джонса. Нет, жди у моря погоды. А дожидаясь, глядишь, и дождешься омаров:[24] бегство пленных, исчезновение солдата-немца отзовутся повальными обысками.

Спешу успокоить читателей, взволнованных участью Барни Галафара, — получив весточку от командира брига «Провиденс», он благополучно достиг аванпостов континентальной армии.

## *3*

Годы спустя, в Москве, у Новикова… Да-да, в Москве — Новиков сменил Петербург на белокаменную, жил у Никольских ворот… Так вот, в кабинете издателя «Московских ведомостей» говорили об американской революции, говорили и о похождениях Пола Джонса. (Произносили: «Поль Жонес».) Храбрец занимал почетное место на газетном листе; известия о нем поступали из Парижа, Амстердама, Лондона. Приятно было слышать похвалы отважному командиру неуловимого брига…

Время было тяжкое. Повстанческий флот трещал под тараном британской эскадры. А Джонс вознамерился бить и жечь неприятеля в его волчьих логовищах: по ту сторону Атлантического океана, близ берегов Англии, на выходах из гаваней, а коли подвернется удобный случай, то и в самих гаванях.

О, рейдерство на «Рейджерсе»! Бриги-сверстники, проданные на дрова, горели в каминах, пестрым огнем пылали эти обломки, пропитанные солью морей. Но «Рейджерс» молодцом держался на плаву. И держал на борту сто тридцать молодцов в коричневых куртках, в круглых черных шляпах.

Экипаж жаждал хмельного упоения местью. Капитан больше всех. Ему, впрочем, присущ был и холодный расчет, не отменявший плутовского желания провести врага за нос.

Маскируясь под купца-увальня, бриг сближался с противником, не чуявшим ничего худого. Ни лорды Адмиралтейства, ни капитаны флота его величества не предполагали, конечно, что «проклятые бунтовщики» посмеют путаться в ногах Голиафа. По ту сторону океана «бунтовщики» еще барахтались — но здесь, у Британских островов? Этого не могло быть, потому что этого быть не должно. «Эй, на судне!» — громовым голосом окликал Пол Джонс и внезапно открывал

огонь с короткой дистанции.

Но вот ему надоели суда, курсирующие у берегов. Пол решился на прорыв в порт Уайтхевен. Из чертовой дюжины морских офицеров дюжина сочла бы, что он спятил. И лишь сухопутные стратеги одобрили бы Джойса; во-первых, потому, что они ни в зуб ногой, во-вторых, потому, что получили бы награду за боевую активность.

В горле бухты возвышался мощный форт. Огнем тяжелых орудий он перекрыл бы фарватер прежде, чем Пол успел бы ворваться в порт. Но, положим, ворвался — а потом? Потом надо было бы уносить ноги. Да ведь береговая артиллерия пустила бы ко дну старый бриг. Если бы бриг не потопили еще на уайтхевенской акватории. Да, дюжина морских офицеров выразительно постучала бы пальцем по лбу. Отрицал бы сумасшествие один — сам Пол.

Смелость города берет? Смелость внезапности. Плюс трезвый расчет. Легко сказать! Исключишь ли случайность, коли зависишь от направления и силы ветров? От ветров, определяющих длину и краткость галсов лавирования. Э, галсы! Бой был на носу, вот что, дорогой читатель.

На английских кораблях священник в канун боя служил молебен и отпускал грехи каждому моряку в отдельности. На «Рейджерсе» грехи чохом отпускал первый после бога. Что до молитвы, то Пол Джонс обращался не к всевышнему, а к тому, кого он величал Всенижним, — старцу с острогой-трезубцем, седому Нептуну.

Пол выходил на палубу парадно — в темно-синем мундире с белыми лацканами и золотым эполетом на правом плече, тринадцать звездочек усеивали золотой эполет, тринадцать, по числу восставших провинций Северной Америки. Парадность, отменяя залихватский колпак, водружала на капитана треуголку с черной кокардой. Джентльменские бриджи, чулки и башмаки довершали наряд. Ну хорошо, выходил он, осторожно неся в руке полнехонькую кружку. Выплеснув пунш за борт, говорил кратко: «Это — тебе!» И, сняв треуголку, отдавал поклон богу морей. Язычник! И в ту же минуту боцман провозглашал: «А это — вам, сэр» и подносил «штормовую чашу» толстого фарфора.

Было уже совсем темно, когда наш бриг, поставив малые паруса, взял курс на Уайтхевен. А оттуда, с суши, стеною двинулась ледяная перемесь дождя и снега. С каждым кабельтовым слитный рокот моря все отчетливее распадался на мокрые хлопки и влажное рычание — волны роились в скалах.

Минуя форт, никто, кажется, уже и не дышал. Там и сям пылали факелы; береговые пушки — в готовности. Факелы

указывали, где они. Джонс приказал спустить баркасы. Травили помаленьку, баркасы едва слышно коснулись воды.

«Пошел по шлюпкам!» — и каждый отрешается от корабля, от его домашней надежности. Потом стремительный бросок сквозь тьму, дождь, ветер, брызги, фатальное движение на скалы, на форт, на пушки. Счет идет на мгновения… нет, какой там счет!.. Схватка без выстрела — рукопашная. Вяжут часовых, заклепывают пушки. Потом, спотыкаясь и задыхаясь, десантники бегут к баркасам, бегут сквозь тьму, дождь, снег, ветер. На бегу им чудится, будто все уже совершилось, и, лишь взлетев на палубу, они сознают, что главное еще не произошло.

Главное началось, едва «Рейджерс» пальнул бранд-скугелями в английский фрегат, — ядра, начиненные зажигательной смесью, зловеще присвистнули всеми своими скважинами. Грохот крюйт-камеры фрегата разодрал ночь надвое, огненный столп осветил вражеские корабли.

Англичане сыграли боевую тревогу… Ха, «сыграли»! То не была грозно-отрывистая и грозно-перекатная дробь с тяжелым пришаркиванием, напоминающая поступь железной когорты, идущей к победе или к смерти. То был заполошный бой; видать, у барабанщиков клацали зубы, а барабанные палочки отплясывали пляску святого Витта.

«Рейджерс», лавируя, палил брандскугелями; треща и стеная, английские корабли разгорались все пуще. Англичане рубили якорные канаты и, пытаясь увернуться от сатаны под флагом «проклятых бунтовщиков», наваливались в тесноте друг на друга, тем самым увеличивая и без того гигантский костер.

Корабли пылали. Но береговая артиллерия уже оправилась от паралича. И хотя прицельная стрельба но «Рейджерсу» была почти невозможна, Пол Джонс круто осадил на всем скаку — баста! Бриг лег на обратный курс. Выстрелы сторожевого форта прозвучали салютом триумфатору, исчезающему в предрассветном море…

Озирая одиссею капитана Джонса, полагаю, что уайт-хевенский погром более всего иного упрочил британскую аттестацию Пола: пират, негодяй, мошенник, авантюрист. Адмиралтейские лорды не утолили бы свою ярость, даже если бы трижды вздернули его за ноги. Ненависть не остыла и годы спустя.

Пора, однако, возвратиться к Каржавину. Благо есть оказия — Джонс шлет в Америку один из трофейных кораблей, груженный трофейными бочонками с порохом. Упустишь ли такую оказию? Ведь Каржавин ушел из Сен-Пьера, что на Мартинике, в Хэмптон, что на берегу виргинской реки Джеймс.

# ГЛАВА ШЕСТАЯ

## *1*

«Тейтс» и «Ле Жантий» лежали в дрейфе. С фрегата наблюдали, как туман скрадывает бригантину, а с бригантины наблюдали, как туман дожевывает фрегат. При этом, однако, моряки испытывали чувства совершенно несхожие: на фрегате — весело-победительное, на бригантине — мрачно-напряженное.

Прицельным огнем англичане заставили бригантину лечь в дрейф. Бригантина была почти уже пленницей фрегата. Баркас с вооруженной командой приближался к «Ле Жантий». Развиднеется, и «Тейтс» преспокойно уведет приз на Бермудские острова.

В судовых документах значились вино, патока, соль. Ни вина, ни патоки, ни соли не было. В судовых документах не значились оружие и боевые припасы. Оружие и боевые припасы были. Генеральный директор торгового дома «Родриго Горталес» г-н Дюран, он же Пьер Огюстен Бомарше, надеялся и верил, что г-н Лами, он же Федор Каржавин, привезет этот груз солдатам повстанческой армии. И вот рядом, совсем рядом Чезапикский залив; в залив впадает Джеймс-ривер; на ее берегу — виргинский порт Хэмптон, а там уж недалек и Вильямсберг.

Под скулой Каржавина багровел флибустьерский шрам. Угрюмо каменело львиное лицо капитана Фремона. Туман, извечный враг мореходов, не выручишь ли?

И неужто онемел боевой галльский петушок? Тот звонкий крикун, что на кораблях Франции предвещает победу.

Круглые шляпы выдергивались из серо-сизой гущи тумана, в следующий миг, будто вдогонку за шляпами, возникали головы, туловища, ноги — английские матросы, перемахнув фальшборт, устремлялись на палубу «Ле Жантий» — сдавайте оружие! Но англичанам клешнили глотки, англичан вязали, как снопы, и швыряли, как кули, — все это молча, быстро, споро, безостановочно… А потом, пальнув из носовой пушки, капитан Фремон обманно известил невидимый в тумане «Тейтс»: призовая команда исполнила свое назначение.

Фрегат его величества нежился в дрейфе, дожидаясь, когда туман рассеется. Дождался. И небеса дрогнули от яростного вопля: бригантина исчезла!!!

Чертовски жаль, но все это не пришлось увидеть своими глазами: бриг, посланный Полом Джонсом, прибыл в Хэмптон

позже бригантины «Ле Жантий». Что ж, надо было спешить в Вильямсберг. Спешить, радуясь встрече с Каржавиным.

## *2*

Вильямсберг хранил черты европейской архитектуры — расписные фронтоны, окна с тускло-свинцовыми переплетами, выступающие вперед верхние этажи. Но во всем его облике примечался, чувствовался напор богатеющих семейств. Коренных, виргинских. Тех, что на заре семнадцатого века сошли с английских кораблей. Тех, что взялись за разведение табака. Вот уж где, в Виргинии, наше минорное «дело табак» звучало мажорно. И звоном гиней, и звуком поцелуев, и негритянской перекличкой солиста и хора, ритмической песней табачных плантаций.

Табак! Женщин привозит британское судно в Чезапикский залив — оплати табаком доставку, и любую веди под венец. Голландский фрегат привозит чернокожих — выкладывай табак, и любого веди под ярмо. А спасеньем души озабочен священник, оплаченный паствой, — шестнадцать тысяч фунтов табаку ежегодно.

От болот, льнущих к океану, меж холмов, по равнинам ложатся дороги. Не гужевые, а перекатные. Так и говорили: «перекатная дорога»… Под навесами плантаций табачные листья плотнее плотного прессуют в огромные бочки; в середку вставляют длинный и толстый шест, чтобы концы-рукоятки торчали, а потом накрепко, наглухо закупоривают эти огромные бочки. И — в путь: кати, налегая, кати перекатной дорогой к реке Джеймс, к Чезапикскому заливу, на сходни заокеанских кораблей.

Белизну цветущих плантаций, поместья, похожие издали то на чайку, севшую на волны, то на задремавшее облачко, увидим потом, когда и Виргиния станет театром военных действий. А покамест были белые снега и тихий иней, изукрасивший городок.

Палочкой-выручалочкой служили в ту пору рекомендательные письма. Хорошая штука! Не найдя Каржавина, поселяешься у вдовы старшего брата Пола Джонса, первоклассного портного, некогда обшивавшего окрестных джентльменов.

Миссис Джонс жила в собственном доме, позади таверны Рейли. Была миссис Джонс не совсем стара и совсем не дурна; казалась незабудкой, правда из гербария. Она приняла гостя холодно. Но лед тронулся, едва тот объявил, что располагает средствами — честными деньгами из призовых сумм доблестного

экипажа ее деверя. Миссис Джонс живо осведомилась, какими именно деньгами, уж не бумажными ли? Вопрос свидетельствовал о недостатке патриотизма и об избытке практицизма.

Бумажный вихрь, запущенный Континентальным конгрессом, день ото дня обесценивался. Рассказывали про филадельфийского штукаря: обклеил банкнотами здоровенного бульдога и шляется, потешая публику, по Маркет-стрит. Утверждали, за воз таких денег не купишь воз провианта. Так что вопрос, заданный вдовой, не был праздным. И он не повис в воздухе: ее слух празднично усладило солидное бряканье серебряных нидерландских гульденов, золотых испанских дублонов, французских луидоров.

Житье у вдовы не представляет интереса. Отмечу, однако, превосходное качество ветчины, изготовленной миссис Джонс.

Не вдовой и не ветчиной примечательно пребывание в Вильямсберге. Знакомства! В том числе сразу с двумя будущими президентами Соединенных Штатов. Оба были яркими личностями. А яркость свойственна не каждому президенту. Не говоря уже о вице-президентах.

Итак, знакомства. Но не ради самих по себе и, конечно, не ради будущих мемуаров, о них и не помышлял. Сдерживая все возрастающую тревогу, пытался разузнать, куда запропал Неунывающий Теодор. Странно: городок небольшой, все как на ладони, а его нет да нет, хотя еще совсем недавно он каждый вечер проводил в таверне Рейли.

Дом вдовы Джонс, как уже говорилось, находился позади таверны Рейли. Эта топографическая подробность приведена неспроста.

До войны немногие джентльмены были завсегдатаями этого заведения. Наезжали в городок и, обсудив административные дела виргинской колонии, возвращались, не задерживаясь, в свои поместья, в свои графства, по-русски сказать — уезды. А постоянный житель Вильямсберга если и убивал вечерок-другой в этом зале, то большей частью в толках о коммерции или пересудах сугубо местного значения. Но вот началась революция, и таверна стала политическим клубом.

Нетрудно представить Каржавина у камина в виндзорском кресле. Как ему не ликовать, если он слышит об отмене майоратов и секвестре британской собственности, о статуте религиозной свободы и всеобщем бесплатном образовании, об изменении кровавого законодательства и запрещении ввоза африканских рабов! Как не ликовать, если он слышит — народный суверенитет, равенство, право на счастье и право на революцию!

Нетрудно вообразить, какими глазами смотрел Каржавин на

высокого, худощавого, чуть сутуловатого джентльмена, соединявшего сдержанность чувств с решительностью своих речей.

В Вильямсберге у него еще до войны была юридическая практика. Он библиофил, читающий по-французски и итальянски, и меломан, играющий на скрипке. Он крепок физически, ежедневно обливается студеной водой и прогуливается верхом. «Удивительно, как много можно сделать, если работать постоянно», — говорит он и работает методически. Его идеал — благоденствие фермера: только дело землепашца вселяет в сердце чувство достоинства, дух республиканский.

Он уже «пребывал в истории», этот джентльмен по имени Томас Джефферсон. Депутатом конгресса от Виргинии ездил в Филадельфию. Там, запершись в крохотной комнатенке, нанятой у каменщика, написал «Декларацию независимости».

Другой будущий президент Соединенных Штатов тоже не избегал таверны Рейли: лицо замкнутое, изможденное, хмурое; поговаривали, что Джеймс Мэдисон подвержен падучей. «Моя страна — Виргиния!» — непреклонно, словно девиз, произносил он. И точно, *его*: с середины семнадцатого века Мэдисоны были здешними латифундистами. Ему не откажешь в образованности: знаток латыни и греческого, изощренный правовед. И не откажешь в осмотрительности: мистер Мэдисон ночей не спал, опасаясь, как бы негры не польстились на посулы красных мундиров — ступайте к нам, и мы, победив «проклятых бунтовщиков», одарим вас свободой… Мэдисону предстояла долгая политическая карьера, он был мастером компромиссов, зигзагов; изменял вчерашним друзьям и заключал сделки с вчерашними недругами. Но в годину войны с британским деспотизмом он занимал должность члена Исполнительного совета Вяргинии и полковника виргинской милиции, был сподвижником Джефферсона.

И все же не хочется думать, что мой Федор питал равновеликую симпатию к обоим будущим президентам. Почему? В чем причина? Всякий раз, когда в зале таверны появлялся Мэдисон, мерещился мне негр Криспас, отвагу которого так ценил Пол Джонс. Криспас был рабом этого Мэдисона, рабом, отпущенным в числе других виргинских негров во флот. Криспас всегда с ненавистью произносил имя своего хозяина…

Джефферсон и Мэдисон должны были знать, куда девался мистер Лами. Но спросишь и услышишь: «Сэр, мне это совершенно неизвестно», — ответит первый, сохраняя на своем лице выражение благожелательной внимательности; а второй, не разжимая губ, поднимет глаза к небесам, отсылая тебя к господу

богу. Не доверяли! Дело, значит, было серьезное. И точила тревога: где Федор, что Федор?

Тревогу мог бы рассеять Карло Беллини, профессор здешнего колледжа. (Скорблю об утрате его миниатюрного портрета — пропал вместе с прочим скарбом в день светопреставления на Мартинике, о котором расскажу позже.) Да, Беллини мог бы рассеять тревогу, если бы он хоть о чем-либо догадывался. Теодор часто бывал у профессора, да вдруг исчез.

Милейший, отзывчивый Карло! Его тосканские глаза ласково проницали мою тоскующую душу. Миссис Беллини приглашала:

— Посещайте нашу лачугу, бекон и грог всегда найдутся.

И душа согревалась во флигеле колледжа Уильяма и Мэри. Приветливость четы Беллини скрашивала зимние вечера.

В один из тех вечеров на пороге гостиной возник Неунывающий Теодор. Он улыбался усталой и, пожалуй, горделивой улыбкой, как улыбается человек, честно исполнивший свой долг.

Выслушав его рассказ, мы с Карло Беллини сочли, что Теодор имел право на эту улыбку.

## *3*

Каржавин оставил Вильямсберг на караковом жеребце виргинского происхождения: завод г-на Вашингтона. Главком континентальной армии находился далеко на севере, знать не знал никакого мистера Лами, караковым снабдил его Джефферсон. И секретным пакетом, зашитым в армейское седло, по обеим сторонам которого грозно темнели кобуры с седельными пистолетами — тяжелыми, крупнокалиберными.

Когда-то в Париже, на Вьей-дю-Тампль, советовали мсье Лами рекомендоваться коммерсантом. Он так и поступал. Теперь предстояло дело в прямом смысле торговое.

Фирма «Родриго Горталес», поставляя оружие и снаряжение континентальной армии, на денежное возмещение не рассчитывала. Рассчитывала на обратные поставки товарами; эти обратные поставки следовало в какой-то мере «утрясти» коммерсанту, вооруженному седельными пистолетами. Особых надежд на быстрое, а тем паче полное возмещение затрат фирмы он не возлагал. И, правду сказать, не убивался по сему поводу. Да, Пьер Огюстен Бомарше, несмотря на королевскую субсидию, несмотря на доброхотные взносы французов, мог вылететь в трубу. Но если речь идет о свободе, ставь на карту все.

Вряд ли Джефферсона занимали дела французского торгового дома. Он, вероятно, и вовсе не был осведомлен о его существовании. Он, вероятно, услышал о нем много позже, когда представлял во Франции Соединенные Штаты.[25] Да и то сказать, хватало забот своих, виргинских. Вот частность: очень досаждало отсутствие надежной связи с конгрессом, со ставкой

главнокомандующего. Понадобилось два-три года, прежде чем он учредил костную эстафету. И Джефферсон, как сказали бы теперь, заагентурил Лами.

Давнее поручение Бомарше, вчерашнее поручение Джефферсона, разжимаясь, подобно пружинам, подвигли Каржавина на риск странствия с юга на север, по восточным землям Нового Света, прилегающим к Атлантике. Но была и третья пружина. Она не зависела ни от Бормаше, ни от Джефферсона. А если и была поручением, то заданным самому себе. Очевидец — это ты и время. Ты во времени — это судьба. Первое предполагает созерцательность; в натуре Каржавина она почти отсутствовала. Второе предполагает энергию действия в единстве с энергией мысли; это единство было натурой Каржавина.

Размышляя о пугачевцах, Каржавин находил, что они поглощены были лишь мщением. Какую новину они подняли бы на развалинах империи?.. Думал Каржавин и о пиратских сообществах, о тех, что некогда возникали в антильских широтах. Пиратские республики Федор соотносил с Запорожской Сечью. Ни пираты, ни казаки не были разбойниками ради кровушки, а были весьма рассудительными удальцами. Но как бы они жили в мирных, небоевых обстоятельствах?.. Здесь, в Америке, зеленело древо свободы. Надо было каждый листок разглядеть российскими, то есть острыми и примечающими, глазами. (Это его слова, не раз повторенные.)

Итак, Каржавин пустился в путь, повитый метелями, озаренный холодным солнцем. Солнце и снег вскоре сыграли с ним скверную шутку. А поначалу все было в отраду — пахло родиной.

Краткий отдых находил он у фермеров.

Нашенское «мужики» вроде бы и не применишь к американцам, да ведь кто же они были, эти люди в кожаных жилетках и грубых башмаках?.. Мужики на фермах готовили к бою длинноствольные охотничьи ружья; бабы, жертвуя добром высокой стоимости — оловянной утварью, — плавили ее, изготовляли пули. Горожанину Каржавину Федору, чуждому пасторальности, деревенские эти люди пришлись по нраву — они полны были решимости драться за свободу.

Передохнув на фермах, Каржавин пришпоривал иноходца, обгонял дилижансы. О да, «в те времена на дорогах скрипели еще дилижансы», как романтично оповещал поэт, рифмуя «дилижансы» и «романсы». Идиллия? Поколотись-ка на дубовой скамейке хотя бы десяток миль, взвоешь. Запряженные четверкой, экипажи вмещали четырнадцать пассажиров; набивалось дюжины

две. Позади — как на буксире — подпрыгивала и переваливалась багажная повозка. Приближаясь к почтовой станции, кучер трубил в рог, звук был долог и чист, и, словно бы в ответ, в окнах станции мигали масляные лампы.

Почтовые станции были тогда и гостиницами. Расположись в одной из верхних комнат с камельком и постелью, а потом спустись в зал с общим столом. Прислугу не держат, управишься сам, нагружая деревянные блюда овсянкой с горохом или пудингом, сильно отдающим ромом. Дадут и ром, сильно отдающий пудингом. В зале увидишь квакеров; коричневые кафтаны расстегнуты, и это не небрежность, а символ открытости, откровенности — ни камня за пазухой, ни задних мыслей; все они ужинают, не снимая серых шляп с широкими полями — и это тоже символ — независимости, равенства с любым живущим, они и в церкви-то не обнажают голову; увидишь армейских офицеров, совсем не спесивых, напротив, общительных; тут и бродячий жестянщик, его ослик отдыхает на конюшие; и бритый пастор; и сельский торговец в скромном манчестерском вельвете; и детишки, уписывающие за обе щеки, норовя незаметно обтереть ладошки о свои толстые суконные панталоны.

А крохотные городишки с вязами и ратушами, с кофейнями, где играли в карты и кости? О, не всех, отнюдь не всех американцев поглощали перипетии революции. Загляни в кофейни — вот они, провинциальные джентльмены, коим решительно безразлично, срывать ли банк под скипетром короля или под звездным флагом. Правда, дамы не столь равнодушны к войне за независимость: корсеты вздорожали чудовищно, пара перчаток влетает в шесть долларов, простая юбка в мирное время стоила пятнадцать шиллингов, а теперь дерут пятнадцать фунтов.

Минуя городки-лилипуты, виргинский гонец спешил к берегам Делавера — триста с лишним миль от Вильямсберга.

Берега реки Делавер низменные, плоские, но Филадельфия на берегу высоком, террасами. Маркет-стрит и Брод-стрит щеголяют строениями респектабельными, купеческими, из черного и красного кирпича. А в кривизне улочек дома насуплены, как с похмелья. Федора обрадовала бойкость многочисленных мастерских — город искусных ремесленников, уважительно заключил Каржавин.

Он взял комнату в «Приюте трех моряков». Едва развиднелось, подался к Дворцу независимости. Здание в два этажа, башенка со шпилем и часами. Дворец? Баженов, наверное, не согласился бы, подумалось Федору, но величие в том, что прежде был тут клуб филадельфийских плотников, и это они, плотники, заставили богатеев собирать депутатов конгресса в

своем общественном доме.

В июле семьдесят шестого там приняли «Декларацию независимости». Написал Джефферсон, первым из виргинских депутатов подписал его учитель Джордж Уайз, юрист. Он тоже наведывался в таверну Рейли — лет сорока — сорока пяти, но моложавый и бодрый. Каржавин еще до отъезда из Вильямсборга встал на короткую ногу с этим республиканцем.

Так вот, холодным и пасмурным утром Федор долго смотрел на Дворец независимости. Вероятно, он разглядел бы и внешнюю привлекательность этого здания — никакой вычурности. Да, разглядел бы, если бы мысли его не текли в стороне от архитектурных стилей.

Нет, Каржавин не сравнивал, не сопоставлял великую «Декларацию» с екатерининским «Наказом» депутатам законодательной комиссии. Не сравнивал, нет, а было ему, россиянину, обидно и горько — самодержица попросту рассеяла депутатов, промолвив на прощание: «Пока новые законы поспеют, будем жить, как отцы наши жили». И шабаш, никто и не пискнул. А здесь, в бунтующих штатах, не желали жить, как отцы и деды, здесь отвергли власть монарха. Отвергли силой оружия!

В этот же день гонец из Виргинии отыскал уроженца Виргинии, имя которого гремело по обе стороны океана.

Оставив армию на зимних биваках, главнокомандующий несколько недель находился здесь, в Филадельфии. В честь Вашингтона давали ужины и задавали балы. Генерал исправно ел и исправно танцевал. Он был любезен с дамами и вежлив с мужчинами. Его любезность не шла дальше любезностей — он не испытывал ни малейшей склонности к флирту. Его вежливость не шла дальше банальностей — он сдерживал гнев.

В тот вечер его ждал очередной ужин в респектабельном особняке на Маркет-стрит. Генерал вышел из экипажа в сопровождении майора артиллерии, лицо которого показалось Каржавину знакомым. Но он взглянул па офицера мельком — во все глаза смотрел на главнокомандующего армией революции. А Вашингтон, мельком взглянув на всадника, любовался караковым иноходцем.

Каржавин спешился и снял шляпу.

— Пакет из Вильямсберга, сэр!

— Ваше имя, сэр?

— Теодор Лами, негоциант.

— Позвольте, мсье Лами, свидетельствовать почтение, — по-французски сказал артиллерийский офицер.

— Ба! Так это вы? — обрадовался Каржавин. Майор рассмеялся.

Владелец особняка проводил гостей в кабинет. Вашингтон углубился в чтение письма Джефферсона. Каржавин и артиллерист, не решаясь беспокоить главнокомандующего, молчали, сгорая от нетерпения развязать языки.

Они уже поиграли, как брелоком, медальоном с изображением Юпитера-Странноприимца, опознавательным знаком сотрудников Бомарше, и словно бы воочию увидели и бригантину «Ле Жантий», и львиную физиономию славного капитана Фремона, и кают-компанию, где все они — был еще Джон Роуз, — рассуждая об осаде Нью-Йорка, единогласно решили, что отряды Вашингтона опрокинут королевскую рать. О, теперь уж они ясно сознавали — победа за горами за долами; каждого, кто поднял оружие на тиранию, ждут жестокие испытания. И не только под ядрами…

Четверть века назад генерал, хмуро читающий сейчас письмо из Вильямсберга, был молоденьким командиром батальона виргинской милиции и сражался с французами, тогдашними соперниками англичан в Америке; рапортуя об успехе губернатору Виргинии, бравый батальонный ликовал: «Я слышал свист ядер; в этом звуке есть что-то восхитительное». В депеше, отправленной в Лондон, губернатор горделиво цитировал его рапорт. Король Георг ухмыльнулся: «Он не говорил бы так, если бы слышал эти звуки чаще»… Кто-то однажды напомнил Вашингтону давнюю браваду, генерал в сердцах буркнул: «Если я так и выразился, то лишь потому, что был очень молод».

На его твердых, гладко выбритых щеках обозначились тяжелые складки. Он дочитал письмо, поднялся во весь свой громадный рост.

— Мистер Джефферсон трижды прав: в тылу слишком много негодяев. Наживаться на страданиях армии! В каждом штате следовало бы вздернуть хотя бы одного спекулянта.

Вашингтон прошелся по кабинету. Остановившись у стола, прижал кулаком конторскую книгу.

— Здесь золото нашего гостеприимного хозяина. — Он пристально взглянул на Лами. — Не желаете ли и вы получить подряд, сударь?

Чертовски хотелось щелкнуть генерала по носу: речь вовсе не о наживе; нет, о поддержке торгового дома г-на Дюрана. Но Каржавин ограничился намеками: французские друзья американской свободы нуждаются в помощи американцев едва ли не столько же, сколько последние нуждаются в помощи первых. Таковы обстоятельства, ваше превосходительство.

Вашингтон удивился. Он, вероятно, не имел ни малейшего представления о фирме на Вьей дю Тампль, а, полагаясь на

заверения конгрессменов, считал, что все французские поставки — дар короля Людовика. Каржавин, догадываясь об этом, сказал веско:

— Только манна небесная была ниспослана в дар, ваше превосходительство.

И Вашингтон заговорил о взаимовыгодной торговле. Примером привел собственный опыт: прекрасную пшеницу, выращенную в Виргинии, он сбывал в Вест-Индию; продлись мирное время, сбывал бы и лошадей со своего конного завода.

Коммерческое вдохновение главкома показалось Каржавину смешным: «Меркурий с голубой лентой».

Вашингтон между тем говорил об инфляции, об остром недостатке звонкой монеты, об ассигнованиях на армию — в прошлом году конгресс отпустил двадцать три миллиона, ныне урезал вдвое.

— А сейчас, — мрачно заключил Вашингтон, — сейчас, когда здесь музицируют и я собираюсь расточать комплименты миссис Уиллинг и миссис Моррис, на зимних квартирах нашей армии… Там, мистер Лами, и сейчас немногим сноснее, нежели в прошлом году в лагере Валли-Фордж. А Валли-Фордж это… — он угрюмо оборвал самого себя: — Словом, приходится танцевать, джентльмены.

— Осмелюсь просить… — остановил Вашингтона Каржавин, — единственная просьба: хочу помочь вот этим. — И он простер руки.

— Мсье Лами жаждет обнять Смуглую Бетси, — пылко вступился майор артиллерии. — Клянусь, его объятия будут крепкими.

Вашингтон улыбнулся.

— Майор все устроит. — И, коротко кивнув, главнокомандующий удалился.

Любезный читатель, может быть, не забыл, что в день отплытия «Ле Жантий» из Гавра на борт бригантины взошли двое молодых людей. Один, похожий на немца, назвался Джоном Роузом. Другой был дез Эпинье, племянник Бомарше. Теперь, в Филадельфии, майор дез Эпинье принимал партию пороха из пакгаузов Уиллинга и Морриса.

Майор предложил Каржавину провести вечер в отеле:

— Я познакомлю вас с моим славным товарищем графом Сегюром. Надеюсь, он вам понравится.

Отель «Тронтин» считался как бы вотчиной французов, посещавших Филадельфию: опрятность и тишина, вышколенная прислуга, мебель красного дерева, серебро столовых приборов.

Фешенебельность отеля определила прохладную

сдержанность, с какой мсье Лами отдал поклон графу Сегюру. Тот, напротив, был сама любезность.

Каржавину и невдомек было, что годы спустя именно этот человек вызволит Пола Джонса из петербургской ловушки. Но Сегюр и теперь заслуживал благорасположения Каржавина. Не своей принадлежностью к разряду «очаровательных французов»: обаятельная улыбка, живой блеск больших темно-карих глаз. Нет, не внешность его сиятельства развеяла холодность Неунывающего Теодора: Луи-Филипп Сегюр и он, Каржавин, находились в одном стане.

«Ле Жантий», корабль, снаряженный Бомарше, ушел из Франции осенью семьдесят шестого. Весной семьдесят седьмого снялся с якоря «Виктуар», снаряженный Лафайетом. Маркиз уверял: «Это последняя война за свободу. В случае несчастья не останется больше никакой надежды». Заявление, положим, скоропалительное, но сорок молодых людей разделяли мнение столь же молодого маркиза — да здравствует война за свободу! И все, как и Лафайет, сознавали — шипов достанется больше, чем лепестков роз. Но они, смеясь, скандировали его девиз: «Отчего бы и нет?» Луи-Филипп Сегюр находился на борту «Виктуар».

Французы готовы были служить без жалованья, чем сразу и заслужили признательность конгрессменов. Последовало распоряжение назначить Лафайета начальником «военного семейства» — так генералы континентальной армии называли штаб главнокомандующего. Двадцатилетний «отец семейства»? Щекотливо! А ежели уж быть до конца откровенным, то надо отметить — на первых порах Вашингтон весьма не благоволил вновь прибывшим: «Все они — голодные авантюристы».

Сказывалось, очевидно, недоверие к традиционному сопернику: он с французами-то воевал еще в пятидесятых годах, командуя батальоном виргинцев. Что ж до «авантюризма», то можно бы и помягче: желание славы. Впоследствии Вашингтон высоко оценил французских сподвижников. В том числе и маркиза Сен-Симона. Да, любезный читатель, будущий автор «Промышленной системы», великий утопист Сен-Симон тоже сражался за свободу Америки, участвовал в крупных сражениях и был не однажды ранен.

Итак, генерал Вашингтон отдал им должное. Но плантатор Вашингтон не упускал из виду столь жесткие понятия, как «конкурент» и «конкуренция». И потому: виват прекрасной Франции, спасающей нас оружием; нет Франции, желающей осенить Америку белым знаменем с бурбонскими лилиями.

А эти двое — дез Эпинье и граф Сегюр, подливающий превосходный пунш в бокал мсье Лами, — эти двое, сдается, были

сильно задеты отношением Вашингтона к начальнику своего штаба. Э, слуга покорный, не одни лишь материальные нужды санкюлотов погнали его превосходительство в Филадельфию.[26]

Дело было такое. Коль скоро Франция признала независимость Соединенных Штатов и подписала союзный договор, следовало ожидать подмогу не только на море, а и на суше. У Лафайета возник план — объединенными силами континентальной армии и французского корпуса двинуться в Канаду и там, в Канаде, разгромить англичан. Этот проект он представил конгрессу. Вашингтон содрогнулся. Как! Американцы своей жизнью, своей кровью положат к ногам Людовика Канаду? Вашингтон ринулся в Филадельфию. Он говорил конгрессменам о бедствиях армии, но с еще большим напором ниспровергал замысел Лафайета, чем, между нами сказать, давал маркизу веский повод повторять: я, Лафайст, больше чувствую себя на войне, находясь в американском лагере, нежели приближаясь к английским боевым порядкам.

Каржавин не винил ни Лафайета, ни Сегюра и Эпинье во «французском своекорыстии». Правда, годы спустя граф и в Зимнем и в Гатчине представлял, так сказать, французский эгоизм, однако в ту пору Сегюр честно ратовал за независимость восставших колоний. Но, как ни прискорбно, сотрапезников, ужинавших в фешенебельном отеле «Тронтин», не сочтешь великими полководцами.

Вашингтон мыслил здраво. Не только стратегически — в точном, военном значении слова. Он и на «стратегию» тыла смотрел без розовых очков: цинизм казнокрадов и наглая роскошь выскочек; бизнес в политике и аполитичность бизнеса; распри джентльменов, заседавших во Дворце независимости: война требует единства, а конгрессмены превыше прочего ставят выгоды своего штата. Между тем положение армии, положение страны роковое.

На сей счет Сегюр и дез Эпинье думали так же. И потому голос майора артиллерии был грустен, когда он говорил Каржавину о неиссякаемом энтузиазме своего дядюшки. Обещания обратных поставок не исполняются, минуты отчаяния настигают Бомарше, но Бомарше заверяет, что по-прежнему будет помогать восставшим: «Славный, славный народ!»

Восклицание Бомарше повторил Каржавин, рассказывая о «Приюте трех моряков», где в низком, с закопченными потолочными балками зале собирались «сыны свободы» — мастеровые и подмастерья, поденщики и чернорабочие.[27]

Каржавину все было внове, все исполнено глубокого значения. И хоровое, согласное пение в начале собрания: «Тесней

вперед, сыны свободы!» И эти значки с изображением древа Свободы на груди каменщиков и плотников, кузнецов и печатников, шорников и штукатуров. И внятное чтение вслух свежих газет. И неспешные, серьезные рассуждения по поводу прочитанного. И спокойная решимость держаться до победы. И нежелание сменить господство короны на господство некоронованных.

Каржавин видел думающую чернь. Она желала уяснить, кто будет править Америкой, свергнувшей британскую тиранию. Не жажда мести и разгрома владела ею, а жажда разумного устроения общественной жизни. И Каржавин, произнеся «чернь», сделал перечеркивающий жест. Сказал: «класс». Прибавил: «Класс большинства». И еще: «Люди низшего класса»… Лицо его вдруг омрачилось: Федор вспомнил Чумной бунт.

## *4*

Он был и в Бостоне. Подробности не удержались в моей памяти, разве что прозвище горожан, отличавшихся устойчивой невозмутимостью: «белая печень». Он и туда, в Бостон, доставил секретные пакеты; но от кого и кому — убей, не знаю.

На тракте Бостон — Нью-Йорк в харчевне «Братец Джой» у него была назначена встреча с майором дез Эпинье. Каржавин поспел к сроку. Хозяин постоялого двора ему не понравился — плутовская рожа. Но Федор подумал, как все мы думаем в подобных случаях: э, детей с ним не крестить. А хозяин сразу назвал его мистером Лами. Ухмыльнулся: господин майор предупредил — приедете на замечательном жеребце. И спохватился: «Прошу прощенья, сэр. Вот письмо».

Федор прочел: дела вынудили дез Эпинье задержаться в Филадельфии; мсье Лами предстоит добираться в одиночку, и притом близ английских позиций; надо, сударь, все хорошенько взвесить, прежде чем поставить жизнь на карту.

Утром, позавтракав жареной свининой с картофелем и напившись чаю, Каржавин бодро вышел из харчевни. Было морозно и солнечно, снег сверкал. Оставалось крикнуть: «Коня!» — и пуститься в путь. И Федор крикнул: «Коня!» Тотчас возник хозяин харчевни. Его рожа выражала ту крайнюю степень растерянности, за которой следует первая степень отчаяния.

— Прошу прощенья, сэр… Прошу прощенья, сэр… — повторял этот мерзавец, разводя руками и как-то нелепо приседая, словно охотясь за курицей.

Швырнув на пол седло с притороченными седельными

пистолетами, Федор опрометью бросился в конюшню. Коня не было! Федор ринулся назад. Он пристрелил бы негодяя, да-да, пристрелил бы, но кто-то из подручных хозяина успел стянуть и пистолеты.

Вчера еще конный, Каржавин был отныне пешим. Он глядел туча-тучей. Мороз и солнце, студеный, крепкий воздух, этот скрип снега под ногами союзно взялись помочь ему. Он выравнял шаг, велел себе шагать мерно.

Майор дез Эпинье предостерегал от гужевой, фурманной дороги — держитесь линии, разделяющей наши позиции от вражеских. Совет был дельный, но трудноисполнимый: приметы, указанные майором, не сравнишь со штурманской картой.

Холодное солнце поднималось все выше, снежный наст сверкал все ослепительней. Каржавин, однако, но подозревал близость беды. Он шел полями, перелесками, по льду ручьев, шел, наливаясь тяжелой усталостью, жмурился, терял и снова находил нужное направление. Порой ему чудился дым жилья, он прибавлял шагу, запах дыма исчезал.

И вдруг лицо его взмокло от слез. Он отирал слезы варежкой из кроличьей шкурки. (И варежками, и ондатровой шапкой, и кожаным жилетом, и теплыми сапогами, как и долгополой курткой на волчьем меху, — всей этой фермерской справой Каржавин обзавелся еще в Бостоне.) Слезы лились неудержимо, в глазах была резь нестерпимая. Тропа двоилась, пропадала, вновь возникала, и опять ее не было видно. Наконец все смешалось и погрузилось в темноту. Его ослепили солнце и снег. В давнем, далеком качалась вывеска… Дядюшка Ерофей потешался — грамотеи: «Окулист для глаз»… Раскачиваясь на кронштейне, вывеска издавала длинный ржавый звук. И этот звук терзал Каржавина, пока он, словно наперекор судьбине, не одолел несколько ярдов и почти уж незрячим не наткнулся на одинокое дерево — то, что оно было одиноким, словно бы родственно обрадовало Федора. Собираясь с силами, но обессилев вконец именно потому, что остановился, он, опустившись на снег, привалился спиною к дереву. Котомка мешала — стащил ремни, положил котомку на колени. Съестным не запасся, предполагая краткость дороги. В котомке было полдюжины сухарей и полпинты рому. Он понимал, что не смеет прикладываться к фляжке. И приложился, глотнул. Достал сухарь…

Мысли мешались, он погружался в забытье. Ничего не видел, только слышал, опять слышал длинный ржавый звук — «Окулист для глаз». Но звук менялся, обретал полноту, плавность, был волнистым, шел кругами, стал серебряным, чей-то голос произнес: «Серебра в колоколах много, вот что, господин

учитель». И Федор понял, что лавра неподалеку и тракт неподалеку, и там, на тракте, рядом с лаврой — ямской стан…

## *5*

Подняли рывком и встряхнули, как пустой мешок. Пахнуло конским потом, звякнуло оружие.

— Вперед! — гаркнул сиплый бас.

— Патрик, — взмолился чей-то голос, — посади беднягу в седло.

— Эх, Ненси, бабья душа, — насмешливо отозвался сиплый бас и припечатал Федора затрещиной.

Это привело его в ярость, он разразился ругательствами неместной выделки, что и послужило для Патрика веской уликой: «Кипеть мне в серном котле — шпион!»

Тот, кого звали Патриком, очень хотел изловить вражеского лазутчика. Желание столь же заманчивое, как и найти невзначай тугой кошелек. В данном случае первое было залогом второго. И кто же осудит Патрика? Дома, на крохотной ферме, осталось полдюжины ртов.

С неделю тому однополчане сцапали господинчика в партикулярном платье. Обыскали. Под стелькой сапога нашли какие-то бумаги. Шпион предложил золотые часы. Взятку не взяли. Поимщиков щедро наградили. Толковали, что отчеканят медали «За верность» и «Любовь к родине победит». Вот почему Патрик и Ненси приступили к ежедневным изысканиям на нейтральной полосе.

Обо всем этом Каржавин, понятно, знать не знал. Как и то, в чьи руки попался. Англичан? Значит, пой отходную: за пазухой бостонские пакеты, адресованные генералу Вашингтону… При мысли об англичанах в глазах бы у него потемнело, если бы вторые уж сутки не было в глазах темно. Тут-то и произошло нечто необъяснимое. Неверный, смутный, словно бы в пузырьках и соринках, но свет, свет, свет! И Каржавин счастливо рассмеялся.

— Никак, он спятил, — испугался тот, кого звали Патрик, полагая, вероятно, что рехнувшийся лазутчик не стоит и цента.

А Каржавин опять рассмеялся. Но теперь уже оттого, что разглядел, понял, кто они, эти Патрик и Ненси, — господи, кто угодно, только не английские солдаты.

— Будет гоготать, — прикрикнул плечистый детина и потряс мушкетом.

— Никуда не денусь, боюсь потеряться, — улыбался Каржавин, глядя на Ненси, — то был тоненький, безусый

солдатик; его обветренное личико походило на девичье, и Каржавин понял, что «Ненси» не собственное имя, а прозвище.

Метель легла, потянуло дымом. Минуя сторожевые посты, Патрик горделиво объявлял, что вот, мол, изловил мерзавца-лазутчика, а ему отвечали не без зависти, что он счастливчик, Патрик благородно кивал в сторону Ненси: дескать, и этот причастен.

Но вот они достигли цели, и Каржавин увидел солдатский строй, барабанщиков, офицеров. Несколько солдат с ружьями стояли в стороне, окружив кого-то плотным кольцом. Поодаль темнели строения зимнего лагеря — не то шалаши, не то хижины. На лугу корячился суковатый дуб, с нижней ветви свисала веревка.

— Стой! — приказал Патрик. — А теперь изволь-ка сесть на коня. Полюбуешься, как твой приятель задрыгает ногами. То-то спляшет, а ты гляди не обмарайся, у тебя еще все впереди.

Казнили британского шпиона. Тот твердым шагом приблизился к виселице, поднял к небу два сжатых пальца и громко произнес: «Да здравствует король!» Ударили барабаны, Каржавин отвернулся…[28]

Он еще не успел справиться с тошнотой, когда торжествующий Патрик втолкнул его в офицерскую палатку и, приосанившись, доложил:

— Вот и другой шпион, сэр!

И тотчас глаза вытаращил: лейтенант Роуз обнимал «шпиона».

Объясняю внезапную перемену декорации: Джон Роуз, как и дез Эпинье, был с Каржавиным на борту «Ле Жантий». Ну, тот — белобрысый, молчаливый, основательный. Погодите, еще не все: Роуз обнимал не только корабельного товарища, но и соотечественника. Да-с, именно так! Лейтенант был уроженцем Эстляндии. И не был ни Джоном, ни Роузом, его звали Густав Розенталь.

## *6*

Четверть века спустя пишущий эти строки скучал на Английской набережной, дожидаясь отправления кронштадтского пакетбота. (В Кронштадт призывали заботы, о которых здесь нет нужды оповещать.) В числе пассажиров находился и Густав Хайнрикович фон Рзенталь. Ему уже было пятьдесят, но седина оставалась неприметной — важное преимущество людей белобрысых.

Г-н Розенталь жительствовал в Ревеле, занимал какую-то должность, кажется выборную от дворянства, в Петербург приезжал о чем-то хлопотать, а теперь, возвращаясь, решил насладиться морской прогулкой.

Наведываясь в Петербург, он всякий раз отдавал дружеский визит Каржавину. Посетил и нынче в доме у Кашина моста, близ Морского собора. А потом познакомился с американским консулом. (Если не ошибаюсь, тогда был аккредитован Левет Гаррис, человек в высшей степени любезный.)

Густав Хайнрикович ходил в консульство с докукой личной. Он службу закончил майором. Его наградили землей в Огайо и Пенсильвании, наградили и орденом. Заокеанские угодья не прельщали г-на Розенталя, а вот орденский знак он просил выслать в Ревель.

— Поверьте, — иронически улыбаясь, говорил Густав Хайнрикович, расположившись на палубе пакетбота, спускавшегося вниз по Неве, — поверьте, я спокойно отправился бы на тот свет и без ордена из Нового Света, там, в Америке, эдакие пустяки давно забыты. Но здесь, вы знаете, о-о-очень серьезный взгляд на ленты и кресты. К тому же ни у кого в России нет такого. А меня черт дернул сболтнуть, и теперь я могу прослыть хвастуном и вралем.

(Спешу отметить то, что узнал позже и не от него; отметить и тем самым подчеркнуть самостоятельность натуры г-на Розенталя: вернувшись в отечество, он бесстрашно заявил — отказываюсь от всех своих привилегий, пока независимое государство в Северной Америке не получит официального признания Российской империей.)

Постепенно разговор наш принял иное направление.

В ту пору реяло — Бонапарт, Бонапарт, Бонапарт: корсиканца провозгласили императором французов.

— А я считаю его негодяем, — энергически формулировал г-н Розенталь.

Можно было ожидать расхожего: Бонапарту следовало восстановить Бурбонов. Но нет, Густав Хайнрикович рассуждал так: Наполеон предал революцию; Наполеон — узурпатор, недостойный и каблука от сапога бессмертного Вашингтона.

— Ваш покорный слуга, — продолжал г-н Розенталь, — служил одно время адъютантом генерала Джэксона, потом генерала Ирвина, посему коротко знавал адъютантов главнокомандующего. Вся эта история с полковником Никола мне хорошо известна…

История с полковником заключалась в следующем. Он был рупором тех, кто якобы во имя революции предлагал

главнокомандующему корону: «Да здравствует Джордж Первый!» Меморандум полковника Никола излагал суть без обиняков, как говорится, с солдатской прямотой, в расчет не приняв только то, что народом владел республиканский дух, а главнокомандующим — республиканская идея.

Вашингтон ответил письмом; копию письма адъютанты удостоверили. Ответ гласил: ваше предложение отвратительно; оно чревато величайшими бедами для нашей родины.

Суровая отповедь генерала восхищала бывшего майора. Нельзя было не разделить его восхищение, хотя и нельзя было не понять, что виргинский плантатор — сторонник не демократической, а олигархической республики. Но отказ Вашингтона от единоличной власти вряд ли известен многим. Захват же Бонапартом единоличной власти известен всем. И вот что примечательно: Наполеон поныне в ореоле славы — магнетизм удачи и наглости?..

Пакетбот между тем подходил к Большому кронштадтскому рейду. Летнее солнце празднично освещало панораму Финского залива: лесистые берега, остров Котлин, движущиеся баркасы и шлюпки, корабли с убранными парусами.

Г-н Розенталь пересел на ревельскую шхуну. Жаль, не довелось погостить на его мызе Фелкс. Следовало бы записать рассказы бывшего Джона Роуза, ибо то, что вкратце излагается ниже со слов Каржавина, лишь толика пережитого Густавом Хайнриковичем.[29]

## *7*

Он клялся: легче было трижды подняться в атаку, нежели день протянуть на холмах Валли-Фордж. Что такое Валли-Фордж?

На холмах, занесенных снегами, сотни хижин, продутых насквозь. Тысячи голодных: ни муки, ни мяса, ни чая, ни сахара — бурда из коры и черных листьев. Тысячи разутых — на остром мерзлом снегу кровавые следы. Валли-Фордж — это дизентерия и чирьи, кашель, раздирающий грудь, — в госпитальных шалашах ни одеял, ни медикаментов. Валли-Фордж — это зимние квартиры континентальнай армии.

Но поступали ли грузы, отправленные торговым домом «Родриго Горталес»? Поступали и раньше и позже, но в ту страшную зиму — нет. Впрочем, однажды привезли обувь, однако парижские сапожники не угадали, каковы ноженьки американских пахарей, лесорубов, охотников. Не лезла, хоть плачь.

Тот, кто не был в Валли-Фордж, утверждал лейтенант Роуз, не подозревает, что такое страдание. И не сознает, что такое чудо.

Да, рядовые дезертировали сотнями: «Невмоготу! К дьяволу!» — и уходили домой, к голодным ребятишкам и женам. Да, десятки офицеров вложили в ножны свои шпаги: «Всему есть предел!» Да, назревал бунт: «Хлеба!» Угрюмая, глазастая, обросшая щетиной толпа накатила на штабной барак: «Требуем генерала Вашингтона!»

Изможденный, обметанный сединою, он молча смотрел на солдат. Они ждали, что он скажет. Он ничего не сказал. Его лицо стало мокрым от слез. Тогда сказали солдаты: генерал, мы хотим только, чтобы вы знали, каково нам достается. Он знал, его рацион был не жирнее.

И чудо свершилось: повеяли весенние ветры и призраки, вынесшие невыносимое, принялись готовиться к летней кампании.

— А теперь, мой друг, — заключил Джон Роуз, — вы почти в райских кущах.

И впрямь, нынешняя зимовка — начала семьдесят девятого года — отличалась от прошлогодней, Валли-Форджской. Роуз многое приписывал благодеяниям Франции.

Год уже, как Франция открыто выступила на стороне Штатов. Эскадра, плещущая белым королевским флагом, действовала в водах Вест-Индии. Экспедиционный корпус, блещущий белой униформой, дислоцировался на континенте. Правда, версальские политики отнюдь не рвались таскать для американцев каштаны из огня. Но, сказал Роуз, генерал Вашингтон признает, что Франция спасает нас своими поставками.

Вот это — спасает поставками — обрадовало Каржавина: Вашингтон, в сущности, отдавал должное усилиям Пьера Бомарше. И все же Неунывающий Теодор, в отличие от Джона Роуза, полагал благодеяния Франции недостаточными. Говорил: «Да, привезено немало шарлевильских и мобежских изделий. В храбрости ребят, нахлобучивших плошки,[30] я нимало не сомневаюсь. Однако никто и ничто не спасет американцев, ежели они сами себя не спасут».

Захваченный как шпион и, к счастью, реабилитированный не посмертно, Каржавин попал в отряд, находившийся в непосредственной близости английских аванпостов. И теперь уж Смуглая Бетси была для него не только символом революции.

Взглянув на боевые порядки континентальной армии, вы увидели бы и пенсильванские, и французские ружья, увидели бы и английские гладкоствольные мушкеты, вот эти-то и прозвали — Смуглая Бетси.

Патрик великодушно простил мистера Лами за то, что он — не шпион. Втроем они участвовали в вылазках: третьим был худенький солдатик, похожий на девицу и посему носивший имя Ненси. Стреляя по королевским гренадерам в высоких медвежьих шапках, Патрик рычал: «Будьте вы прокляты!» А Ненси звенел колокольчиком: «Да направит господь пулю сию…»

Стычки требовали храбрости. Каржавин различал храбрость и мужество. Первое — вспышка, второе — постоянный огонь. Он находил, что способен на храбрость. Но мужествен ли? Нет, не ручался. Другое дело, говорил Каржавин, Патрик, Ненси — все, кто прошел ад Валли-Фордж — пурпурные сердца! Не всегда на мундире или на куртке, но всегда в груди.[31]

Отвага зависела от сердца, но не зависела от цвета кожи. И тогда, и впоследствии Каржавин пылко подчеркивал доблесть «черноцветных». Его пылкость воспламеняла ненависть к тем виргинцам, которые спесиво разглагольствовали в таком вот духе: негры подлы, ибо услужливы, а услужливы потому, что подлы; натура рабская, а рабы никогда не станут солдатами, воюющими с деспотией…

— Скоты! — Каржавин ударял кулаком по столу. — Они платят белому солдату, а черному кукиш: получить, мол, после войны… Ни крупицы совести! Как не признавать заслуги черноцветного народа? Джек Сиссон и Сейлем Пур — стоили батальона. Добровольцы из Коннектикута — гроза! А при Идентоне? Не сыщись тот малый, ничего бы не выгорело. А проворство и неутомимость черных разведчиков? А как убирают часовых на аванпостах — молния![32]

## *8*

То ли еще на борту «Ле Жантий», то ли уже в зимнем армейском лагере Джон Роуз узнал о том, что Каржавин сведущ в медицине. Пришлось, засучив рукава, пособлять батальонному лекарю до приезда помощника, назначенного главным хирургом континентальной армии.

Вернусь ненадолго во Францию.

В парижском анатомическом театре Каржавину бывало нестрашнее, чем на театре военных действий. Несчастного пса распинали на широком столе. Пес выл. Профессор работал недрожащей рукой. Отсекал сердце, поднимал на ладони — смотрите! Трепет кровавого комочка отзывался тяжелой болью в левой скуле Теодора Лами — там, где ему, маленькому, ломали кость, пожизненно награждая серповидным шрамом.

Правду сказать, фармацевтика влекла куда больше хирургии.

В аптеку на улице де Граммон (рядом с русским посольством) он хаживал легким шагом.

О, храм фармацевтики: четыре фрески, мягко освещенные светом стрельчатых окон, аллегории четырех стихий — земли н воды, огня и воздуха. И две бронзовые фигуры — древнего грека весьма пожилого и древней гречанки совсем молодой: Асклепий, бог врачевания, и Гигиея, дщерь его. Дубовые шкафы и полки красного дерева уставлены посудой, утварью, давильными прессами — стекло, медь, мрамор. А в деревянном футляре с кружевным орнаментом — миниатюрные весы.

О, жрец фармацевтики Марсель Полиньяк: черная мантия, лиловая ермолка на седых, кольцами волосах. На указательном пальце — аметистовый перстень. Аметист протрезвляет пьяниц? Да ведь всей округе ведомо было, что господин провизор несгибаемый трезвенник. А может, жрец фармацевтики обнаружил и целительность аметиста от желудочных колик? Ведь мсье Полиньяк страдал желудочными коликами.

Стоп! Грех трунить над добряком, готовым помочь последнему бедняку, грех потешаться над учителем Теодора Лами. Мсье Полиньяк давал практические уроки. А книги не давал, то есть не позволял уносить домой. Потомственный аптекарь дорожил наследством предков — медицинскими словарями, травниками, диссертациями, среди них была и курьезная — Игнациуса Цинкера, автора замечательных открытий: мол, некоторые птицы врачуют пристальным взглядом своих круглых глаз, а некоторые, например индийские и шотландские утки, произрастают на деревьях.

Храня наследство, фармацевт поступал правильно. Да видать, старательно-любознательный ученик столь уж импонировал аптекарю, что тот изменил своему правилу — подарил Лами трактат Пьетро Кресченци. Теодор рассыпался в благодарностях, его библиофильская душа трепетала. Еще бы! Венецианское тиснение начала шестнадцатого века, великолепный переплет, экслибрис со щитами и львами, орлиными крыльями и герцогской короной — восхитительно! А сверх того, и пользительно: свод наблюдений — свойства овощей, растущих на огородах. Хрен редьки не слаще? Верно. Но жженый хрен заживляет раны, а редька натертая — язву. Свежетолченый хрен вроде горчичников, а соком редьки усмиришь кашель. Чеснок? Диоскорид, земляк Асклепия, приметил чудодействие чеснока при кишечных беспорядках. Морковным соком лечи гнойники и ожоги, сок свекольный победит воспаление легких…

Пометками, пометками, пометками испещрял наш

библиофил латинский текст. Книголюбы всплеснут руками: «Варвар!» А он готовился к дальним странствиям и сознавал необходимость готовности к помощи своим ближним. И на книгах, купленных в лавках улицы Сен-Жак, знакомой с юности, тоже чиркал перышком: «желтуха», «пиявница», «от каменной болезни», «перевозка больных», «морские сухари»…

Незадолго до отплытия «Ле Жантий» Каржавин приобрел влетевший в копеечку набор хирургических инструментов: ампутационная пила, троакар для пункции грудной и брюшной полости, трепан для «взлома» черепов, ланцет, пулевые щипцы, турникет, останавливающий кровотечения. На оружие огнестрельное и холодное, предназначенное для убийства и калечества, смотришь спокойно, любуясь чистотой, искусностью работы, ничуть не задумываясь, что оно, это вот огнестрельное, это холодное, может оборвать *твою* жизнь, изорвать *твою* плоть. На инструмент же хирургический, предназначенный для спасения, для вызволения, смотришь иначе: будто на себя «примеряешь» — и холодок по спине. Зловещее — огнестрельное и холодное — подло умалчивает о хрупкости нашего бытия. Милосердное, хирургическое, одним лишь острым блеском своим наводит на мысль о тонкой, легко рвущейся нити земного существования…

Батальонным лазаретом управлял Джонатан Маккензи. Доктор смахивал на матерого кабана. Казалось, вот-вот обнажит клыки. Спросил: «Уайзен знаком вам?»[33] Федор разозлился: уговорили сменить Смуглую Бетси на скальпель, и что же? — экзаменуют, как несмышленыша.

— Вы учились в Париже? — язвительно продолжал лекарь.

— Да, — отрезал Каржавин. — И что же?

Лекарь пожевал губами.

— Сударь, в вашем танцующем Париже медицина — это ворох предрассудков. А врачи трещат, любезничают и ни черта не смыслят. Да и вообще у вас там, в Париже, выставь обезьянью задницу напоказ — сбежится весь город.

— А у вас в Лондоне, — парировал Федор по принципу «сам дурак», — у вас в Лондоне какой-то пройдоха объявил: на глазах почтеннейшей публики влезу в бутылку. Рты разинули: «Неужели правда?» — и толпами, толпами.

Маккензи нисколько не был задет. Во-первых, он родился и до шестидесяти дожил здесь, в Пенсильвании. А во-вторых, существенная разница: парижане — любопытны, лондонцы — доверчивы. Каржавин рассмеялся:

— Если так, мне лондонцы милее.

Старик приложился к табакерке. Троекратный чих был

смачным, кабаньи глазки г-на Маккензи увлажнились. Английская хирургия, примирительно сказал он, недалеко ушла от французской. Цирюльников-то, вы знаете, давным-давно изгнали из корпорации, дозволив лишь зубы драть, но и те, кто в корпорации, — коновалы. Как и ваш покорный слуга, с беспощадной и вместе печальной самоиронией прибавил г-н Маккензи. Федор усомнился не столько из вежливости, сколько от прилива благорасположения…

На фронте царило затишье. Не тяжкое, молчаливо-скованное ожидание, какое бывает на пороге больших сражений, а дремотное, зимнее, как медвежья спячка. Но быстрые, как волчьи вылазки, сшибки происходили нередко.

На третий или четвертый день каржавинской госпитальной службы произошла — в нескольких милях от лагеря — очередная стычка. Часа полтора спустя до лазарета добрались офицер и солдат. Пожилой офицер был бледен, правой рукой он опирался на шпагу, левой полуобнимал солдата.

— Ах, дьявол, что это с вами, Роберт? — сокрушенно-сурово спросил батальонный лекарь.

— Было бы желательно, сэр, чтобы вы взглянули на мою голову, — едва слышно сказал раненый.

Его бережно усадили, сняли шапку, осторожно выстригли прядь седых волос. Маккензи, осмотрев черепное ранение, выпрямился.

— Ну, сэр, что там? — спросил офицер.

— Как ни прискорбно, Роберт, ваша рана смертельна.

— Гм! В самом деле? Ну, да я так и предполагал…

То был его последний вздох.

Старик Маккензи потянул Каржавина за рукав.

— Ужасны и смерть, и это мое лекарское отупение от смертей, — глухо молвил Маккензи.

Зимой было все же легче, чем в разгар лета.

Каржавин чувствовал себя новой метлой. Найдя, что Гигиен не шибко озабочена лазаретной гигиеной, он велел мыть и скоблить. Зимой легче, чем летом? Да, конечно. Однако обойтись ли лагерю без лагерной лихорадки, то бишь дизентерии? Без горячек, воспаления легких и прострелов, пусть не пулевых, однако мучительных? К тому же штаб армии распорядился начать оспопрививание. Короче, скучать не приходилось.

Не зная угомона и сознавая потребность в просветительстве, он учил сиделок азам фармацевтики.

Молли, негритянка, оказалась не только ловчее и аккуратнее товарок, но сообразительнее, памятливее. Раньше она работала на ферме. Фермерша овдовела, сыновья ушли в континентальную

армию. Как-то раз на ферму припожаловал английский эскадрон. Офицеры играли в кости и курили трубки. Капитан спросил хозяйку, много ли у нее детей, она ответила: «Девять. И семеро служат отечеству». Капитан криво усмехнулся: «Порядочно». Фермерша спокойно возразила: «Нет, сэр, теперь я желала бы, чтобы их было у меня пятьдесят». Молли это слышала. Когда англичан вышибли, она упросила хозяйку отпустить и ее, Молли, служить отечеству.

В фармацевтике она преуспевала, полагаю, еще и потому, что слыла в своей округе знахаркой. В те времена это еще не было синонимом надувательства.

Федор признавал:

— Родная мать так не выходила бы Ненси.

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ

## *1*

Пуля не разминулась с Ненси. Молоденький солдатик был ранен в предплечье. Доктора Маккензи на месте не оказалось, Каржавин надел кожаный фартук.

Молли вела себя странно: шепотом молила Каржавина не терять времени и мешала ему, прикрывая Ненси, как наседка цыпленка.

Каржавин взялся за инструменты, Молли, прикусив губу, отступила в сторону, Каржавин увидел раненого, обнаженного по пояс, и… оторопел. Вероятно, его оторопь продлилась бы, если бы не горячая укоризна Молли «Нечего глазеть, сэр!»

Так ему стала известна тайна Люси Семтер.

Ей было чуть за двадцать. Не сказку — ангел, черты не совсем правильные, да есть же, есть неправильность живая, неизъяснимо привлекательная. В канун революции Люси служила у богатого фермера близ Вильямсберга. Сверстницы, посещавшие школу, научили сироту грамоте. Книги на ферме, исключая Библию, не водились, фермер получал «Газетт»; виргинский листок Люси прочитывала от первой строки до последней. Она была очень любознательна, да и сам процесс чтения, все убыстрявшийся, доставлял ей удовольствие.

Восстание, война застали ее на ферме. Люси скопила двенадцать долларов. Половину оставила на дорогу, половину истратила на мужскую одежду. Куртку, штаны, белье, уложив в котомку, спрятала за околицей, в стогу сена. И однажды за полночь, замирая от страха быть схваченной, хотя никто, кажется, и не думал об этом, а дворовые собаки, ласково виляя хвостами, выражали явное желание сопровождать и охранять свою покровительницу, — однажды за полночь она улизнула с фермы, погруженной в сон.

Полторы недели спустя деревенский паренек-доброволец явился к командиру повстанческого отряда. Вступая, как говорится, под знамена, волонтеры подписывали контракт, обязуясь служить определенный срок. Люси подмахнула контракт на срок неопределенный — до конца войны. Бравада? Неосмотрительность? Легкомыслие? Порыв? Нет, другое — боязнь не выдержать, дрогнуть, попятиться. Она сжигала мосты, отрезая самой себе возможность возвращения на противоположный берег. Отступать некуда, Эдвин Джемс.[34]

Эдвин Джемс числился на бумаге. Солдаты окрестили его Ненси: ни дать ни взять девица — на щеках ни щетинки, из-за всякой малости заливается краской. (Коль скоро, «изобличив» Люси, Федор по-прежнему называл ее Ненси, пишущий эти строки последует примеру Каржавина.)

Походные невзгоды? Тяготы боевых будней? Да. Но еще и те, которые легко понять, вообразив женщину, денно-нощно находившуюся в солдатской гуще, не блистающей благонравием. К каким только ухищрениям, к каким только уловкам ни прибегала бедняжка, скрывая свою принадлежность к слабому полу. А теперь, когда мистер Лами ненароком открыл ее тайну, она ужасалась, она сгорала от стыда: господи, что, если это станет общим достоянием?

Хотя Каржавин и хранил тайну, Ненси решила испросить отпуск по ранению, съездить на родину, а потом примкнуть к какой-нибудь другой воинской части.

К любой, лишь бы ни одна душа не знала Эдвина Джемса.

Туда же, в Виргинию, Каржавина призывали заботы торгового дома «Родриго Горталес и К0». Удерживало отсутствие штатного помощника г-на Маккензи. Приезд этого лекарского помощника освободил Каржавина.

Расставание опечалило г-на Маккензи. Старик оказался привязчив. Нет, сказал он, не отрекаюсь от своего отношения к французской хирургии (усмехнулся: и к английской тоже), зато фармацевтику отныне признаю. Мистер Лами отвечал похвалами искусности мистера Маккензи. То не было галантностью, хвалил искрение. Прощаясь, старик ворчливо наставлял:

— Постарайтесь объяснить тыловым джентльменам — пусть поменьше болтают и побольше радеют о наших нуждах.

Они отправились вдвоем, Федор и Ненси.

Когда, охотясь за вражескими лазутчиками, Патрик и Ненси задержали Каржавина, она не пленилась пленником, а просто пожалела замерзшего, ослепшего, разнесчастного. Теперь, когда мистер Лами и не выдал, и оказывал ей повышенное внимание, Ненси была тронута, благодарна, доверчива. Дорожные обстоятельства способствовали их близости. Любовь, читатель, любовь.

## *2*

В таверне Рейли он не живописал ни злоключений дорожных, ни приключений военных. А во флигеле колледжа Уильяма и Мэри, где ему радовались Карло Беллини и учитель Джефферсона

профессор Уайз, Каржавин, словно бы собрав в пучок свои впечатления, удивил слушателей рассуждениями, каких, сдается, никто еще не высказывал ни в Старом, ни в Новом Свете.

Рассуждал он о сходстве России и Америки, русских и американцев. И мы и вы народ молодой; и у нас и у вас население несоразмерно пространству; и у нас и у вас разнообразие естественных условий обитания; и мы и вы чреваты революцией: Россия белых рабов, Америка — черных; без освобождения крепостных России не видать процветания; Штатам без свободы негров не видать справедливости.[35]

Забегая вперед, сообщаю прожект, возникший в профессорском доме: г-ну Каржавину следует променять Вильямсберг на Петербург. В некотором смысле это означало уподобление Бенджамину Франклину. Тот представлял Штаты во Французском королевстве; Каржавин представил бы Штаты в Российской империи.

Он увидел себя в Зимнем. Жужжала толпа сановников. Не снимая шляпы, ибо он объявил себя квакером, а квакеры ни перед кем не ломают шапку, вот так, в шляпе, он предстал перед императрицей — посол республики! Республики, возвестившей свое рождение громом пушек, блеском сабель. Каково?!

Сей прожект обсуждался только во флигеле колледжа Уильяма и Мэри. До конгресса дело не дошло. Но все это позже. А теперь не верительные грамоты на уме — Гудрич нагрянул, Джон Гудрич.

## *3*

Бенджамин Франклин посмеивался над некоторыми описаниями войны за независимость: если такого-то английского генерала переименовать в Гектора, а такого-то американского генерала — в Ахиллеса, выйдет точь-в-точь Троянская война.

Над реальностью не посмеешься.

Стратегия британского главнокомандующего заключалась в том, чтобы перенести центр тяжести боевых действий в южные штаты. Сэр Генри Клинтон захватил Саванну — портовые ворота, распахнутые в сторону Вест-Индии, в сторону Европы. Отборные полки гнал в Джорджию, морем гнал. Оккупировав Джорджию, англичане торжествовали: «Первая звезда сорвана с мятежного флага конгресса». Оттуда, из Джорджии, красные мундиры, продвигаясь по Южной и Северной Каролине, намеревались прижать Виргинию. А на Западе войска сэра Генри должны были действовать совместно с индейцами.

Нет, не Троянская воина начиналась, а крестьянская. В феврале семьдесят девятого виргинские ополченцы, высоко поднимая над головой ружья, форсировали ледяную жижу обширных трясин, совершив победный марш-бросок. Увы, летом британский десант овладел берегами Чезапикского залива.

И вот появился Джон Гудрич. Вряд ли сэр Генри возлагал большие надежды на этот отряд. Однако Гудрич свирепо бесчинствовал в Виргинии.

Ее защитникам приходилось худо. Оружие? Вильямсбергский арсенал опустел. Продовольствие? Торговцы вступали в тайные сделки с врагом — англичане платили золотом. Твердой валюты не было — табачный экспорт упал едва ли не до ноля. И не было товаров — импорт не поступал.

Губернатор Виргинии Джефферсон выбивался из сил. В его поместье цвели розы, шипы без роз язвили губернатора. Худощавый джентльмен привык по утрам обливаться холодной водой, события опрокидывали на него ушаты с кипятком. Вечерами он любил музицировать, но скрипка лежала, как в обмороке, она не выносила ружейной пальбы. Занимаясь прежде юридической практикой, Джефферсон говорил: «Удивительно, как много можно сделать, если работать постоянно». Теперь он знал, что ничего не сделаешь без минитменов с мушкетами в заскорузлых руках и нашивкой «Свобода или Смерть!» на пропотевших рубахах.

Минитменами называли бойцов минутной готовности.

Ружья заряжены, кони оседланы, в ранцах суточный рацион, у дверей несколько пар мокасин. Рожок иль труба издадут лишь первые такты известной тогда и в английской, и в американской армиях песенки «Мир перевернулся вверх тормашками» — и они уж во весь опор… О минитменах Каржавин говорил то же, что и о филадельфийских ремесленниках: «Славный, славный народ!»

Итак, здесь, в Виргинии, открывался театр военных действий. Хотелось бы восстановить его картины на основе быстролетных заметок. Увы, тетрадка погибла. Погибла в октябре 1780-го, иа Мартинике, в тот апокалипсический день, когда был разрушен Сен-Пьер.

Знатоки скажут: уцелел дневник Каржавина, уцелела его биографическая записка, адресованная российской Коллегии иностранных дел. Однако позвольте «поставить на вид» — дневники не всегда отражают самое существенное, как и записки, поданные начальству после возвращения из бунтующей Америки в богоспасаемую Россию.

Каржавин держался раз избранного курса: занимался коммерцией, и только коммерцией. Так и сообщал — когда, мол,

англичане напали на Виргинию, помогал французскому купцу Венелю прятать товар в дальних лесах; а потом, когда англичане ушли, развозил мелочной товар этого самого Венеля, не забывая и о своей выгоде. Для пущей убедительности присовокупил, что нажил около трех тысяч бумажными деньгами, каковые и в Россию вывез, «яко монумент общего банкрутства американского неосновательного и безвластного правления».

И Венель был, и товар был, и «банкрутство» было, а только и другое было. Опять на уме иронически-верное замечание Бенджамина Франклина: трое могут сохранить секрет, если двое помрут. Хранителем секретов остался ваш покорный слуга. Уверяю, не в одной лишь записке, адресованной начальству, а и в дневнике своем о многом умолчал Федор Васильевич. Постараюсь восстановить некоторые эпизоды.

В официальной записке, поданной в коллегию, Каржавин не лгал — он действительно эвакуировал из Вильямсберга товары французского купца Венеля. Вот только «забыл» упомянуть ассортимент.

Венель тоже был связан с торговым домом «Родриго Горгалес»; мсье Лами, таким образом, состоял как бы его компаньоном. (Правда, Венель вел и самостоятельную негоциацию, но она мало занимала Каржавина.) Этот Венель ужасно трусил: головорезы Гудрича с особенным рвением преследовали французов. Изловив, вешали или рубили саблями. Мсье Лами отнюдь не оставался равнодушен к таковой перспективе. Но если Венеля заботила личная безопасность, то наш Теодор хлопотал о надежном укрытии товаров для континентальной армии.

Семерых минитменов назначили в помощь ему, восьмым была Ненси, назначившая сама себя. И вот этот отряд двигался в глубь Виргинии.

Великие леса простирались некогда от побережья океана до Миссисипи. Приспел срок — ударил топор колонистов. Стучал, брызгая белой щепою, стучал без устали, рать за ратью ложились боры, знаменуя отступление первозданных лесов перед неотвратимым натиском плантаций.

Но чем дальше на запад, тем реже и реже попадались фермы, тем вольнее вставал могучий виргинский сосняк, веселее шумели дубравы. В сырых лугах с высоким травостоем быстрой волнистой чертою означалось движение змей, прозванных мокасиновыми — треугольная голова и вправду смахивала на «род кожаных лаптей», как Пушкин определял индейскую обувку. Бросок гремучки еще можно извинить: либо защитный, либо так, с испугу. А вот уж эта, мокасиновая, кидалась в атаку, ничем не

спровоцированную.

О москитах лучше, чем по-русски, не скажешь: гнус! Минитмены уверяли — табуны лошадей, обезумев от москитов, мчатся сломя голову невесть куда. Москиты мучили Каржавина, как и всех нас. Но мы страдали, а Федор, страдая, и сострадал — сражался с каждым москитом, посмевшим коснуться Ненси.

«Вот она кто!» — улыбался Федор, срывая цветок, европейцам тогда неведомый: ромашку.

## *4*

В тот год, когда Каржавина осеняли виргинские леса, Новиков взялся за редакторский гуж. И оказался дюж: до него «Московские ведомости» имели не более шестисот подписчиков, при нем — четыре с половиною тысячи.

«Санкт-Петербургские ведомости» тоже писали об «отложении» колоний от Великобритании, однако холодно — подмораживала близость Зимнего. А ведомости московские, ловко пользуясь антианглийскими настроениями Екатерины, держали руку бунтовщиков. Ход военных действий прослеживали в подробностях. Неудачам восставших сочувствовали. Вашингтоном восхищались.

Восхищение генералом континентальной армии не застило от поручика русской армии нечто весьма существенное: Новиков размышлял о предводителях народных восстаний. Эти размышления располагались на трех позициях. Когда предводитель не оживлен таким же духом, что и народ, тогда одни цепи меняют на другие цепи. Когда предводитель своекорыстен, народ «скучает смятением» и восстание угасает. Но если предводитель и народ «воспламенены теми же страстями», тогда нация «соделывает совершенную перемену».

Заокеанские «перемены» Новиков считал достославными для *всего* человечества. Отсутствие «перемен» печальным — тоже для всего человечества. Рабство черных оставалось, истребление краснокожих продолжалось.

Каржавин видывал тех, кто был для европейцев инородцами. Незачем скрывать, индейцы внушали ему страх. Чужие счета охота ль оплачивать?

А счета копились издавна.

Первые поселенцы как пить дать перемерли бы — туземцы выручили. Научили выращивать кукурузу и помидоры, подсечкой лес валить, а сушняк выжигать, торить тропы и сооружать каноэ. Благодарность не замедлила: создатель, сказали белые, велит нам

распахать индейские угодья; хороший индеец, сказали белые, — это мертвый индеец.

Кровь призывает кровь. Индейцы нападали и поджигали, убивали и похищали, губили фермы, посевы, скот. Союзно смыкались против общего врага. И размыкались враждебно, желая воли лишь своему племени.

Позднее (уже в Петербурге) Каржавин говорил:

— Долго старался я увидеть *диких* людей. И что же? Видел тех, кто живет не так, как европейцы, дураков видел и разумных. Но везде нашел *человека*, а *дикого* нигде.

Но ведь счет, открытый на заре колонизации, оставался незакрытым. К тому же индейцы из племени шауни держали сторону англичан. У Каржавина, повторяю, не было охоты встречаться с шауни. Не потому только, что его могли подстрелить, а и потому, что он сам не хотел стрелять.

Британская хватка известна. В начале войны эмиссары британского командования пригласили под знамена негров-рабов. Индейцев же манили они не посулами будущей свободы, а напоминанием о свободе былой, козыряя королевским указом семьсот шестьдесят третьего года. Указ горой вставал за индейцев, запрещая белым переваливать Аллеганские горы. Что за притча? Нехитрая! Индейцы добывали пушнину; на пушнине грели руки лондонские купцы; и они и индейцы нуждались в охотничьих угодьях. А колонисты-плантаторы распространялись все дальше на запад. Как было индейцам-охотникам не податься на сторону бледнолицего защитника от бледнолицых?

Агентов королевской армии усаживали в шалашах на почетное место — между очагом и задней стенкой. Агенты поставляли ружья, порох, свинец. Будучи поставщиками, были и вербовщиками: воины-индейцы котировались высоко[36].

Все это Каржавин знал. Говорил; «Первым не выстрелю». Но, черт дери, стрелять вторым совсем не то, что смеяться последним.

## *5*

Портиджи, проклятые портиджи, из сил выбивался отряд минитменов. Прелестное зрелище: пороги и каскады, плеск-переплеск, брызги и пена. А людям ломовая работа, не залюбуешься на портиджи-волоки! Вначале встречались часто, каждые пятнадцать, двадцать миль. Приходилось разгружать каноэ, тащить каноэ и груз, опять нагружать.

Потом волоки пошли миль через пятьдесят, шестьдесят.

Каржавин постепенно избавлялся от «товаров купца Венеля», то есть припрятывал оружие и боевые припасы в надежных местах, у надежных людей. Оставалось достичь блокгауза Моэма, и шабаш.

Накануне последнего перехода встали биваком в устье Оленьего ручья. Вечер был тишайший, вызвездило чисто, даже москиты, казалось, умерили свою гнусную беспощадность. И минитмены, и Ненси с Каржавиным — все, как это нередко случается в одном переходе до конечного пункта, были настроены если и не совсем беспечно, то все же не столь напряженно-бдительно.

Обыкновенно, располагаясь на ночлеги, Каржавин наряжал двух караульных. В тот раз ограничился одним. А Дик возьми да и прикорни — и уморился, и общее благодушие сказалось, заклевал носом. Костер угас.

Очнулись связанными. Светила полная луна. Индейцы стояли, опираясь на ружья. Сколько их было, в точности не скажу. Чудились толпы — такие у страха глаза.

Индейцы жестом приказали пленникам следовать за ними. Нелепо припрыгивая, минитмены двинулись в путь. Никто не

произносил ни звука. Не ошибусь, полагая, что Федор теперь вряд ли повторил бы свою благородную сентенцию: «Первым не выстрелю». Впрочем, это уже не имело никакого значения, ни принципиального, ни практического.

Начинало светать. Роса пала обильная, все вымокли выше пояса. Поднявшись на пологий холм, пленники увидели стойбище. Дети и женщины высыпали из хижин. Воины разомкнули круг — на поляну вышел, прихрамывая, тощий, жилистый индеец; орлиные перья колыхались над челом — аттестат боевых подвигов. Его звали Голубая Куртка. Он пристально оглядывал минитменов. Его взгляд задержался на Ненси… Он отдал какое-то приказание. Воины освободили Ненси от пут, и она пошла за вождем в хижину.

Но все кончилось хорошо. Пленных отпустили. Объясняю внезапность благополучной развязки.

Незадолго до революции в вильямсбергской тюрьме томились шауни, схваченные виргинскими милиционерами. По словам Ненси, кто-то из плантаторов намеревался променять пленников на своего мальчонку, похищенного индейцами.[37]

Узникам предлагали свободу при условии возвращения сына плантатора. Они отказывались, не будучи уверенными в том, что сумеют сдержать слово. Глубокой осенью арестанты бежали. Стражники пустились в погоню: дикари далеко не уйдут — прикованы одной цепью за руку. И точно, вскоре в ближнем лесу грянули карабины. Однако «хороших индейцев», то есть мертвых, не обнаружили, не нашли.

Недели две спустя шауни окликнули деревенскую девушку, сгибавшуюся под вязанкой хвороста. Первым порывом Ненси было засверкать пятками. Но индейцы едва дышали; к тому же один из них, кожа да кости, беспомощно опирался на товарища. Жалость охватила Ненси, она жестом показала: ждите здесь… Воротившись, не нашла шауни и оставила провизию под деревом. С того дня Ненси аккуратно подкармливала своих нежданных-негаданных нахлебников, и беглецы, доверившись Ненси, перестали хорониться от нее… Уже ложились снега. Ненси притащила одеяла. Потом принесла лыжи. Индейца, раненного в ногу, звали Голубая Куртка…

Все это Ненси рассказала на дневке. Прекрасно! Но что же происходило в хижине вождя? Участь Ненси была решена единодушно: либо остается с нами, шауни, либо уходит, ее воля. Участь белых… Большинство полагало, что хороший белый — это мертвый белый. Голубая Куртка, не оспаривая правила, настаивал на исключении в знак признательности Ненси. С ним наконец согласились…

Неунывающий Теодор вновь сделался неунывающим. Больше того, смеялся, посвистывал, и даже напоминание об утрате боевого груза, захваченного индейцами, отразилось на его физиономии лишь мимолетно-хмурым изломом бровей. С легкостью изгнал он мысль о том, что это позорное происшествие вызовет бурное негодование защитников блокгауза Моэма.

Блокгауз? Звучит внушительно, как и прочие фортификационные термины, а по-виргински — всего-навсего ферма, обнесенная бревенчатыми стенами. Ее хозяин, Девид Моэм, был кряжистым мужиком лет сорока — нос картофелиной, глазки медвежьи, походка увалистая. Он встретил пришельцев радушно, но, приметив, что они без оружия, насупился. Благородство Голубой Куртки, подчеркнутое Каржавиным, ничуть не утешило фермера, а утрата боеприпасов привела его в ярость. Гнев дядюшки Моэма разделяло «народонаселение»: трое женатых сыновей и те семейные или еще холостые парни, что по найму крестьянствовали наравне с хозяином и столовались с ним за одним столом; были тут и окрестные фермеры-погорельцы, разоренные англо-индейскими отрядами, в том числе и Голубой Курткой со своими шауни.

Худенькая миссис Моэм, привычная к соленым выражениям мистера Моэма, попыталась избавить от них Ненси. Но муженек гаркнул: «Прочь, старуха!» Каржавин сознавал правоту фермера, да ведь всему, как говорится, есть предел. Он взорвался, багровея пиратским шрамом и потрясая кулаками, и это возымело совершенно неожиданное действие: дядюшка Моэм расхохотался.

Потом предложил контракт, делающий честь американской рачительности: вы, ребята, пособите по хозяйству, зима-то близится, а там поглядим. Предложение было принято радостно — вроде бы некое искупление. А заодно и аванс в счет оружия, которое минитмены надеялись получить в блокгаузе.

Они его получили раньше, чем ожидали.

Едва рассвело, примчался всадник:

— Англичане!

Защитники блокгауза изготовились к отпору. Проверив посты, Девид Моэм совершил передислокацию, опять-таки делающую честь его деловитости. Невозмутимый, как разводящий, он поочередно вооружил пришлых минитменов мушкетами своих сыновей и своих работников, коих перевел таким маневром в резерв. Резервисты не роптали, вероятно потому, что не считали насущной необходимостью лишний раз подставлять свой лоб пуле. А «мобилизованные» сперва обрадовались избавлению от унизительной роли балласта, но тотчас оскорбились — черт дери, мистер Моэм распорядился

нами, будто пушечным мясом. Однако повиновались. Ненси возвысила было голос, требуя Смуглую Бетси, но командир блокгауза ответил коротко и веско:

— Заткнись! Ступай в дом.

Грубость дядюшки Моэма не задела Каржавина.

— Ненси, — ласково сказал он, — послушание — первая доблесть солдата.

Западная стена блокгауза смотрела на Олений ручей; широкий и глубокий поток не способствовал легкому форсированию. С востока, юга и севера простирались пашни и луга, окаймленные лесом, — открытое пространство не способствовало легкому штурму.

Тонко и резко прозвучала армейская труба, неприятель показался из лесу; красные мундиры и краснокожие. Союзничество предполагает любезность к союзнику, и англичане пустили индейцев впереди себя. Шауни двигались рассыпным строем, быстрыми перебежками; англичане сомкнутыми шеренгами.

Неприятель наступал без выстрела — велика дистанция. Защитники блокгауза тоже молчали — дефицит боевых припасов. В тишине слышался одинокий, пронзительный вскрик какой-то птицы.

Союзный отряд шел от восточной кромки леса. Утреннее солнце, пригревая затылки наступающих, слепило обороняющихся, вселяя странное, тревожно-гнетущее и вроде бы прежде не испытанное чувство.

Молчаливое сближение взвинчивает нервы. Но у тех, думаю, кто движется, не в такой степени, как у тех, кто недвижим. Эти подавлены тягостной скованностью. На корабле подобное ощущение не возникает, хотя и там находишься на одном месте, да ведь корабль-то, завязывая сражение, маневрирует и тем самым как бы слизывает с тебя гнет неподвижной мишени.

Расстояние сокращалось. На высоком шесте, торчавшем посреди блокгауза, взвился звездно-полосатый флаг. Тотчас затрещали выстрелы, остро пахнуло порохом.

Дружные залпы обороняющихся не срезали наступление. Индейцы по-прежнему шли впереди. Кто знает, не был ли среди них Голубая Куртка? Пусть меня повесят, если Федор не вспомнил сентябрьскую ночь, водоворот у баженовского Модельного дома, свое замешательство — ужель стрелять в простолюдинов? Тогда судьба миловала. А теперь? Словно бы в ответ на немой вопрос, индейцы осыпали блокгауз свинцовым градом.

Первым рухнул Дик Дарра. Тот самый чернявый малый,

который, прикорнув в устье Оленьего ручья, стал причиной позорного плена минитменов. О, еще вчера все почем зря кляли Дика, но вот он опрокинулся навзничь — и общий порыв прощения смешался о общим порывом отмщения. Никто и не заметил, как Ненси подхватила Смуглую Бетси, выпавшую из рук бедного Дика.

Индейцы неслись на блокгауз, вопя и взвизгивая, защитники блокгауза вряд ли остались бы нечувствительны к шумовым эффектам шауни, если бы не ярость самозащиты.

Пороховой дым не рассеивался в безветрии, в мороке клубилась схватка.

Сейчас, вооруженный не мушкетом, а шариковой ручкой с черным стержнем, не испытываешь радости одоления врага, а разделяешь отчаяние Каржавина: Ненси, Ненси…

Убитых похоронили иа опушке, рядом с бревенчатой часовенкой. Пуританской, одинокой под таким огромным, медленно темнеющим небом. Похоронили, стали расходиться. Федор не двигался. Дядюшка Моэм обнял его за плечи. Федор, казалось, ничего не чувствовал, ничего не замечал. Дядюшка Моэм тяжело вздохнул и побрел домой.

Федор сел на ступеньку часовни.

# ГЛАВА ВОСЬМАЯ

## *1*

Ветер Чезапикского залива пахнет болотной прелью. В последний раз на этом ветру шелестят британские знамена. В последний раз виргинское солнце, проницая низкие, осенние тучи, тускло отсвечивает на вражеских штыках. Мрачны англичане в красных мундирах, угрюмы гессенцы в мундирах зеленых. Они уходят из Йорктауна, шлепают по грязной дороге. А по сторонам дороги, искалеченной лафетными колесами, — шеренги победителей, справа американцы, слева французы. Мир перевернулся вверх тормашками — капитулируют полки королевской армии. В поле с жухлой травой и лысыми кочками они позорно сложат оружие… Но что это? Генерал О'Хара устремляется туда, где бьет копытом белый конь командира французского экспедиционного корпуса. У генерала О'Хара подрагивает щека. Еще мгновение, одно лишь мгновение, и он успеет… Да, он капитулирует, но не перед проклятой чернью, а перед высшим офицером, который тоже присягал королю. Пусть не Георгу, а Людовику, но королю, королю! И генерал держит влево, будто не примечая всадника на буланом жеребце, изогнувшем шею… «Вы ошибаетесь, сэр, — произносит чей-то громкий, насмешливый голос. — Вы ошибаетесь, наш главнокомандующий генерал Вашингтон находится на правой стороне»… Все это произойдет осенью будущего года. А сейчас на дворе — январь 1780-го. Обидно! Судьба не дала Каржавину воочию увидеть то, к чему стремились все его помыслы, все душевные силы; то, что представлялось торжеством свободы над несвободою, добра над злом, справедливости над несправедливостью — капитуляцию неприятеля…

Да, январь восьмидесятого на дворе, холодом несет с берегов залива. Фрегат «Фандан» отправляется на Мартинику.

Командовал фрегатом де Водрейль. На свете немало маркизов, пожалуй даже излишек, но он был хорошим маркизом, ибо принадлежал к истым морякам. В минувших сражениях экипаж де Водрейля понес чувствительный урон. На борту находилось двести с лишним тяжелораненых и больных. Каржавин не замедлил своей помощью сбившемуся с ног судовому лекарю, представителю той школы медицины, над которой иронизировал старик Маккензи.

Капитан де Водрейль гнал фрегат к берегам Мартиники —

спешил пополнить экипаж матросами французской эскадры, оперирующей в Вост-Индии, а больными и ранеными пополнить береговой госпиталь, развернутый в Сен-Пьере.

С часу на час можно было встретить кого-либо из своих и приветствовать, как гладиатора, идущего навстречу судьбе. Приветствовать первым, ибо тот, кто приходит, пусть израненным, пусть измученным, тот счастливее уходящего. Нет, такой встречи не было. Была другая, чреватая быстрым и азартным пиршеством молниеносной стаи акул.

А накануне ночь-то выдалась — ах, мадригал, элегия, пастораль! Ее предварил долгий закат, сперва рдеющий пурпуром, потом фиолетовый с промоинами малахитового оттенка. А ночь опустилась лиловая, в лиловом реял, потрескивая, белый флаг фрегата.

Восход изукрасился перьями розовых облаков. «Фандан» шел правым галсом. И вдруг с наветренной сторож мы четко, как черта рокового итога, означилась британская эскадра. Горн на «Фандане» сыграл боевую тревогу.

Провалиться на этом месте, если кто-нибудь воспылал жаждой батальных лавров, не исключая и храбреца де Водрейля. Испустить дух в двух шагах от безопасной якорной стоянки — это ж, ей-богу, все равно что раскроить череп, споткнувшись о порог собственного дома.

Чудес не бывает? Проскочили!

Уже возникла Мартиника, уже различалась циклопическая кладка берегового форта, когда громовой раскат сотряс наш корабль. Опять британцы! Девятка кораблей изрыгала ядерный подарок короля Георга. Но капитан явил искусство маневра. Маркизу позавидовали бы не только наставники Брестской морской академии, нет, даже сам Пол Джонс.

И сызнова проскочили невредимыми. Однако урок был преподан, на «Фандане» не ликовали, хотя, казалось бы, вот она, спасительная бухта, вот он, отец родной, массивный форт.

Схоласты спорят, сколько чертей усядется на кончике стальной иголки. Схоласты не спорили бы, взглянув на верхушку грот-мачты, где раскачивались, препираясь, ангел-хранитель и дьявол-погубитель. Ангел дважды одержал верх, однако дьявол не сдался, и вот нежданно-негаданно отец родной, форт береговой, открыл ураганный огонь. Идиоты, они приняли «Фандан» за вражеский корабль, ну и палили почем зря.

Что же спасло? Почему ушел «Фандан», а вместе с ним и Неунывающий Теодор? О тропическая нега! О соблазны Мартиники! Изнуряться в учениях, на практических стрельбах? Увольте. И вот вам результат: ядра, посланные береговой

артиллерией, все до единого ложились с перелетом.

В три пополудни «Фандан» встал на якорь.

## *2*

Не развернуть ли карты вест-индского театра военных действий? Толкуя о движениях эскадр, замыслах и промахах флагманов, соотношении орудийных стволов и веса бортового залпа, рассуждая о столь важных предметах, ощущаешь себя причастным к мужественным военно-морским доктринам.

Но ограничусь эскизом. Он необходим хотя бы потому, что Каржавин постарался объять мысленным взором вест-индский морской театр, где декорации не переменялись, зато бурные действия вывели бы из апатии даже вислоухого чурбана.

Там противоборствовали эскадры примерно равносильные. И адмиралы, не уступающие друг другу ни желанием славы, ни решительностью. Французы располагали преимуществом: они отдавали пальму первенства своим вест-индским интересам, а не интересам борьбы на континенте. Англичанам приходилось не упускать из виду и вест-индские острова, и американские берега. К тому же летом семьдесят девятого в войну вступило испанское королевство.

Карл III, так же как Людовик XVI, тайком субсидировал г-на Дюрана, то есть Пьера Бомарше, его торговый дом в парижском квартале Марэ. Поражение англичан было бы испанцам сладко, если бы не примешивалась горечь: победа колонистов, восставших против законного монарха, такая победа, резонно полагали в Мадриде, непременно отзовется в собственных владениях. И посему, ссужая золотом конгресс, отвергай независимость Соединенных Штатов. Но, как бы ни было, присутствие испанской эскадры в антильских водах чувствительно огорчало британское командование — надо не боксировать, а драться растопыренными пальцами.

А тут еще эти буканьеры, эти копченые.[38] Они плавали под любым флагом или вовсе без флага. Нейтралы! Нейтральность не мешала копченым грабить и французов, и англичан, и испанцев. Буканьеры ходили на шхунах с длиннющими мачтами, назывались те шхуны балау; ходили и на узких, востроносых бригах, внезапно появляясь и внезапно исчезая. Завяжи буканьеру глаза, он исхитрится миновать рифы. Привяжи буканьера к мачте, он поставит паруса. Надень на буканьера цепи, перегрызет зубами. Ватаги копченых охотились за всеми; все охотились за ватагами буканьеров. Они пользовались покровительством

французов, если обещали подставить ножку англичанам, и пользовались покровительством англичан, если обещали насолить французам или испанцам.

Таковы обстоятельства, возникавшие пред Каржавиным в пестрых подробностях живого общения: на рейде Сен-Пьера высился «Гордый Родриго».

Его слава была свежа. Еще не развеялся пороховой дым, еще не остыли пушки, раскалившиеся в дуэли с англичанами, когда адмирал д'Эстен отписал в Париж Бомарше: «Сударь, у меня есть лишь минута, чтобы сообщить Вам о том, что „Гордый Родриго“ хорошо справился со своей боевой задачей… Я безотлагательно отправлю в министерство все необходимые бумаги и надеюсь, что Вы поможете мне добиться тех наград, которые Ваш флот так доблестно заслужил».

«Ваш флот»! Сказано громко, но «доблестно заслужил» сказано точно. Больше дюжины боевых кораблей снарядила фирма «Родриго Горталес». Они эскортировали торговые суда. Эскортируя, не робели прямых столкновений с противником. Так было и у острова Гренада. А теперь здесь, на Мартинике, в главной базе французского флота, вился флаг Бомарше, высился «Гордый Родриго», и впервые после гибели Ненси глаза Федора блеснули молодо…

Он оставался интендантом революции. Чистотой не сверкает репутация интендантской службы. «Братцев-интендантцев» традиционно клеймят лихоимцами, казнокрадами и т. д. Не утверждая, будто всегда не так, утверждаю, что не всегда так. Знавал и честных и нечестных, всяких и разных, как, впрочем, и в иных отраслях человеческой практики на грешной земле. Что же до мсье Лами, нет, полагаю, нужды уверять любезных читателей — не раздобрел он в Америке, не нажил ни палат каменных, ни кубышки.

Федор нанял комнату в верхнем этаже знакомой «Бургундии». Цена кусалась. Надо было искать пристанище подешевле. И снискивать хлеб. Снискав, приводить в порядок записки об «американских провинциях». Федор не хвастал: он осматривал их российскими, то есть острыми и примечающими, глазами. Не хвастал, нет, однако сознавал — «осмотр» не завершился. В том смысл был не географический, а политический. Многое еще следовало разглядеть «примечающим глазом» человека, замыслившего трактат о революции в Америке. Не столько о причинах ее, сколько о том, как бунт вырастает в мятеж, мятеж — в переворот, а в заключение рассмотреть последствия.

Повидаться с ним приехал из имения г-на Попена старик Блондель. Рыжий Франсуа сильно сдал. Он не обманывался и не

обманывал: дни сочтены. И если старый враг монархов о чем-либо сожалел, то лишь о том, что так и не посетил героическую страну. Он желал бы, чтобы эта земля приняла его прах. Последнее же, что произнесет он коснеющим языком, будет призыв к народу Франции: свергни Бурбонов, провозгласи Декларацию, подобную филадельфийской, учреди республику и сохрани ее от посягательств хитрецов-негодяев, тех, что норовят за спиной народа ухватить рычаги власти.

Блондель рекомендовал Каржавина аптекарю г-ну Дюпорту: мой друг учился фармацевтике в Париже, практиковал в армии Вашингтона. Провизор — длинное, блеклое лицо выражало неизбывную ипохондрию — кисло осведомился, у кого же именно обучался мсье Лами в Париже. Услышав: «Марсель Полиньяк, улица де Граммон», слабо шевельнул губами, это не было улыбкой, но все же было подобием улыбки: достопочтенный учитель мсье Лами приходится ему, Дюпорту, двоюродным братом.

Приятнее было бы иметь дело с господином не столь погребально-мрачным, но приходилось довольствоваться тем, кто был в наличии. Надо, впрочем, несколько снизить уровень ипохондрии г-на Дюпорта. Провизор недурно ужился с помощником. (Потому и ужился, что Каржавин скрытно-юмористически снисходил к болезненно-угнетенному состоянию его духа, пропуская мимо ушей желчные нарекания на весь род людской.) Поговаривая о возвращении во Францию, хотя и там, конечно, мерзавец погоняет вором, а вор мерзавцем, фармацевт сулил передать свою аптеку Федору.

Комната была меблированной, окнами в сад. Багаж Каржавина состоял из сундучка с бельем и хирургическим инструментом да плетеной корзины (деревенский подарок Ненси), набитой рукописями. Бедняк спит спокойно. Припожалуют воры, он, если проснется, повторит, зевая, меланхолический вопрос некоего философа: «Господа, чего это вы ищете впотьмах? Я и при свете дня ничего здесь не нахожу».

Старик Блондель прислал картонку с книгами. То не были сочинения Вольтера или Гельвеция, давно читанные. То были памфлеты Гудара и Лабомеля, адресованные хижинам, а не дворцам. Каржавин определял кратко: «Просвещение ради возмущения».

Невозможность высказаться публично — несчастье? Да, но все же меньшее, нежели невозможность высказаться на бумаге. О первом Каржавин еще не помышлял. Второе уже осуществлял. Он писал трактат по содержанию политический; по форме писал он книгу странствий. Рассмотрев события континентальные,

намеревался рассмотреть вест-индские.

Но, право, незачем скрывать и минуты уныния Неунывающего Теодора. Роняя перо, он оскорблял рукопись школярскими кляксами. И навзничь валился на постель.

Он тосковал по Ненси, он жалел себя. Тоска эта и жалость смешивались с чувством вины перед Лоттой. У него было Лоттино письмо. Давнее, старое; он уехал на бригантине «Ле Жантий», письмо жухло в долгом ящике местного почтмейстера, лишь теперь попало к адресату. Лотта называла его милым другом и дорогим супругом, звала в Париж, заверяла — все будет хорошо. Тарелка с уксусом? Какая гнусная неблагодарность в ответ на преданность и заботливость. Нет, это он, Теодор, кайенский перец… А Ненси, бедная Ненси — цветок, европейцам неведомый, золотистая маковка, белые лепестки… Несовместное смешивалось в душе, минуты уныния находили на Неунывающего Теодора, уныния и скорби.

Было так и поздним вечером 15 октября 1780-го. Дата указывается точно, читатель не замедлит понять, почему она тавром выжжена в памяти.

Звуком деревянной трещотки сторож возвещал о своей бдительности. Башенные часы на маленькой площади, где угловая аптека, отбивали время.

И вдруг исподволь возникло это ощущение, казалось бы беспричинное и непостижимое, — будто где-то, не разберешь где, нечто громадное трудно и грозно переломилось. Переломилось и медленно сдвинулось с места.

Взвыли псы. Не залаяли, а взвыли, словно бы шерсть дыбом, а хвост поджат. И сразу же в отворенное окно ворвался отчаянный треск садовых деревьев, мертвый, прерывистый стук черепицы, сорванной с кровель, а потом уже ничего нельзя было различить, кроме грохота и скрежета. Дальнейшее…

Ссылки на «невозможность выразить словами» — жалки, как прошение о помиловании; призывы к воображению читателя — несостоятельны, как подложный вексель; сетования на слепую стихию — ветхи, как шушун прабабушки. Бессильный изобразить хаос, сообщаю протокольно: почти каждое пятилетие ураганы громили Мартинику.

Взметывая клубы пыли, рушились дома и колокольни. Пальмы, зловеще присвистывая, неслись по воздуху, обгоняя черный полет кладбищенских крестов. Рейд поглотил корабли. Потом вздыбилась гигантская волна и, мгновенно наращивая скорость, понеслась на остров…

Ужасное происшествие потрясло пишущего эти строки. Его неудержимо потянуло домой, в Петербург, где наводнения куда реже, чем ураганы в Вест-Индии.

Капитана Баха тоже влекло к невским берегам. Сопротивляясь ностальгии, капитан не покидал Новый Свет.

Сопровождать г-на Баха значило подвергнуться бессчетным опасностям. Не сопровождать г-на Баха значило отпраздновать труса. Стыдясь самого себя, пишущий эти строки под всяческими предлогами долго отлынивал от роли сопровождающего, за что нынче и расплачивается отсутствием множества страниц, от которых у читателя захватило бы дух.

«Сан-Кристобаль», трехмачтовый испанский корабль под золотистым флагом с ослепительно-белой короной, «Сан-Кристобаль» доставил на Кубу капитана Баха, Читатель! Ни один из наших соотечественников доселе не показывался на Кубе!

Куба была как бы заокеанской губернией испанской державы, Гавана — губернским городом.

Капитан Бах поселился на окраине Гаваны. Жил не то чтобы скрытно, но и не то чтобы нараспашку. Словно бы вопреки своему капитанству, завел мирную аптеку и обзавелся двумя-тремя учениками, учил их французскому, учился у них испанскому.

Однако довольно. Не следует играть в конспирации, если опять была конспирация всерьез. К тому же сообразительный читатель уже, несомненно, рассмеялся над беллетристической уловкой.

Капитан Бах, «переводчик, агент для российского народа при адмиралтействе Мартиниканском», путешествующий «для примечаний, касающихся до географии, физики и натуральной истории», — так было указано в паспорте. Неунывающий Теодор собственной рукой написал этот паспорт.

Он оставался интендантом американской революции. Отправляясь с Мартиники, Каржавин опасался англичан: враги могли быть наслышаны о Лами, поставщике оружия и припасов. А «капитан Бах», русский путешественник, обладал неприкосновенностью подданного нейтрального государства. Ловко!

Добравшись до Кубы, он уже не таился, и его называли доном Теодором Русо.

Так же, как повсюду, он примечал все «острыми глазами».

«Здесь каждый недоволен всеми, здесь все недовольны каждым», — заключил Каржавин. В записке же, поданной впоследствии в российскую Коллегию иностранных дел, говорил лишь о том, что жил на Кубе смиренно, врачевал, варил снадобья, учил французскому, тем и снискивал пропитание. Такие записки

именовались в ту пору «сказками». Да вот говорит пословица: сказка — складка, а песня — быль. Песню как было не утаить? Известно ведь — плохие песни соловью в когтях у кошки.

А если бы Петербург вздумал навести справки, из Гаваны вряд ли бы ответили: ваш Теодор Русо, он же капитан Бах, отъявленный бунтовщик. Что так? Уж не левее ли властей российских были власти испанские?

Тут вся штука в переплете политики и коммерции, России не касающейся. Испания воевала с Англией. Воевала не ради благ Северной Америки, нет, ради избавления от посягательств владычицы морей. Воюя, не считала себя юридически союзницей бунтовщиков. Но исподтишка союзничала. Отсюда благожелательство к тем, кто представлял на Кубе американские интересы.

Но самого деятельного поборника кубино-американских коммерческих связей тогда в Гаване не было. Это, однако, не помешало Каржавину знать его — встречал в Вильямсберге негоцианта и работорговца Хуана де Миральеса.[39] Подавляя отвращение (работорговец!), Федор старался видеть в нем *только* делового компаньона. Скажут: «Непринципиально». Отвечу: «Выгода, и притом не личная». Возьмите в расчет, что именно доставляли бунтовщикам из кубинских бухт — то же самое, что и торговый дом «Родриго Горталес» из французских гаваней. С добавкой крупных партий медикаментов, изготовлением которых был озабочен Каржавин.

Подчеркиваю красным: кубинские чиновники, выдерживая курс Мадрида, не принимали в Гаване официальных торговых представителей конгресса, но дону Теодору Русо, известному в резиденции генерал-губернатора под именем капитана Баха, россиянину, можно было не отказывать в неформальном представительстве от Тринадцати провинций.

# ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

## *1*

Вот если б и вас в оны годы пристально занимала история флота, то и вы, уверен, не упускали бы случая неторопливо побеседовать с ветеранами громких морских баталий. И потому, направляясь в Севастополь, непременно остановились бы на несколько дней в заснеженном, почти безмолвном Курске, у Ивана Петровича Архарова… Просьба не путать с его братом, московским полицмейстером, буйную команду которого горожане окрестили «архаровцами»… Иван же Петрович ходил под флагом адмирала Спиридова; потом служил в Москве, затем, отставным, поселился в Курске.

Человек прямодушный, добрый, он наделен был слабостью, свойственной морякам по причине долгого нахождения в сырости. «Держите курс в тихую гавань», — пригласил Архаров, отворяя дверь в домашний кабинет с батареей бутылок и стопкой книг, подаренных Карамзиным, дружески расположенным к Ивану Петровичу.

Семейство его состояло из жены и дочерей. Гувернанткой при барышнях была мадам Рамбур. Еще в московскую бытность Архаровых ее приняли в дом по протекции Баженова, о чем последнего просил Каржавин.

Не жила Лотта ни в тесноте, ни в обиде, но уже не была прежней Лоттой — веселой и вспыльчивой. Она называла себя Переттой, уронившей кувшин: есть такое у Лафонтена — бедняжка Перетта спешила на рынок с кувшином молока, спешила, мечтая о покупках на выручку, а кувшин-то выскользнул из рук и разбился.

Там, в Курске, вдали от родины и вблизи погоста церкви Успения Богородицы, где в 1807 году Лотта нашла свое последнее пристанище, она написала «Кувшин Перетты»: ворох автобиографических тетрадок.

Ее письма к Каржавину, вероятно, погибли в водоворотах десятилетий.[40] Тетрадки сохранились, бумага превосходная, французская, с водяным знаком в виде древа Свободы.

## *2*

Страницы, относящиеся к 1787 году, написаны в тонах

юмористических: Лотта рассказывает о г-не Дюма.

Дюма служил почт-директором в городке Лан. Однажды он получил из Парижа письмо некоего американского хирурга. Тот просил разыскать мадам Лами, она же Рамбур. Хирург приехал из Нового Света, привез семьсот пятьдесят тысяч ливров, завещанных американским дядюшкой указанной мадам, в случае обнаружения которой усилия г-на Дюма вознаградятся сторицей.

Почт-директор ударил во все колокола. В счет будущей премии местный типограф тиснул сотню объявлений; местная газета напечатала воззвание к мадам Лами, она же Рамбур — отзовись! Епархиальные кюре расспрашивали прихожан; полиция явила неслыханное рвение.

И вот уж богатая наследница садилась в дилижанс. Ее эскортировал г-н Дюма. Почт-директорша пожирала глазами полногрудую блондинку, далеко не юную, однако весьма пикантную: уж не соблазнится ли супруг? Мысль реалистическая рассеяла беспокойство г-жи Дюма — наследница такого состояния презрительно отвергнет домогательства моего пентюха.

Пентюх доставил Лотту в Париж, в гостиницу «Иисуса». В гостинице «Иисуса» Лотту ждал Теодор.

После Гаваны Каржавин опять был в Виргинии, прожил там несколько лет и опять был на Мартинике, в Сан-Пьере, откуда его увез на бригантине «Ле Жантий» старый приятель капитан Фремон.[41]

На берег Франции Каржавин сошел с кошельком тощим, как у поденщика, если только у поденщиков бывают кошельки. В Париже ему помогли… Впрочем, кто именно, скажем позже… Он рвался в Петербург. И оставался в Париже: искал Лотту.

Любовь воскресла? А Ненси, бедная Ненси, сгинувшая в виргинских лесах? Живым — живое: Каржавин искал Лотту.

Никто понятия не имел, куда она делась. Наконец один из общих знакомых припомнил, будто она устроилась в каком-то богатом семействе. То ли гувернанткой, то ли горничной. То ли в городке Лан, то ли в ланской округе.

Каржавин снесся с тамошним почт-директором, посулил ему златые горы. Теперь дело было сделано. Г-н Дюма сиял, принимал благодарности. Принять вознаграждение не пришлось. Г-н Лами не смог бы оплатить и дорожные расходы — девяносто четыре ливра. Околпаченный онемел. Г-н Лами развел руками:

— Сударь, вы и так богаты — великодушие драгоценнее алмазов.

В первые годы разлуки Лотта горевала. Она готова была просить у Теодора прощения, хотя все же считала, что прощения должен просить Теодор.

Потом возник г-н Бермон. В «Кувшине Перетты» этот адвокат обозначен так: «Арт. Бермон». Он тоже был одинок, его жена сбежала в Канаду содержанкой некоего господина, которого Бермон иначе не называл, как продувной бестией.

Лотта и Бермон, украдкой приглядываясь друг к другу, испытывали встречное сострадание, что, как известно, ведет к сближению. Бермон охотно женился бы на Лотте, но она не скрывала, что ждет Теодора Лами. Это было честно, но это было и жестоко. Бедный «Арт» положился на время. Его смирение тронуло Лотту, она была нежна с Бермоном. К тому же своими мужскими достоинствами он превосходил отсутствующего супруга.

Бермонов расчет на время, увы, не оправдался. Проклятый Лами уцелел, выжил. Лоттино счастье — а она чувствовала влюбленность первой молодости — омрачалось, несмотря на честное предупреждение, сознанием вины перед Бермоном. Кротко и ласково, со слезою на глазах и в голосе, она рассталась с ним. Его отчаяние было плаксивым, а посему не заслуживает описания, как недостойное сильного пола.

Девять из десяти женщин промолчали бы о Бермоне. Лотта не промолчала. В «Кувшине Перетты» она объяснила свой поступок: не хотела, не могла лгать Теодору. Незачем толковать вкривь: боялась, дескать, сторонних известий, земля-то слухом полнится, вот и призналась. Нет, высшая степень душевной опрятности.

Услышав о ланском адвокате, Теодор, отнюдь не ожидавший многолетней супружеской верности, побелел, в лице ни кровинки. Сипло спросил, есть ли у нее ребенок, услышав «нет», трудно перевел дыхание, слабо улыбнулся.

О, в ту минуту Теодор нисколько не сомневался в своей воскресшей любви к Лотте. Нисколько! И в ее любви тоже. Признание в неверности представилось ему доказательством верности подлинной — душевной, а не эфемерно-плотской. Больше того, он и себе и другим повторял, что Лотта ждала его, и уж этого он никогда не забудет. Повторял убежденно, не подозревая, что в самих этих повторах притаилась шаткость его убежденности.

Все вместе создавало иллюзию исцеления от бешеной ревности, приступам которой он был подвержен в молодости. Он был доволен врачующим действием истекших лет:

— Время страстей прошло.

— Нужно признаться, — улыбнулась Лотта, — ты бывал

несносен.

Они не то чтобы надеялись, они знали, что доживут в добром, спокойном согласии. «Доживут» произносилось беспечально. О дожитии не думали, думали о жизни.

## *4*

Обновленная, потекла она в городе, тоже обновленном. Легионы каменщиков и штукатуров бодро стучали деревянной обувкой. Лебедки от зари до зари поднимали кирпич, гранит, мрамор. Буржуа, богатея, учредили страховое общество; на многих домах было начертано: «MACL» — дом застрахован от огня.

Неподалеку от Бастилии, в Сент-Антуанском предместье, возводили дворец: полукруглый фасад в двести окон, стройная колоннада. На пустыре разбивали парк с цветниками, насыпными террасами, прудом, беседками, статуями. Утверждали, что все это влетит владельцу в полтора миллиона франков. И прибавляли: Бомарше — спекулятор ловкий.

Так иль не так, не вникал в его спекуляции, а поставки в Америку тут ни при чем, не принесли они барыша бывшему генеральному директору бывшей фирмы «Родриго Горталес и К°». Но, обретая дворцы, утрачиваешь идеалы. Немного, совсем немного воды унесет Сена, и г-н де Бомарше из высоких окон своей великолепной недвижимости увидит бурное движенье стихии, сокрушающей и материальную цитадель монархии, и ее грозный, устрашающий символ. Христианнейшему королю покровительствовал козлоногий Пап, бог охотников, но и тот не сумеет нагнать панический страх на восставший Париж…

Каржавин и Лотта ходили в Сент-Антуанское предместье поглядеть на дворец г-на де Бомарше.

Живи он в лачуге, Каржавин огорчился бы. Живи средним достатком, Каржавин не огорчился бы. Но эта вызывающая роскошь ударяла в нос. Она оскорбляла дело, которое делал г-н Дюран. И казалась несовместной с создателем «Фигаро».

А Лотта, любуясь дворцом, думала: «Теодор вернулся нищим, господин Бомарше слывет щедрым, не отпустит с пустыми руками, сочтет за честь».

— Послушай, ты не будешь жалким просителем, если… — Лотта прикусила язык: шрам под скулой Теодора багровел.

— Никогда, — процедил Каржавин.

— Но ты же знаешь… — Лотта указала на свой живот.

Каржавин молчал.

— Ладно, — сказала Лотта. И будто цвиркнула сквозь зубы коротким плевком: — К черту!

Каржавин рассмеялся.

Гордость гордостью, а хлеб-то нужен. Он работал над переводами с русского. Эх, улита едет, когда-то будет. Ему помогли продержаться, перебиться.

Вот уж действительно, гора с горой…

Двадцать лет отломилось, как Федор Васильевич покинул семинарию при Троице-Сергиевой лавре. Отец Павел, отправлявший обязанности священника при посольстве на рю де Граммон, выучился французскому в этой семинарии. Бурсак-тихоня Паша Криницкий успевал хорошо; не ему сердито выговаривал учитель: «Не пылаешь жаждой знания, ну и нечего тлеть!» Паша Криницкий пылал. И удостоился особого доверия: в монастырской келье у г-на Каржавина читал «Энциклопедический журнал», Ломоносова сочинения, говорил с ним г-н Каржавин о том, о чем с «лжебратией» не говорил.

И Каржавин не удивился, узнав впоследствии, как в разгар французской революции посланник гневался на посольского священника: повиноваться не хочет, требы не вершит, «Права человека» обожествляет, на острастку — сам стращает: призову-де к суду революционного трибунала… Не удивился Каржавин, обрадовался: «Ай да Пашенька!»

Но тогда, в канун революции, отец Павел не прекословил посланнику. Общение же свое с русскими жителями Парижа выдавал за миссионерское — да отвернутся заблудшие души от прельщений католических, да возвернутся заблудшие души в лоно православия, да отвратятся от пагубных прельщений парижских и вновь прилепятся к заветам отчич и дедич.

Отец Павел привел «заблудших» в гостиницу «Иисуса». Лишенная церковной утвари, она не лишена была утвари домашней, а гости, сознавая стесненность постояльца, не стеснялись — «каждый с даром в руке своей».

Опять — гора с горой…

В глазах Зарина отразилось: «Ох, постарел». А Зарин вроде бы не менялся, все тот же красавец. Не припомнили, читатель? Ведь это тот самый, что вместе с сапожником Тимофеем приходил к мсье Лами в годину пугачевского восстания… Тимофей недавно помер, а Зарин все минувшие годы служил у министра Верженна. Граф сошел в могилу, оставил слугам ренту. Был, значит, теперь Зарин-то рантье. И ничуть не влекло его в вотчины бывшего барина.

С такими вот россиянами водил компанию отец Павел. Все они сбежали от своих добрых помещиков. Зарин — от графа

Бутурлина, некий Ларивон — тоже. А Татаринов — от Бибикова. А Иван Соломонов — от Нащокина.

А Максим и Филька, сказать страшно, — от отцов-командиров; первый был теперь драгуном, второй — пехотинцем. Нет, не бегство этих русских людей огорчало отца Павла, другое.

— Дух свободы, который и есть дух святый, подвигнул их к избавлению от рабства, — признавал он. — Однако что вижу, Федор Васильевич? Капище, где курят фимиам златому тельцу. Вот хоть нащокинский Соломонов — на париках и буклях разжился, имеет капитал в двенадцать тысяч ливров. Ах, Федор Васильевич, есть, есть веяние духа свободы, но веет-то не единым дуновением.

Как бы ни было, именно эти беглые да бывший семинарист, они-то и пособили Каржавину. Можно было, пожалуй, опять обратиться к г-ну Хотинскому, советнику посольства. Этого гнома, всегда скромно одетого, с неизменным крестиком в петличке, безукоризненно вежливого, очень и очень неглупого, знал Каржавин с юных лет. К нему-то и воззвал с берегов Мартиники — пособите деньгами, желаю воротиться в отечество. Выбрался, однако, не за казенный счет: г-н Хотинский списался с Петербургом, да так ловко, так дипломатично, что принудил раскошелиться дражайшую маменьку Анну Исаевну. Но опять толкаться к г-ну Хотинскому? «Zut!» — как говорит Лотта. «К черту!»

И если Каржавин появлялся на улице Траверсьер, в отеле «Трех милордов», то не у советника Хотинского — там жил Петр Петрович Дубровский.

Дубровский служил секретарем и переводчиком в русском посольстве. Выходец из Киевской духовной академии, был он дороден и румян. Дубровский не смеялся, а хохотал, не ел, а плотоядно вкушал, трубкой дымил, как запорожец люлькой. Случалось, впадал в развалистую лень, словно нежась в тени вишневого садочка, но вообще-то отличался замечательной энергией.

По натуре был он собирателем, коллекционером. Расхожее — страстный — не прибавлю. Бесстрастный коллекционер нелеп, как и страстный кладбищенский сторож. Иное дело — ипостаси страсти. Корысть и бескорыстие, тщеславие и самозабвение; называю распространенное и, так сказать, гольем, не в смеси. Ну а Петр Петрович?

Собирая рукописи, редкие книги, рисунки и миниатюры, был он чист душою. Потом, позже, в годы революции, скупая рукописи и автографы знаменитых французов, спасал от огня, от бессмысленного расхищения документы исторические. Спас

четыреста рукописей, восемь тысяч автографов. Немалую деньгу предлагали англичане. Отринул: все мое — принадлежит не мне.

Не скажу, видел ли Каржавин всю коллекцию, поступившую впоследствии в петербургскую Публичную библиотеку, но в ценности того, что видел тогда, в отеле «Трех милордов», он не сомневался. А вот в ценности будущей книги Петра Петровича «Российский Плутарх, или Жизнь славных русских людей» усомнился: такое сочинение требовало обращения к отеческим древлехранилищам.

Нет, не сочинение Дубровского интересовало Каржавина, а намерение устроить в Париже «русских слов типографию». Расходы перевалили уже на вторую тысячу.

— Достанет ли средств? — спросил Каржавин.

— Ударю челом князю Потемкину: подайте помощь, воздам подношением труда моего, в коем вашей светлости приуготовлено достойное место.

— Петр Петрович, он же главный тиран России!

— А какие виктории одерживает!

— Виктории одерживает русский солдат, — вспыхнул Каржавин.

— Ох, Федор Васильевич, — покачал головой Дубровский, — завирального набрались у американских бунтовщиков. — Он вздохнул и ласково коснулся плеча Каржавина: — Оставайтесь-ка в Париже, оставайтесь.

Каржавин упрямо нагнул голову:

— Русских слов типография в городе Париже хороша будет, но не столь хороша, как в городе Петербурге.

— Вольному воля. Сказал бы «помогай бог», да вы-то небось ни в бога ни в черта.

Каржавин рассмеялся. Дубровский, в вере нетвердый, не удержал улыбки. Потом спросил, как и Каржавин давеча: достанет ли средств?

Каржавин нахмурился.

Светлейшему челом не ударю.

## *5*

Остаться в Париже и писать об американской революция. Лотта не из тех, кто бьет баклуши, в Лоттиных руках спорится рукоделье. Франция — вторая родина. Тут-то и зарыта собака — *вторая*. Только там, в России, надо вершить тайную помолвку Смуглой Бетси и Золотого Ключа.

Золотой Ключ бесшумно отворяет высокие двери в царство

Знания, Золотой Ключ — символ книжного издательства, любви к книге. Сперва браться за оружие, потом за книгу? Или наоборот?

Вопросом об очередности не то чтобы вовсе не задавался Каржавин, а склонен был считать этот вопрос схоластическим. Он думал о докторе Франклине. Великий муж был до революции типографом, не спал, дожидаясь побудки залпами Смуглой Бетси.

В Петербург — это было решено. Федор не очень-то рассчитывал на отцовское наследство. Но все же чем черт не шутит. А потом приедет Лотта. В Петербург — решено. Вот только бы уломать Гериссана — купите рукописи, купите мои переводы с русского, они найдут спрос. И Каржавин ходил на улицу Сен-Жак, где некогда жил пансионером.

Он был уже стар, букинист Гериссан. Смерть супруги не убила его. Напротив, старик нашел в себе силы и нашел у себя деньги — он «расширился»: вступил в долю с крупным издателем.

При виде бывшего пансионера он не обронил и слезинки, а Каржавин… Худо, холодно, сиротливо жилось у Гериссанов, да вот растрогался. Увы, Гериссан кисло отнесся к его предложению, сделку заключать не торопился. Каржавин втихомолку ругал старика, но продолжал ходить на улицу Сен-Жак.

Бывший губернатор Виргинии и будущий президент Соединенных Штатов тоже наведывался к мсье Гериссану.

Бывший и будущий исполнял тогда обязанности посла во Франции. В точности не скажу, жил ли еще Томас Джефферсон в отеле или уже переехал в особняк на Елисейских полях. Но где бы он ни жил, он жил однажды и навсегда упроченным распорядком: в шесть подъем и до обеда работа; послеобеденная прогулка пешая или верхом; опять письменный стол, а вечером раут или театр, ужин с земляками на рю де Бурбон (там образовалась колония американцев) или букинистические лавки на рю Сен-Жак.

В лавке Гериссана они и виделись — высокий, худощавый джентльмен с неизменно благожелательным лицом, этот страстный библиофил Томас Джефферсон, и наш Федор Каржавин…

Каржавин прожил в Америке и годы послевоенные. Душа его омрачилась торжеством торгашества, нетронутостью черного рабства, а самое горькое настигло под конец. Когда Каржавин покидал Европу, его преследовало эхо разгрома Пугачева. Когда Каржавин собирался покинуть Америку, его преследовало спрингфилдское эхо… Восставшая фермерская беднота требовала поровну распределить земли и богатства, аннулировать долговые платежи, изменить налоговую систему. Даниел Шейс — до революции батрак, во время войны партизан, затем офицер,

награжденный за храбрость именной саблей, — Даниел Шейс принял под свою команду повстанческий отряд. Толстосумы щедро авансировали карателей. Виргинские плантаторы снарядили кавалерию. Восставших разгромили близ города Спрингфилда. Спрингфилдское эхо мучило Каржавина…

Джефферсон рассуждал спокойно.

Люди Шейса взялись за оружие не потому, что, как думают некоторые, свобода теряет свое обаяние, а демократия обретает свои слабости, нет, корень в налогах, и правительству не надо сосредоточиваться на репрессиях, а надо искоренять причину. Такие восстания есть проявление цензорских прав народа. И подобно грозе, очищают атмосферу. Бои, схватки, жертвы? Он пожал плечами: дерево Свободы орошается кровью. Он, Томас Джефферсон, давно предрекал — после войны мы пойдем вниз по склону холма; правами народа-победителя станут пренебрегать.

И все же Каржавин отчетливо сознавал громадность свершившегося — вооруженный народ ниспроверг коронную власть, власть республиканская утвердилась. И… началось «нисхождение» но склону холма? Увы, Джефферсон прав. Он, Каржавин, должен мыслить об этом долго и пристально: как сделать так, чтобы вооруженный народ, еще не рассеявшись по лесам и фермам, поставил на вершине холма крепкую стражу, вернейших из верных, вооруженных и Смуглой Бетси и Золотым Ключом?

В Петербург, в Петербург…

Лотта печалилась. О, разлука не будет, не будет, не будет столь горькой и столь продолжительной, как прежняя. И все же разлучаться теперь, когда она не одна, когда у нее под сердцем дитя?

# ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

## *1*

Люблю окраины невской столицы тех давних времен: они хранили облик провинциальный — заборы с осиновыми подпорками, канавки, огороды, хлева, а крапиву на борщ рви из окошка. Ничего державного, санкт-петербургского. Но для того чтобы стать на якорь, или, как шутили флотские, «на яшку», у кромки Васильевского острова, там, где Малая Нева, нужна была и причина особая: боялся упустить из виду Каржавина.

Честно сказать, весьма желательна была бы его задержка во Франции. Повременил бы, помедлил и вот вторично посетил бы сей мир в его минуты роковые. Не остался бы в стороне от штурма Бастилии!

Но если ты бессилен удержать Каржавина в королевстве, где старинные колокола вскоре ударят новым набатом, то пиши про обыденность на Васильевском острове, вот хоть про Зотова…

Герасим Зотов исполнял на таможне тонкие поручения. Рассекречу чуть позже, а сейчас представлю славного малого.

Было ему более двадцати и меньше тридцати, где-то посередке. Рослый, белокурый, он магнетизировал слабый пол, однако весьма сурово оборонял свою независимость. Его суровость сменялась нежностью, едва он осязал типографические изделия. Книгочий!

Приятели-сослуживцы заглядывали к Зотову, чаще прочих таможенный досмотрщик Богомолов, в прошлом наборщик, Хорошие были ребята. Прикладывались лишь после бани — кто камень кинет? И певали протяжно: «Ох, что ж ты, голубчик». Или вот эту, побойчее: «Чарочки по столику похаживают».

Летними вечерами прогуливались они у Малой Невы. Шум портовых работ смолкал, тишина как бы высвечивала гармонию нестройной береговой застройки и стройных корабельных рангоутов. Баржи с Волги, Ильменя, Меты, Волхова устало теснились к Пеньковому буяну. Закат румянил, как в духовке, черепичную кровлю старого Гостиного двора, блики заката плавились в круглых окнах пакгаузов. Река, не ограненная гранитом, неслась вольно. В шуме и влажном шорохе реки, в вечереющем небе была тихая прелесть родного Севера, ласково и грустно, берущая за сердце.

Прогулки будят мечтательность… Кто-то тонко заметил: не обязательно владеть лавкой, чтобы обладать натурой лавочника.

Не обладая натурой лавочника, Зотов мечтал владеть лавкой — *книжной*. У него водилось тысчонок пять; для почина требовалось еще две-три. Недостающий капитал он надеялся приобрести исполнением тонких поручений чиновника, управляющего таможней.

Коллежский советник летовал на Петровском острове. Там была у него мыза. Удобно: в шлюпке или на плоту (если ты в экипаже) переправься на левый берег Малой Невы и пожалуйста — таможня. А вечером найми лодку с гребцами — любуйся вольной рекой, дремотой кораблей, сменой белого дня прохладной белой ночью. Потом, когда детей, перекрестив, уложат, завершай свое, покамест никому не ведомое, путешествие из Петербурга в Москву.

Управлял таможней коллежский советник Радищев. Теперь рассекречиваю его тонкие поручения Зотову.

Коммерц-коллегию с легкой руки Державина язвили «шмерц-коллегией».[42] А подведомственную таможню, с чьей уж руки не знаю, — «нажиточным ведомством», ибо «неявленный» товар давал жирный куш — товар, сокрытый от пошлин; попросту молвить, контрабанда.

Пресекая контрабанду, Радищев держал доверенных лиц, за успех в изобличениях платил недурно. Зотов был одним из самых проворных и сметливых.

## *2*

Не сказки сказываю, а про сказку скажу. Была такая — «История Алины, королевы Голконды» Жана Буфлера; и дети и взрослые зачитывались. Популярность громадная, и вот вам высшая награда автору — корабль назывался «Королева Голкондская». Из Гавра пришел, встал на Малой Неве, против старого Гостиного двора.

«Королевой» обладал капитан Ланглуа. Она глядела замарашкой, будто и не была королевой; он — щеголем, будто и не был смоленым моряком. Ланглуа привел «Королеву» брюхатой товарами, да главное в другом. Этот Ланглуа приходился кузеном Жюлю Фремону. Да-да, тому самому, с львиным лицом, тронутым оспой, капитану «Ле Жантии». Полагаю, он-то и упросил Ланглуа безвозмездно доставить в Петербург своего верного друга «русского американца».

Зотов проведал об этом и тотчас поспешил к начальнику.

Радищев поощрял серьезное зотовское книголюбие. Как раз третьего дня дал ему сочинение г-на Ладыгина, члена Коммерц-

коллегии, — только что изданные известия о Соединенных Штатах. Компилятор и переводчик взывал: «Желательно, чтобы знающий кто из российских, чрез собственное в торгах заморских испытание заблаговременно уведомил отечество, какие из наших обыкновенно товаров, или вновь какие бы наши произведения, походны стали бы предъявленные…»

Знающий кто из российских? Да вот, извольте, на «Голкондской» явился! И Зотов поспешил к коллежскому советнику.

Радищеву вспомнилась давняя-давняя встреча с Каржавиным у Новикова? Полноте! Они тогда даже и не были представлены друг другу. Нет, иное заставило Радищева задуматься.

Служил он не спустя рукава, а стараясь, как сам говорил, «приобресть знания, до торговой части вообще касающиеся». Президент Коммерц-коллегии это поддерживал. Президентом был Воронцов. Тот, что в младых летах вояжировал в Париж, видел Ерофея Каржавииа… Может, на такой ниточке-паутинке узлы вязать? Опять не так.

Другое дело — Каржавин-старший, здешний, петербургский, недавно умерший. Коллежский советник Радищев читал предложение Василия Никитича об учреждении компании для широкого заморского торга. (Проект хранился у Воронцова.) И Радищев кивнул Зотову: «Проси». Каржавин, несколько недоумевая, последовал за провожатым.

Теплый запах деревянной пристани, пригретой солнцем, запах бревен, уложенных штабелем, и то светлое чувство, которое владело Каржавиным, — все это вдруг соотнеслось с суетой, чиновниками, близостью большого города, и все это было и далеким прошлым, и как бы сиюминутным… Высокие тесовые ворота, грубо сколоченные из толстых досок, ворота, пахнущие елью, пригретой солнцем, отворились медленно, мундирный чиновник сурово спросил: «Имеете что-либо запрещенное королевским указом?» Полагалось отвечать: «Посмотрите». Так и ответил когда-то дядюшка Ерофей, не без смущения и даже, кажется, некоторого испуга, хотя и не вез ничего запретного, да и у всех пассажиров дилижанса, прибывшего на парижскую заставу, были такие же робкие голоса. А чуть в стороне, дожидаясь, когда отворят малые воротца для прогона скота, шумно дышало обреченное бойне стадо пегих и черных коров…

Провожатый сопровождал, Каржавин шел, рассеянно улыбаясь самому себе, семилетнему Теодору, мальчику в новеньком нарядном платьице и новеньких башмачках с замечательными металлическими пряжками, семилетнему Феденьке, которому предстояло жить в Париже…

«Пожалуйте сюда, сударь», — пригласил Зотов, и Федор Васильевич Каржавин вошел в покой, где занимался таможенным делом Александр Николаевич Радищев. Внимательно, спокойно глядел он на крепкого, тонкого в талии, плечистого человека со шрамом на левой скуле.

Изобразить встречу пылкой, с многократным пожатьем рук? Выйдет даже и не романная гиль, а кривда. Единомышленники не всегда заключают друг друга в объятия; случается, и нередко, что своя своих не познаша. Познавание предваряется узнаванием. А тут что же? Один ведать не ведал о не опубликованном еще «Путешествии из Петербурга в Москву», другой — о незавершенных размышлениях, связанных с путешествием по «бунтующим Штатам».

Корректную сдержанность Александра Николаевича принял Каржавин за высокомерие и сразу же со свойственной ему горячностью словно бы ощетинился. Потому-то и вопрос Радищева, не сын ли г-н Каржавин перво-гильдейского купца, составителя прожекта заморского торга, вопрос этот неприятно задел Федора Васильевича.

Сударь, неприязненно и колюче подумал он, не суйте свой нос, сударь, в наши фамильные секреты.

А Радищев-то держал на уме совсем другое. Он хотел выслушать очевидца, каковы торговые обстоятельства в бывших британских колониях. И не просто очевидца, а, вероятно, корреспондента-посредника, посланного в дальние края широко мыслящим коммерсантом Василием Никитичем Каржавиным.

В намерении коллежского советника не таилось никакого подвоха. Напротив, оно, это намерение, как бы подтверждало дальновояжное и коммерческое реноме просвещенного «русского американца». Именно ту репутацию, которую сам же Федор Каржавин старательно поддерживал и в письмах из-за океана, и в приватных беседах с людьми незнакомыми или малознакомыми, да и потом, в Париже, перед посольским советником Хотинским. Словом, всегда и везде.

И сейчас в покое, где коллежский советник Александр Николаевич Радищев занимался таможенным делом, разговор завязался экономический.

Радищев сказал, что Коммерц-коллегия, а равно и Коллегия иностранная опасаются американского соперничества — повезут в Европу товары, подобные российским произведениям.

Каржавин счел сии опасения не совсем напрасными, однако чрезмерными. Конечно, вольные американцы — на то они и вольные — уже сворачивают шею английским королевским компаниям, но отнюдь не отказываются принимать купцов из

других стран. Ему, Каржавину, известно мнение господина Джефферсона, имеющего в Штатах большой вес: американцам необходимо распахнуть двери — пусть из-за моря везут любые товары. К тому же, продолжал Каржавин, заметно оживившись, словно бы впадая в роль полномочного представителя, о которой некогда толковали в Вильямсберге Беллини и Уайз, к тому же в ходу уже не бумажные деньги, а серебряные. И еще одно: господину советнику, разумеется, по службе известно, сколь часто американские суда гостят в Риге, Кронштадте, Петербурге.

Да, согласился Радищев, известно, вот рапорты таможенных контор. А лет пять тому Карл Снелл, жительствующий в Риге, издал основательную книжку, толкующую о выгодах для России от независимости Соединенных Штатов.

— Торговля торговлей, а есть и другое, — вдруг, словно ножом по стеклу, ответил Каржавин и пристально взглянул на Радищева.

Ах, еще бы миг — и сюжет экономический соскользнул бы в политический, да черт принес начальника таможни. Хворал, хворал, от службы устранился, а тут возьми и появись — послал за управляющим.

## *3*

Василий Никитич умер, можно сказать, и нехорошо и хорошо.

Нехорошо потому, что не преставился в одночасье, а отходил долго, мучительно, под гнетом скорбей и болей какой-то жестокой хворобы. Хорошо же потому, что внял голосу с другого конца света: государь мой батюшка, прошу, слезно прошу предать забвению прежние распри.

Внял, да. И, дыша на ладан, распорядился: все, нажитое мною, как движимое, так и недвижимое, делить на троих: жене, старшему Федору и младшему Матвею. А дочерям Лизоньке и Дуняше? Девки получили в приданое по тысчонке, и будет, довольно.

Сестры надулись, озлобились, грозились судом: государь наш батюшка, страдаючи, не в светлом разуме был, в нетвердой памяти, а матушка со своим любимчиком Мотькой учинили незаконность, завещание подложное, стало быть, ложное.

Любимчик Мотька, улещая сестриц, обещал так: вернется Федор, тогда, мол, и без суда рассудим.

Вернулся.

Государыня матушка, принимая старшенького, прослезилась. Пожурила: что же ты, сокол мой, одинцом? Супружница твоя хотя

и француженка, а и без такой, прости господи, в твоих-то летах негоже. Зови, Федя, мадаму, будет мне дочерью. Я, Федя, покладистая, ласковая, приглашай, не обижу невестушку.

Да, прослезилась. Вот только глазки-то быстро обсохли. Востро, недобро, настороженно глядела из-под набрякших век. Неча Федьку нежить! Это ж он, постылый, мужнину жизнь, жизнь Василия свет Никитича, как зельем, отравил. Он! Будь примерным сыном, ей-ей, жил бы Василий Никитич, поживал, добро наживал. Ладно, нажил-таки тысяч триста. А Федька, от которого ни на понюх помочи не было, Федька готовенькое хочет тяпнуть. Шалишь, утробный ты мой, шалишь…

«Тяпнуть» он бы не отказался: Золотой Ключ пить-есть не просил, однако денег требовал. Федор Васильевич натягивал маску совершенного послушания. И подступал к матушке с покорнейшей просьбой выделить часть наследственного капитала. Но при этом вовсе не настаивал на одной трети. Не хотел обделять ни Лизавету, ни Дуню, предлагал делить поровну.

Анна Исаевна серчала на «старшенького». А меньшому поперек ни-ни. Вьюнош грубианствовал и пианствовал. Анна Исаевна умиленно воздыхала: «Ах, Мотенька, солнышко ты мое…» Федору Васильевичу иногда казалось, что в глубине души она страсть как боится его меньшого братца. Однажды, внезапно испытав ужасное предчувствие, с присвистом выдохнула: «Убьет меня, беспременно убьет!»

Домом она правила тиранически. Девки-прислужницы скользили бесплотными тенями в своих сиротских платьях сизо-полосатого затрапеза. (Не в затрапезных платьях, читатель, а из затрапеза — грубую дешевизну варганил мануфактурист Затрапезнов.) Жила она букой, но стариц из моленной близ Сенного рынка, которые при жизни Василия Никитича не смели и порог переступить, стариц привечала; однако всякий раз после чаепития пересчитывала, сердито сопя, куски сахара. А уж покататься напогляд по питерской мостовой — это она оченно любила, держала собственный выезд; на облучке восседал кучерявый Устин. Вот уж кого не терпел Федор Васильевич, так сытого кота-мурлыку: водились у него шашни с маменькой.

Прибежище получил Каржавин в 7-й линии Васильевского острова. Там давно квартировал Гаврила Игнатьевич Козлов, женатый на сестре Каржавина Лизавете; той самой, что в молодости напоминала ему Лотту.

Происходил Козлов по тогдашнему «анкетному» определению из господских людей. Принадлежал, значит, к черной кости. Да и внешность его свидетельствовала об отсутствии голубой крови. Был он очень мил. Не потому, что имел соболиные брови —

бровки-то у него были белесенькие; и не потому, что сапфиром сверкали очи — глаза-то были серенькие; не потому наконец, что лицо его имело благородные черты — черты были заурядные. Нет, очень мил оттого, что существо его дышало необыкновенной добротой.

Жизнь Гаврилы Игнатьевича текла в академических классах. Он «отправлял дежурства в живописи исторической». «Дежурства» были Козлову и призванием и делом. Не гений в живописи, он был гением трудолюбия. Дом держал открытым, а стол накрытым для всех, причастных к искусству, Натурщики, жильцы академического подвала, кланялись ему почтительно, но не подобострастно. Даже и тогда, когда господина Козлова избрали адъюнкт-ректором Академии и казенный служитель стал подавать г-ну Козлову зкипаж, изнутри обитый синим сукном.

Ни значительная должность, а следственно, и значительное жалованье, ни казенный экипаж, способствующие, как известно, увеличению самомнения, а вместе и служебной цепкости, продиктованной опасением утраты привилегий, ни то, что он еще и начальствовал в Шпалерной мастерской, не переменяло Гаврилу Игнатьевича, а кто ж не знает, как разительно переменяются «выходцы из господских людей». Из грязи да и князи — эдак иногда приключается; а вот чтобы такой в князьях да и без грязи — эдак почти не бывает.

Впрочем, некая новина замечалась — слабость к гардеропу, и Каржавин не упускал случая незлобно подтрунить над добродушным зятем:

— Фью, поздравляю обновой! Фрак-то, гляди-ка, бутылочный, а пуговички-то, пуговички — фарфоровые, расписные. Апофеоз!

Лизавета обороняла мужа:

— Ах, Федя, ведь от трудов, от трудов праведных! Гаврила Игнатьевич других отдохновений не ведает. То классы, то Шпалерная, то мастерская, то академические консилиумы. Знай вертись и везде поспевай. Да еще Ваську со Степкой на шею посадил. Господи, воля твоя, такой уж доброхот, такой доброхот…

Степка и Васька? Да, профессор держал приватных учеников Степана Курляндцова и Василия Удалова, крепостных кого-то из Голицыных. Предрекал обоим: «Наградят вас в актовом зале медалями при играний труб и литавров». А это уж означало, что Ваське со Степкой очень даже возможно успешно окончить Академию и получить за успешность «аттестат со шпагою», что, в свою очередь, означало личное дворянство и офицерский чин.

Они давно уж не работали красными брусочками, непременной принадлежностью начинающих. Этот род сухой

сангины вкладывался в медные стерженьки. Неверный, ошибочный штрих не уберешь кусочком белой сайки — начинай, брат, сызнова. Но и черными брусочками тоже не работали: рисованье черным карандашом — удел переходной ступени. Степан Семенов сын Курляндцов и Василий Васильев сын Удалов работали березовым угольком, вставленным в черенок гусиного пера, — это для абриса, тогда еще углем не делали законченных рисунков. Работали и кистью, щетинной иль хорьковой. Горячо получалось, они не были подражателями. Да вот медаль-то, аттестат, шпага — мечта и сон: барин не давал вольную. Изверг. Кулаками мотали Степан и Василий, глаза темнели ненавистно.

Ах, как внимали молодые люди Каржавину! Он толковал о свободе, о праве человека на свою судьбу. Истинный пропагандист! Потому истинный, что истинам не обязательна аудитория, набитая слушателями, довольно и «Васьки» со «Степкой». И еще потому, что пропаганда не пропала втуне.[43]

Да, тепло было Каржавину у Гаврилы Игнатьевича Козлова. Переводное, то, что готовил к тиснению, — а переводил Федор, обновляя, и давний труд дядюшки Трофея о русском языке, — все это держал там, в семейном доме. Самое же драгоценное прятал здесь, у зятя, — дневники, главы трактата об американской революции.

Серьезная материя, для Каржавина капитальная. Развить бы, продолжить, однако повременю. Может, по ассоциации, а может, и так, без связи, но в памяти наплывом веселое застолье, окончившееся отнюдь не веселым, если не сказать — трагическим, вторжением смуглого гостя в адмиральском камзоле.

Началась же пирушка-экспромт в хлебосольном доме Гаврилы Игнатьевича, как всегда, непринужденно. Были сотоварищи по цеху, ученики были, включая домашних, был и Федор Васильевич, любезный сердцу хозяина и хозяйки.

Яствам предшествовала, по обыкновению, деятельная озабоченность Гаврилы Игнатьевича, праведно слывшего в Академии мастером композиции. Когда он начинал преподавать, композиции требовали множества персонажей, но теперь усилился классицизм, и это позволяло обойтись меньшим числом. Так что компания была комплектной. Разве что не совсем мифологической и совсем не ветхозаветной, как в академических программах. Пустяки!

Гаврила Игнатьевич, усадив присутствующих, остался доволен как расположением фигур, так и голодным блеском в их глазах.

В тот вечер Каржавин был в ударе.

Не страшась ликвидировать его романтический нимб, следует отметить — Федор Васильевич обладал не только флибустьерским шрамом, а и флибустьерским аппетитом.

Он отдавал должное всему поочередно, отчего и находился в ударе, то есть живо повествовал о приключениях на море и на суше.

Разгорячившись, баритонально грянул: «Мир перевернулся вверх тормашками», энергичными жестами требуя общей поддержки. Пирующие налегли кто во что горазд, и вся композиция обрела экспрессию, достаточную и для класса батальной живописи. Но пока мир переворачивался вверх тормашками, в микромире прихожей захлебывался дверной колокольчик.

Разъяренный и вместе растерянный ворвался в комнату смуглый человек в адмиральском камзоле.

## *4*

Пол Джонс рассорился с Америкой после утраты «Америки». Впрочем, не только из-за этого корабля, обещанного Джонсу как превосходному навигатору, но подаренного Людовику XVI как тароватому союзнику. Будь прокляты бессовестные конгрессмены! Пола обвиняли в каких-то незаконных тратах и не отдавали законных призовых денег. Что-то потом выплатили, а что-то нет. Оскорбляли, подозревали, косились, смотрели сверху вниз.

Покинув край родной (не по рожденью — по судьбе), Пол ринулся в края чужие. Чего искал республиканец в державе монархической? Слыхал и не раз — наживы. Врете, подлецы! Нет, не корысти ради. А ради пущей славы. Но тут и заминка, что-то вроде стыдобушки за вольного сына свободной стихии. Жаждал славы? Что ж в том плохого? Но славы-то, любезный читатель, славы, осененной скипетром. Его честолюбие, прискучив жестким воротничком пуританства, алкало шелеста горностаевой мантии.

Петербург встретил моряка триумфально. Джонс преподнес государыне текст американской конституции. Щурясь на простака, самодержица сказала: ваша революция не может не вызвать других и не оказать влияния на все правительства. Какое именно влияние, объяснять не стала. Джонс нашел стареющую императрицу очаровательной.

Посреди обедов, приемов, балов кралась ехидная черная кошка: Полу Джонсу предложили чин капитана флота, но генерал-майорского ранга. А по мнению палубных моряков, судовой кок и тот ровня сухопутному полковнику; физиономия

Пола Джонса приняла такое выражение, словно вместо ананаса он отведал редьки. Джонс огорчился, самолюбиво обиделся, готовился уложить пожитки и выбрать якорь. К дьяволу!

Сдается, то был первый признак едкого неудовольствия его пребыванием в Северной Пальмире. Не русского неудовольствия, а английских негоциантов и английских штаб-офицеров русской службы. Тех, кого Екатерина иногда называла ласково «мордашками», а иногда презрительно — «бульдогами». Как негодовали «мордашки-бульдоги», пират, жестоко оскорбивший королевский флот, бродяга и бунтовщик, этот наглец жаждет адмиральства?! Но с высоты престола донеслось: Павлу Жонесу быть нашим контр-адмиралом. И «бульдоги» лопнули бы, если бы не железные обручи традиционной невозмутимости.

А пылкий Пол летел на почтовых в полуденную Россию. Там рычали пушки, гребни волн алели там кровью, шла русско-турецкая война.

Любопытно было бы поглядеть на первое свидание князя Потемкина с Полом Джонсом. Не пришлось. Его переводчик г-н Дмитриевский, петербуржец, впоследствии рассказывал: светлейший, поспрошав Джонса об американской войне и американской республике, заключил в том смысле, что обширные пространства Америки требуют единодержавия, а республика на таковых пространствах нипочем не устоит… Кто знает, может, фаворит держал в уме и обширные пространства империи, к вящему могуществу которой присоединял он Новороссию. Вот только не сообразил: Новороссия — одно; Новый Свет — другое…

Джонсу дали эскадру. Полынный ветер днепровского лимана заструил его флаг на мачте «Владимира». Гребной флотилией командовал контр-адмирал принц Нассау-Зиген. На вчерашнего бунтовщика, окрыленного парусами, принц, вооруженный веслами, скосился неприязненно. Вчерашний бунтовщик не унизился приязнью. К тому же самолюбивого моряка чувствительно задевало благоволение Потемкина к этому земноводному Нассау.

А с офицерами и матросами Джонс поладил. Когда же он удрал штуку в своем прежнем вкусе, его не венчали лаврами, нет, бери выше, признали отчаянной головушкой, не теряющей головы.

Спроворил же господин контр-адмирал лихое дельце.

Как-то поздним вечером явился он с переводчиком и двумя-тремя матросами в казачий лагерь на днепровском берегу. Казаки пригласили к ужину. Ужиная, столковались— казаки сочли план Джонса хватским и дельным.

И вот за полночь длинная востроносая лодка (адмирал на

руле) тихо отчалила. Легкая, как ласточка, скользнула в лиман; бесшумная, как угорь, прошлась по лиману; Джонс высмотрел диспозицию неприятеля, к самому крупному кораблю приблизился на расстояние вытянутой руки. Зачем? А затем, чтобы пометить угольком: «Сжечь. Пол Джонс». Через день пылал костер, как некогда в бухте Уайтхевен.

В отличие от Нассау и светлейшего, генерал-аншеф Суворов проникся к Полу Джонсу дружеским чувством. Улыбался, лучась морщинками: мне этот Жонес как столетний знакомец. И когда тот сетовал на Потемкина и Нассау, отымающих боевые лавры, утешал: война, господин адмирал, не только раны и смерть, а и несправедливость вышнего начальства. Уж он-то знал, что говорил. Но и Суворов не знал, до какой степени «необузданный корсар» раздражает князя. Наконец Потемки и сплавил Джонса туда, откуда тот прибыл. Такие, как Джонс, нужны войнам за независимость и не нужны фаворитам, поборникам зависимости.

У въезда в Петербург его не осенила триумфальная арка. Аудиенцию императрица дала, должность не дала. Джонс закусил губу. Мрак его души соответствовал осеннему, петербургскому. Безделье угнетало, как хвороба.

И вдруг встряхнулся, словно дог после ушата холодной воды. Он думал о русских моряках — какие парни! И думал о моряках Америки — славные ребята! То-то, думал он, взяться бы за руки. Он размышлял о дружеских узах России и Соединенных Штатов, полагая, что различие образа правления тому не помеха.

Не дожидаясь красной кареты из Коллегии иностранных дел, контр-адмирал Джонс отправился к вице-канцлеру Остерману. Старик был само внимание, но его худое лицо с темными провалами щек и седыми, косо нависшими бровями оставалось непроницаемым. Резюмировал так: прекрасная мысль, милостивый государь мой, однако подобный союз преждевременен, ибо еще пуще возбудит противу России сент-джеймский двор.

Осмотрительный вице-канцлер опасался вражды англичан и был прав. Опрометчивый контр-адмирал не опасался и попал в беду.

Неудовольствие Потемкина, то, что светлейший прогнал Джонса, а царица не определила его в новую должность, поощрило «бульдогов». Еще громче, еще злобнее заклацали они челюстями и наконец вцепились в горло ненавистного бродяги. Не обошлось, думается, без потачки Степана Иваныча, г-на Шешковского.

Слушайте!

Джонс жил на Миллионной, в шереметевском доме, там

квартиры сдавались внаем. Как-то, ненастным утром, сидел он у себя и писал в Париж Джефферсону. Слуга ушел в лавку, на звонок Пол сам отворил дверь. Он и моргнуть не успел, как смазливая девчонка лет этак-пятнадцати шмыгнула в комнаты и давай лепетать — буду, мол, стирать, шить, стряпать… И вдруг повисла на шее у Джонса, покрывая лицо его поцелуями. Сообразив, каков ее промысел, Пол выхватил кошелек, сунул девчонке несколько монет и выпроводил на лестницу. Ей бы кланяться, трудиться-то не пришлось, а монеты, вот они, но девчонка голосила, рвала на себе платье, царапала щеки. Невесть откуда вывернулась как на помеле, патлатая ведьма и тоже заголосила. Сбежались жильцы, дворники, горничные. Старуха и девица, тыча пальцем в обомлевшего Джонса, визжали, как бесноватые: «Обесчестил! Обесчестил!»

В управе благочиния что-то уж больно спешно встали на защиту попранной невинности. Над Джонсом почернело небо. Ему грозил адмиралтейский суд, а там заседало несколько «бульдогов». Он обивал сановные пороги, дальше порогов его не пускали. Дворцовый камер-лакей с наглой улыбочкой указал адмиралу на дверь.

Джонс отчетливо, яростно сознавал, что девку подослали, а ведьму подкупили. Англичане гадили, проклятые англичане! Но кто, кто именно? Даже под угрозой колесования Пол вспорол бы подлецам брюхо.

Его раскаленное отчаяние можно было погасить лишь кровью. Пол Джонс, адмирал, сорока двух от роду, зарядил пистолеты… Но тут-то и вмешалось провидение. Такое случается: за минуту до того, как щелкнет курок, провидение резко меняет курс событий. На сей раз оно вышвырнуло моряка на улицу, будто пылающую головешку. Его лихорадило, прохожие сторонились Джонса. А провидение влекло Пола в 7-ю линию Васильевского острова, в дом Козлова.

Гаврила Игнатьевич еще не закончил поясной портрет Джонса, однако на пороге самоубийства вряд ли помышляют о совершенстве собственного изображения. А раз так, стало быть, именно провидение влекло несчастного в дом профессора живописи.

Гневный и вместе растерянный адмирал вторгся в компанию пирующих. Он озирался, как затравленный. Клянусь, даже у сторожа покойницкой защемило бы сердце. Пригубил бокал и с отвращением отставил. Грохнул по столешнице: «Подлейшая клевета!» Вскочил, стал ходить и рассказывать, как было дело. Его понимал один Каржавин. Прочие, не разумея по-английски, испуганно таращились: господин адмирал рехнулся.

Заступник нужен, заступник, решил Каржавин, ужасаясь положению Джонса. Сильного мира сего, казалось Федору Васильевичу, можно было бы без особого труда сыскать среди знакомых там, где мир перевернулся вверх тормашками, но здесь… Он будто бы лбом уткнулся в шлагбаум. И вдруг как осенило: Сегюр!

В филадельфийском отеле «Тронтин» граф Сегюр провозгласил: «Каждый, кто воюет за свободу Америки, мой ратный товарищ!» Теперь граф представлял Францию при дворе петербургском. Веселый, остроумный, он пленял высший свет; пленяя, обзавелся важными дворцовыми связями и в Петербурге, и в Гатчине, у наследника престола.

Итак, нынешний посланник протянет руку бывшему ратному товарищу? Увы, дипломатическая служба не только не способствует расцвету товарищества, но и предполагает увядание этого похвального чувства.

Ах, как радостно каяться — худо думать о человеке, а тот, оказывается, способен на порывы благородства.

Сегюра тоже возмутило непотребство, учиненное «бульдогами» над бесстрашным шотландцем. Свежее лицо посланника — приятная вмятинка на подбородке, темные блестящие глаза и подвижная, словно бы порхающая, когда он смеялся, левая бровь, — лицо его выразило досаду, гнев, озабоченность. Собравшись с мыслями, он взял бумагу, обмакнул перо и стал писать.

Около полуночи карета Сегюра остановилась у ворот шереметевского доходного дома на Миллионной. Граф взбежал на третий этаж. Он застал Пола в мрачно-нетерпеливом ожидании.

— Полноте, дорогой адмирал, успокойтесь, — мягко сказал Сегюр. — Кажется, и на море бывают бури, а? Не так ли? — И протянул заготовленное письмо на высочайшее имя. — Перепишите и подпишите. Отправьте почтой: императрица запретила вскрывать письма, ей адресованные. Она выслушала клевету. Пусть теперь выслушает опровержение клеветы. А я, — замкнул посланник, — я, дорогой адмирал, постараюсь все уладить.

Луи-Филипп Сегюр постарался. Грозовая туча адмиралтейского судилища растаяла. Но, увы, это же верно: клевещите, клевещите, что-нибудь да останется. Все уладить не удалось. Нового назначения Джонс так и не получил, а получил двухгодичный отпуск, в сущности увольнение вчистую.

Он уезжал осенью. Лил дождь, лохматил лужи ветер. Джонс ехал в Варшаву, далее — в Париж. Каржавин дал ему письмо и

деньги для Лотты.

## 5

Враги человеку — домашние его. Под отчей кровлей ели поедом, и Каржавин отряс прах со своих ног. Поселился сперва в 15-й линии Васильевского острова, потом перебрался на Екатерининский канал.

Жил скудно. Лотте посылал изредка; она обижалась на его скаредность, он — на ее обиды. Экономный во всем, себя не экономил. Спозаранку дотемна писал, переводил. Писал трактат об американской революции. Переводил пусть и чужое, по душе близкое — с французского и английского.

В те времена гонорар определяли так. Возьмет покупщик-издатель рукопись — плод непорочного зачатия, трудов и вдохновений, — подержит на ладонях да и шмякнет на весы.

— Тэ-экс, извольте двести рублев ассигнациями.

А ты, автор, ты бумаги, чернил да свечей извел на двести пятьдесят. Но покупщик неумолим.

Скудно жил Каржавин, однако как не накрыть стол для тех, кто не живет хлебом единым.

Эти петербуржцы в разбитых сапожонках, в одежке на рыбьем меху, эти писаря, регистраторы, выученики Академической гимназии, младшие служители кадетского корпуса, эти люди третьего чина были милы Каржавину своим неприятием самодержавства, ломоносовское верой в знание, ощущением в себе энергии первого толчка.

Чаще всех приходил к Федору Васильевичу Федор же Васильевич. В Кречетове, отставном поручике, было сходство с Полом Джонсом — вспыльчивость, страстность, неуживчивость. Да и некоторое внешнее сходство — низенький, жилистый, быстрый.

В молодости Кречетов служил аудитором Тобольского полка Финляндской дивизии; дивизионным обер-аудитором был Радищев. Не утверждаю, будто обер-аудитор и в неслужебно влиял на подчиненного аудитора. Утверждаю: годы спустя, когда на Петровском острове и в своем городском доме на Грязной дописывал Александр Николаевич «Путешествие из Петербурга в Москву», тогда же на Екатерининском канале, в сиром и сумрачном каржавинском углу выписывал Кречетов страницы из американского путешествия своего тезки. Потом отдавал верным друзьям для снятия копий — поручение мучительное: неразборчивость почерка могла свести с ума. Копии пускал по

рукам; «рук» не жадных, а жаждущих находилось немало.[44]

Бывший аудитор исполнял поручения клиентов по разного рода судебным тяжбам. Пробавляясь на медяки, громоздил циклопические проекты — от упразднения крепостного состояния до «скороучения читать и писать», от введения конституционного правления до учреждения «общего банка». Каржавин, случалось, посмеивался над его «булыжным» слогом. Кречетов огрызался полушутя-полувсерьез: меня, мол, не холили в коллеже.

Он сам себе был коллежем. Каржавин дивился его начитанности. И ставил выше всех, с кем свел знакомство в России.

Кречетов был человеком дела. Он учредил просветительское общество; выдал в свет журнал «Не все и не ничего». Обладая аттестатом учителя словесности, намеревался открыть училище. Ему говорили: «Зачем? Милостью государыни они уже есть». Он саркастически усмехался: «Государыня только по губам мажет.

Тщеславия у царей всегда с избытком». И объяснял близким людям: «Не такие заведем школы. А такие, чтобы учить простолюдие, баб тоже, не одной лишь азбуке, нет, — направлению к вольности, отвергающей всевластие самодержавия». В годы полковой службы присмотрелся к солдатам, разделил угрюмую, тяжелую, неизбывную ненависть к барам, равно цивильным, статским и к армейским да гвардейским. И теперь, доверяя сокровенное ближайшим из близких, говорил: «Убеждать надо солдат, любым предлогом пользоваться и убеждать: без вашей, ребята, подмоги мужики так и пребудут в позорном ярме, а вот ежели вы, ребята, в урочный день командиров-то к ногтю, вот тогда…»

Колючий и гневливый, не имея за душой и гроша, имел он в душе сокровище — недремлющую совесть. И Каржавин не только уважал Кречетова, нет, любил. Сильно, скрытно, нежно любил. (Несколько лет спустя, в девяносто третьем, убивался Каржавин, плакал, слез не стыдясь, — Кречетова заточили в крепость Петра и Павла.[45]) Сдается, и Кречетов платил Каржавину той же монетой. Не было случая, чтобы вспылил, поссорился. Напротив, замечалось даже и нечто ему несвойственное — что-то похожее на смирение: Федор Васильевич Каржавин воочию видел революцию, восставший народ видел. Передуманное там не коснело, не остывало, а сызнова обдумывалось здесь, под крышей дома на Екатерининском канале. И с пером в руке, зависавшей над раскрытой чернильницей. И за столом в час вечерних собраний.

Учительство было его призванием. Оно брезжило еще на берегу Сены, на антресолях, где мальчик Теодор учил грамоте девочку Лотту. И в Троицкой лавре, где коллежский актуариус натаскивал семинаристов. И потом, и Виргинии, где его ученики зубрили французские вокабулы. Покойный дядюшка Ерофей внушал племяннику: уча других, мы учимся сами. Но лишь теперь, вечерами, за столом, глаза в глаза, лишь теперь это обрело отнюдь не школярский смысл.

Когда королевская рать сложила оружие, Радищев сложил оду. Жалея о личном неучастии в американской войне за независимость, славил воинов-победителей. Обращаясь к Америке, восклицал: «Ликуешь ты!»

В послевоенной Америке Каржавин видел то, что провидел Джефферсон: спуск по склону холма, небрежение правами народа. Негодовал: власть по деньгам возрастает, древо Свободы не зеленеет.[46]

Радищев в оде «Вольность» пел победителей. Каржавин скорбел о фермерах Даниела Шейса. Обращаясь к Америке, Радищев восклицал: «Ликуешь ты!» И прибавлял: «…а мы здесь

страждем!..» Теперь он знал — Америка уже не ликует, а «мы здесь» еще страждем.

Но навещал ли Каржавин Радищева? О, странные законы памяти — не смею ответить утвердительно. Однако, перечитывая «Путешествие», слышу и американский мотив, навеянный неким другом. Нет, гадать не буду. Не потому лишь, что боюсь наврать, а и потому, что шибко подался вперед и пропустил событие чрезвычайное: летним днем восемьдесят девятого года столичные «Ведомости» уныло, как на панихиде, известили о парижском мятеже и падении Бастилии.

Какой день, читатель, какой день!

Незнакомые люди обнимались на улицах, поздравляя друг друга. Глаза Кречетова блистали слезами восторга. Голос Каржавина пресекался: «Вельможи нам кажутся сильными только потому, что мы на коленях. Так встанем же!»

# ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

## *1*

Маститого ученого спросили однажды, какие документы прошлого обладают на его взгляд наибольшей ценностью.

— Если бы вы, — улыбнулся метр, — предложили антиквару неопубликованное письмо Наполеона, вы сразу стали бы богатым человеком… Минутку, мсье, — уже серьезно продолжал метр. — Минутку! Вот если бы в ваших руках оказалась совсем простая вещь… Ну, скажем, приходо-расходная книжка времен революции: сколько заплачено за пучок лука в день взятия Бастилии, сколько стоил фунт хлеба в то утро, когда королевская голова слетела в корзину… Вот такая простая вещь, понимаете? Вы несете ее антиквару и, буде он предложит вам столько золота, сколько весят эти записи, пошлите наглеца ко всем чертям. Вы должны получить куда больше! Да-да, такие документы — клад для историка.

«Кувшин Перетты» не назовешь приходо-расходной книжкой, хотя будни революции, включая «пучок лука» и «фунт хлеба», отразились в Лоттиных тетрадках. Отнести антикварам? Дудки! Держу при себе. И заглядываю в этот «Кувшин», описывая дальнейшее.

## *2*

Теодор уехал, Лотта сменила гостиницу «Иисуса» на затхлые меблирашки, населенные прощелыгами. Конечно, дешевле, но какая неосмотрительность: триста ливров, присланные Теодором на акушера и сиделку, как ветром сдуло.

Лотту выручили супруги Плени. Если бедняки не всегда добряки, то и добряки не всегда бедняки: Плени владели гостиницей.

Они ничем не были обязаны Лотте. Наоборот, она была обязана г-же Плени несколькими заказами на шитье. Теодор клеймил скаредность буржуа вообще, парижских в частности. Он был не совсем не прав. В отношении же супругов Плени оказался бы совсем не прав.

Люди почтенные, они испытывали желание отдаться заботам дедушки и бабушки. И обратить свои заботы не на мальчика, а на девочку. Правда, это желание шло вразрез с желанием Теодора,

ожидавшего сына, но Лотта не возражала. Когда же она, расплакавшись, призналась в своем «банкротстве» — утрате трехсот ливров, — старики забрали Лотту из меблирашек и поместили у себя, на своих хлебах. А когда Лотта заверяла в непременном погашении долга, они махали руками, как маленькие мельницы на картинке из детской книжки.

Она сообщила мужу о перемене адреса и перемене обстоятельств. Ответ Теодора дышал нежностью: «Целую тебя, по крайней мере твое изображение», — у него был Лоттин портрет, им же исполненный.[47]

В конверте находилось и письмо для Плени. Оказывая внимание моей жене, писал Каржавин, вы, сударь и сударыня, отдаете дань человечности; вскоре ей потребуются особые услуги, прошу вас, помогите; если возникнет опасность, пожалуйста, спасите мать даже за счет ребенка; не отказываясь жить ради него, мне хотелось бы жить для него только вместе с матерью.

Роды близились. Старики удвоили заботливость. Запретили Лотте даже рукоделие, требовали долгих прогулок. И она гуляла часами, пока боль в пояснице не уложила ее в постель.

Акушер ничего не понимал. Лотте стало совсем невмоготу, г-жа Плени послала за другим акушером. Этот мял и ломал бедняжку так, словно она не хотела подняться на эшафот, воздвигнутый посреди Гревской площади. Опуская в карман гонорар, палач объявил, что мадам вообще не беременна, а опасно больна и ей давно пора лечиться, но только не у акушеров. В прихожей добавил с уха на ухо: она не протянет и полгода.

— О чем вы с ним говорили? — спросила Лотта, приподнимая голову с подушки.

— Милая, он сказал мне не больше, чем вам. Я не верю ему.

Г-жа Плени не отходила от Лотты ночь напролет. Утром отправилась за другим врачом. Этот ощупывал грациозно. Его заключение гласило, что мадам, несомненно, беременна, нужно брать ванны и пить воду вишийскую или седлицкую.

Лотта послушно исполнила назначения, и наконец *началось*. Последнее, что запечатлелось в ее меркнущем сознании, было выражение крайнего любопытства на физиономии грациозного медика и отчаяния в глазах г-жи Плени.

Позже, когда уже все было позади, она передала Лотте резюме эскулапа: «Мы с вами, любезнейшая, свидетели феномена — мясо и кровь, и ничего больше».

Поправлялась Лотта на удивление быстро. Минула неделя — передвигалась по комнате без посторонней помощи. Но даже уйди Лотта на край света, она не ушла бы от тоски. И прежде случалось печалиться, тосковать, но прошлая тоска была

усиленным продолжением печали, а эта была иной, никогда не испытанной, телесной.

Теодор, известившись, утешил Лотту. Теперь, написал он, меньше забот, меньше трудностей, покоримся и начнем сначала… Грубоватая, нарочитая бодрость, маскирующая страдание? А на Лотту так и прянуло равнодушной холодностью, у нее брызнули слезы, и сквозь эти слезы она взглянула на письма Теодора.

Первое — после отъезда — было из Гавра. Ни тени грусти! О, конечно, на крыльях летел в Россию, да ведь та, которой он писал: «моя дорогая жена», осталась в Париже. И вот ни тени грусти, просто-напросто подробности. Начиная от приятности путешествия в наемном кабриолете (дилижанс обошелся бы втрое дешевле, но дилижанс, видите ли, оказался переполненным) и кончая прекрасной постановкой танцев на сцене гаврского театра. Ни единым звуком не обмолвился о чувствах, которые, казалось бы, должны были быть особенно острыми в первые дни разлуки. А ведь ее сердце трепетало от страха за Теодора. Едва корабль оставил Гавр, над Францией разразилось бедствие. Небо ниспослало не град, а куски льда фунтов по восемь, даже и вдвое весомее. Многие провинции сильно пострадали, нижнюю Нормандию постигло наводнение. О, с каким ужасом она думала, каково на море. Теодор родился в рубашке, ничего не приключилось, о чем он и удосужился известить лишь полтора месяца спустя.

Неделя за неделей, месяц за месяцем Лотта жила ожиданием его писем. А письма приходили все реже. Нет, Лотта не допускала мысли о том, что Теодор ведет недостойную игру, однако срок супружеского воссоединения оставался неопределенным, и эта неопределенность была худшей изо всех, что существуют на свете.

К тому же эти редкие, нерегулярные поступления денег или векселей. У Теодора скверное обыкновение: вместо того чтобы прибегать к посредству голландских банкиров, обеспечивающих семь с половиной процентов, он зачастую полагается на оказии. Вот и стучись в чужие двери, как просительница, — омерзительно, утомительно, обидно.

Лишь однажды оказия выдалась аккуратной. Едва приехав в Париж, Пол Джонс представился мадам Каржавиной. В «Кувшине Перетты» отмечено: «Человек в высшей степени благовоспитанный».[48] Он лестно отозвался о Теодоре, и это не вызвало поджатия Лоттиных губ — она сразу прониклась доверием к г-ну Джонсу. Э, упреки Теодора были бы тут и вовсе неуместны. Совершенно неуместны!

Теодор, случалось, раздраженно упрекал жену за то, что она

прежде всего видит в его знакомых недостатки, а не достоинства, и что в такой предвзятости кроется ее, Лоттин, собственный недостаток. Она отвечала, что жизнь развеивает иллюзии и что его, Теодора, знакомые, считавшиеся даже друзьями, нимало ею не интересовались во все годы его отсутствия. Теодор пожимал плечами: «Твоя гордость слишком требовательна, ты желаешь, чтобы тебя ценили так же, как меня. А еще больше желаешь, чтобы меня не ценили, дабы я не переоценил самого себя».

Право, не так уж и ошибался Каржавин. У Лотты, когда хвалили Теодора, словно бы повышалась кислотность. Не то чтобы она так уж опасалась зазнайства, задранного носа. Нет, другое. Странно, но похвалы Теодору отзывались в душе как бы умалением, если не отрицанием, ее собственных достоинств. Он неутомим, он трудолюбив? Ха, что ж тут такого! Каждый, кто не рожден с фамильным гербом на заднице, трудится в поте лица. Он пи-и-ишет? Прекрасно! Но сие вовсе не значит, что он занимает особое место под солнцем. У каждого свое «перо» и своя «чернильница», будь то башмачник, будь то швея. А его отношение к парижским друзьям? Когда-то она была доверчивой; минувшие годы сделали ее подозрительной, она сильно сомневалась в искренности парижских приятелей Теодора. И еще: любишь жену, оскорбись за жену. Этого не было, и это было оскорбительно.

И все же после того, как Теодор уехал в Россию, она навещала его парижских знакомых. Однако не учтивости ради, а ради исполнения мужниных поручений: он заказывал типографский шрифт, клейма, штемпели, слал граверам-картографам карты Балтики и Крыма, книги… Лотту расспрашивали, каково Каржавину после столь долгого отсутствия? Все хорошо, все очень, очень хорошо, отвечала она, то есть говорила обратное действительности.

Да, отдавала визиты, скрывая неприязнь, смиряя гордыню, умеряя подозрительность.

Вот уж чего не было, так не было, когда визиты отдавали ей, ибо визитерами были не парижане, а русские, жительствующие в Париже, — г-н Дубровский, секретарь посольства; отец Павел, священник посольства.

Первый — дородный и румяный, лукавый и добродушный — казался Лотте более русским, нежели второй — бледный, нервный, горячий. Но оба были соотечественниками Теодора, и это решало дело — веяло приобщением к его родине и почему-то вселяло надежду на скорую встречу.

Этой встречи и они желали, но не там, в Петербурге, а здесь, в Париже. В тождестве желания отсутствовало тождество мотивов,

хотя последний определялся одинаково: французские условия очень бы споспешествовали трудам Федора Васильевича.

Лотта недоумевала — что за условия, какие? Революция — это множество «нет»: нет хлеба, нет дров, нет заработка, нет свечей. Условия!

Дубровский, соглашаясь, стоял на своем: нет управы благочиния, нет цензорства полицеймейстеров. «Менее русский», не оспаривая Лоттиных «нет», отодвигал их в сторону: в годины революций его бывший учитель дышит полной грудью — мысленным оком он видел Каржавина в городе, где гудит набат.

## *3*

Гудел набат и в ночь на понедельник. Поднял бы на ноги весь Париж, если бы весь Париж спал. До сна ли беднякам? — дети терзали душу протяжным, жалобным: «Хочу-у-у е-е-есть… Е-е-есть хочу-у-у…»

А в версальском зале пировала королевская гвардия. Топтала трехцветную патриотическую кокарду, нацепляла белую, королевскую, дамам прикалывала на платье белые королевские лилии. В разгар оргии Людовик вернулся с охоты. Пирующие обнажили шпаги: «Государь, разгоним чернь!»

Звон версальских бокалов отозвался парижским набатом.

Лотта увидела толпы женщин. Кричали о заговоре версальцев, намеренных покончить с Национальным собранием. Кляли короля и королеву, королеву злее и непристойнее. Кричали, что короля со всем его выводком надо привезти в Париж, как заложников, и пусть-ка аристократы шевельнут мизинцем.

Затрещали барабаны, солдаты вышли из казарм. Женщины простирали руки: «Дайте нам оружие!» Солдаты смеялись: «Ступайте в ратушу! Берите даром!»

Раздобыв оружие в Отель де Виль, тысячи женщин устремились на площадь с конной статуей Людовика XV. Этот сладострастник говаривал: «После меня хоть потоп», — и вот потоп запруживал площадь, где в девяносто третьем гильотинируют его внука.

Оттуда, с площади, по очереди впрягаясь и катя пушку; тоже захваченную в ратуше, двинулись через весь город, к заставе, к дороге на Версаль.

День был холодный, то грозно блистающий осенней синью, то грозно шумящий проливным дождем. На лафет вскакивала, размахивая саблей, Теруань де Мерикур, амазонка революции —

шляпа с большим пером, талия стянута широким кавалерийским ремнем, голос сильный и звонкий: «Мы победим!»

Шествие миновало заставу и, обретая стройность, устремилось по дороге на Версаль. Из задних рядов передавали, что следом идут ремесленники и грузчики во главе с великаном Журденом, мясником Крытого рынка, известным парижанам по кличке Головорез. На Лотту он всегда производил неприятное впечатление — воплощенная кровожадность, — но теперь она была рада, что этот Головорез тоже направился в Версаль.

А национальные гвардейцы все еще оставались в городе. Они пререкались со своим начальником маркизом Лафайетом. Герой американской войны, похвалы которому не однажды слетали с уст Теодора, медлил с приказом о выступлении. Он сел на коня лишь после того, как услышал: «В Версаль или на фонарь!»

Лафайет пришел в Версаль поздним вечером, а там уже с четырех пополудни гремело: «Хлеба! Хлеба!»

Все началось у дворцовой ограды, сквозь которую виднелся огромный двор с отрядами лейб-гвардии и еще каких-то полков.

Женщины приблизились к начальнику караула.

— Пропустите нас, господин офицер.

— Это невозможно, — надменно ответил лейтенант. — Да и не к чему.

— Надо бы потолковать с королем.

— Чего вы хотите от его величества? — брезгливо осведомился лейтенант.

— Сущего пустяка: пусть подаст в отставку.

Раздался хохот: «В отставку! В отставку!»

И парижанки в замызганных юбках сплясали сарабанду. Еще не отдышавшись, крикнули:

— Ну и довольно, ребята! Отворите, мы пойдем к нему.

Караул не двигался.

— Не хотят, — пронеслось над толпой. — Не хотят!

— Ну так глянем на них в подзорную трубу!

Толпа расступилась.

Жерло пушки, облепленной дорожной грязью, уставилось на гвардейский караул. В толпе, пришедшей из Парижа, была и прислуга, но только не артиллерийская. Никто не управился бы с этой пушкой, да она и не была заряжена. Однако караул внезапно открыл огонь.

Лотта будто оглохла. К ногам ее упала девушка, передник

мгновенно набух кровью Лотта отшатнулась, ее затолкали, завертели, едва ие сшибли, и вот уже ее несло, как в ревущем потоке, — на караул, на ограду, на дворец.

— Хле-е-еба! — прокатилось под дворцовыми окнами.

— Хле-ба, хлеба, — дробилось о дворцовый фасад.

— Хлеба-а-а-а, — взлетело выше дворцовой крыши.

А там, во дворце, тряслась губа королевы: «Решайтесь! Надо же решиться…» Король мямлил: «Осторожно… Необходима осторожность…» Наконец он решился, но совсем не на то, чего требовала королева: принял депутацию.

Потом говорили, что при виде короля депутация оробела. Людовик ободрился: *мегеры* оказались нестрашными. Он приобнял одну из них и велел передать товаркам, что король прикажет накормить своих добрых подданных.

Тем временем в рядах лейб-гвардейцев все громче раздавались призывы покончить с «рыночными торговками» и «парижскими шлюхами». Однако солдаты других полков, совершенно не считаясь с обстоятельствами, позволили себе роскошь дискуссии о средствах достижения «победы над бабой». Все соглашались, что холодным оружием ее, шельму, не проймешь; несогласия и притом резкие обнаружились в рассуждениях на тему, что предпочтительнее: ружье или пушка? — первое быстрее перезаряжается, зато удар второй мощнее. Бесспорным же было то, что лейб-гвардейцы не дождутся поддержки этих двух полков, недавно расквартированных в Версале.

Но вот вернулась депутация. Посулам его величества никто не поверил.

— Король врет!

— Австриячку — на вертел!

— Хлеба! Хлеба!

Стемнело. Полил дождь, деревья зашумели. Слышалась перебранка лейб-гвардейцев с армейцами. Мелькали огни. Около полуночи прибыли парижские национальные гвардейцы. Спешившись, Лафайет отправился во дворец.

— Вот явился Кромвель, — зашипели придворные. — Он обезглавит короля.

— Кромвель не явился бы один, — обиделся маркиз.

Лафайет заверил Людовика в своем желании избежать крови. Ваше величество, надо взбрызнуть огонь мятежа водой уступок. Пусть лейб-гвардия, увы, ненавистная народу, покинет дворец, а караулы займет Национальная гвардия. И тогда он, маркиз Лафайет, ручается за безопасность их величеств. Людовик вяло согласился. Во втором часу ночи дворец затих.

Дрожа от сырости, Лотта прикорнула под какой-то аркой рядом с оранжереей. Отошедший день был днем движения, действий. Лотту поглощало чувство единения, сограждaнства, а теперь, в сырой версальской тьме, это чувство, поникнув, съежилось; Лотта ощутила усталость и беспомощность. Она забывалась тяжелой дремотой, пробуждаясь внезапно, пугалась так, словно сейчас умрет, потом опять дремала, поникнув и ежась.

И вдруг вскочила, словно ее ударили по лицу.

— Ага! — воскликнул тот, кто направил на нее фонарь.

Сердце Лотты билось неровно, быстро.

— Мадам, — сказал тот, кто держал фонарь, — не бойтесь, это я, Максим.

Белым днем в Париже Лотта сразу признала бы драгуна, одного из гостей Каржавина в отеле «Иисуса», но сейчас, здесь, признала не сразу, а Максим уже набросил на Лотту свой мундир, заставил вдеть в рукава и весело приказал: «Вперед, мадам! Наши уже там!»

Лотта очутилась на плохо освещенной дворцовой лестнице, услышала топот и голоса и, еще не понимая, что же, собственно, происходит, прониклась давним, позабытым детским азартом, с каким бежала вверх по крутым склизким ступенькам, когда Теодор, он же разбойник Мартен, беспощадный мститель за бедняков, брал штурмом Пале-Бурбон и, оглядываясь на Лотту, патетически шептал об ортоланах, воробьиных филе, лакомстве вельмож. А драгун Максим опять рассмеялся: «Скорее! Мы опаздываем в театр!»

Тот самый лейтенант, что не хотел пропустить женщин, а потом внезапно открыл огонь, этот командир лейб-гвардейцев — в правой пистолет, в левой шпага — отважно сопротивлялся натиску взбесившейся толпы. И это его вопль донесся со ступеней мраморной лестницы: великан Журден оторвал лейтенанту голову. И вот уж она кивала, покачиваясь на острие пики.

Шум схватки разбудил Лафайета. Длинноногий рыжий маркиз, соскочив с постели, ринулся на звон оружия. Вскочил на стол, раскинул руки, воззвал натужно — прекратите насилие! Негодующий клич едва не опрокинул маркиза:

— Короля в Париж!

Лафайет опрометью бросился в апартаменты Людовика. Извинился за беспорядок в своем туалете, склонился в глубоком поклоне: добрый народ желает видеть доброго короля в столице королевства. Опустив глаза, Людовик согласился.

Запрягли лошадей. Остатки дворцового рыцарства, обнажив шпаги, выстроились по бокам королевского экипажа. Но сказано

было:

— Шпаги — в ножны или головы — на пики!

Рыцари покорились. Король, шмыгая носом, вымученно улыбался. Королева, поводя плечами, зябко куталась в черный траурный плащ.

Ликующая процессия двинулась, кто-то весело крикнул:

— Версаль сдается внаем![49]

## *4*

За годы отсутствия Каржавина число петербургских книжных лавок значительно возросло, и это не «статистика», а на самом деле: была одна-единственная, теперь — пятнадцать, двадцать. Большей частью в Гостином и поблизости от Гостиного.

Иоганн же Карлович Шнор обосновался на Мойке, рядом с Демутовым трактиром, в доме 283. (Несколько лет спустя в доме 284 открылся первый в Петербурге писчебумажный магазин; торговали прекрасной бумагой: возьми с золотым обрезом, возьми без золотого обреза — летит перо, как пух от уст Эола.)

Так вот, г-н Шнор, человек осмотрительный и основательный, держал лавку на Мойке. Не поручусь, что некий сын туманного Альбиона, окажись он в Петербурге, вышел бы из его лавки с пустыми руками. Этот малый был не промах — скупал по дешевке заведомый книжный хлам, дабы правнуки разбогатели: ведь хлам-то с течением времени все дороже, все дороже, словно бы в водах этого могучего течения смывается дрянь и обретаются свойства не только почтенные, а и достопочтенные. Малый, скупающий макулатуру, был, право, не дурак. И какая трогательная забота о потомстве![50]

Макулатура, однако, занимала в лавке темный угол, сочинения серьезные теснились на полках. В год, о котором сейчас речь, то есть 1790-й, у г-на Шнора продавался трактат Себастьяна Леклерка об архитектуре в переводе Каржавина. Надо было видеть, как Федор Васильевич оглаживал, ощупывал, перелистывал свежее типографское изделие. Да вдруг и нахмурился. Блеснув глазами, словно испепелил оборот титульного листа — дозволение печатать удостоверяла управа благочиния:

— Может ли полицеймейстер-палочник судить о науках и художествах?

На Мойку, к г-ну Шнору влекла его не только библиофильская жажда. Вот уж второй десяток лет Иоганн Карлович владел типографией. Г-н Шнор превосходно поставил

дело. В те времена жалованье даже коронным чиновникам жаловали с проволочками, а немец платил аккуратно. Типографщики с Васильевского острова, академические, просились к Шнору. Сеня Селивановский, впоследствии славный издатель, а тогда зеленый юноша, изучал ремесло у Шнора.

Отрадно вдыхать запах дубовых станов и поташа; праздничный, как на масленой неделе, теплой пшеничной муки, идущей на клейстер, и этот запах кожаного валика, густо пропитанного краской — тискальщик покрывал ею печатную форму. А стопы бумаги голландской или ярославской от Саввы Яковлева? Казалось, каждая из двадцати дестей, составляющих стопу, ждет не дождется наборного текста. А шрифт? О, краса литеров, отлитых словолитцем! Грациозный, как цапля, гробе цицеро — для изящной словесности; отчетливо-строгий миттель антиква — для официальностей; и этот курсив малого размера, ласкающий глаз, как бисер.

Если Смуглая Бетси требовала рубленого свинца, то Золотой Ключ требовал свинца типографского. Если она не могла обойтись без крепких солдатских объятий, то он не мог обойтись без «медведей». Эдак на парижский манер называл Каржавин тискальщиков: топчась на одном месте, тискальщик раскачивался от станка к ящику с краской, от ящика к станку — ни дать ни взять косолапый в клетке. А наборщиков на тот же парижский манер Каржавин называл «обезьянами»: литеры из наборной кассы таскали проворно, как орехи из картуза.

В заведении, подобном шноровскому, видел Каржавин *мету* дальнюю. (Ему по душе пришлось радищевское, сказанное об американской революции: «пример твой мету обнажил»; понимай: *цель*. И Каржавин теперь часто произносил: «мета»…) Да, такой размах, как у Шнора, был метой дальней. А ближней? По одежке протягивай ножки! Одежка имелась, но коротковатая. Каржавин помышлял о мете ближней, Радищевым уже достигнутой.

Здесь, на Мойке, у Шнора приобрел Радищев печатный станок, шрифт, пресс. Все могло уместиться в одной комнате. И уместилось. В петербургских дворцах устраивали домовые церкви. В квартире близ Владимирской церкви устроилась домовая типография. В домовых церквах крестили и отпевали рабов божиих. В домовой типографии предрекалось восстание крепостных рабов. Написанное Радищевым обращали в печатное Богомолов и Пугин, таможенные надзиратели. Те самые, что навещали Герасима Кузьмича Зотова, когда он служил в таможне.

Мечта Зотова исполнилась: в Суконной линии Гостиного двора он держал книжную лавку. На газетные объявления не скупился и уже прослыл известным книгопродавцем.[51]

В Суконную линию, к Зотову наведывался Каржавин нередко, как и Зотов к нему на вечерние чаепития. А вот в июньские дни они не виделись. Книгу принес Кречетов, взволнованный, можно даже сказать, потрясенный. Каржавин, вопросов не задавая, взял «Путешествие из Петербурга в Москву» и читал, читал без лампады.

На другое утро бросился в Гостиный. Летел, повторяя: «Пример твой мету обнажил», но об Америке не думал, а думал о Радищеве и еще о том, сколько заберет у Зотова — три? четыре экземпляра? И хватался за карман, цел ли кошелек, хотя прекрасно знал, что Герасим Кузьмич и в долг отпустит.

Кошелек был на месте. Зотова на месте не было.

Стуча деревяшкой, подошел сторож, горестно доложил:

— Намедни этот, который у нас, значит, приставом, возьми да и заарестуй Герасима Кузьмича. — Вздохнул. — А за что? Ни в штрафах, ни в бегах, ни в подозрениях не бывал-с. — Повторил еще горше: — Да-а, намедни…

— Когда?

— Вчерася у нас — что? — вдумчиво обратился сторож к самому себе, сам себе и ответил: — Вчерася у нас Петра и Павла. — Выставив хронологическую веху, произвел расчет: — Выходит, заарестовали двадцать шестого, а ежели нонче тридцатое, то и выходит…

Каржавина как вихрем закружило: у такого «духовника», каков Шешковский, выложит Зотов все — и о чем глаголят на Екатерининском канале, и о чем пишут.

Вечером пришел гостинодворский сторож.

— Цидуля, ваша милость, — сказал он с таким видом, будто опять взял Очаков, но притом ноги не отдал.

Зотов, оказывается, ждал Каржавина у себя дома, на Сенной. Едва Каржавин вошел, хозяин, приложив палец к губам, увлек его в угловую комнату, дверь запер, окна затворил. И прошептал молитвенно:

— Поклянитесь, никому ни звука.

Каржавин приложил руку к груди.

— В полиции находился, — сокрушенно известил Зотов. — Никитушка мытарил, обер-полицеймейстер.

— Ну? — спросил Каржавин, ободренный тем, что Зотов, оказывается, не в Тайную, не к Шешковскому угодил, а в полицию, к Рылееву, кавалеру телесно дородному, но умом хилому. — Ну-ну, и что же?

— Когда из темной-то выпускали, расписался: о чем-де речь шла, ни под каким видом, ни-ни, а то поступят со мною наистрожайше. Потому в прошу христом-богом: вы да я. Так?

— Дважды не клянусь, — сердито буркнул Каржавин. — Ты меня зачем призвал? Разглашать али не разглашать?

Зотов тяжко вздохнул и — «разгласил».

По высочайшему ее императорского величества указу дознавались: от кого получил «Путешествие»? Известно ль ему, кто сочинитель пасквиля? много ли успел сбыть? А еще дознавались…

Каржавин слушал, словно изморосью покрывался, мерещилась казенная карета, колеса каменно-тяжкие, будто жернова для помола костей. И покатились, покатились колеса: увозили Радищева…

## *5*

Он был уж в чине генеральском — действительный статский советник. Генеральство приосанивает, укрупняет жест и поступь. А г-н Шешковский пребывал в консервации. Тот же мышиный кафтанчик, застегнутый тусклыми оловянными пуговицами. Не ходил, а скользил, как жук-плавунец. Кончиком языка быстро-быстро, как ящерка, трогал сухие губы. Бледен был, изможден, будто сейчас из подземелья. А таинственной важностью веяло пуще прежнего. Захотелось хоть в чем-то ущучить его, осадить. Ничего лучшего не подвернулось, как напомнить о Поле Джонсе: подлый-де заговор против честного человека.

— Жонес? — Степан Иваныч просыпал дробный смешок. — Пустое. Не тут заговор… — Он пальцем круг провел, как бы очерчивая Тайную экспедицию. — А там, — он пальцем через плечо ткнул, будто сквозь стены крепости Петра и Павла.

— Так уж и за-го-вор, Степан Иваныч? Матушку пужаете, и только.

За спиной г-на Шешковского стояла императрица, по краю позолоченной рамы вилось: «Сей портрет величества есть вклад верного ее пса Степана Шешковского».

— Как можно государыню пужать? — он укоризненно покачал головой.

— Всех пужаете, всех, а вот Гаврила Романович но поддался.

Шешковского передернуло.

Объясню, в чем, собственно, дело.

Был такой сибирский наместник Якоби (или Якобий, не помню). На него поступил донос — дескать, лихоимствует. В Сенате заварилась свара: одни выгораживали — невиновен; другие напирали — виновен. Шешковский по каким-то своим соображениям топил этого Якобия. Екатерина повелела сенатору

Державину дать заключение. Шешковский пустился внушать Гавриле Романовичу, какое именно заключение ожидает государыня, он, Шешковский, завсегда осведомлен. А Державин взревел: слушай, ты меня со стези истины не совратишь, и не стращай, не стращай ты меня чрезвычайной к тебе доверенностью государыни… И еще, и еще, все грозней. Поперхнулся начальник Тайной, попятился.

Знаменательно: действие сенатской экспедиции встретило противодействие сенатора. И знамение: тайной полицейщине воспротивился *писатель*. Крепко и злобно засело это в мозгах г-на Шешковского. Его и передернуло при имени Гаврилы Романовича Державина. Вздохнул он и выдохнул: «Эх, судырь…»

Ну, думаю, сейчас он, как в пятьдесят шестом, заведет про «сложности» секретной службы. Оказалось, нет, о другом скорбел. Молвил печально:

— Му́ка гложет.

— Ой ли?

— А вот и не «ой ли», — приобиделся Степан Иваныч, и не то чтобы лично, а вроде бы служебно. — Как девки-то поют: «Во лесочке комарочков много уродилось». Уродились и такие — желают наставлять мужиков и мещан. К чему? — спросишь. Отвечаю: к околичностям. Каким? — спросишь. Отвечаю: осуждать утвердившееся правление. Людишки-то наклонны к буйству, а Вольтеры, поджигая своевольства, последствий не предвидят. Эвон, парижская чернь стекла бьет!

(Шешковские завсегда на «Вольтеров» валят, от них, мол, все пагубы. Иди толкуй Шешковским, что сперва возникает «дело», те или иные жизненные условия, обстоятельства; возникнув, отзываются словом. Вторичны они, «вольтеры»-то, вторичны. Скажешь: Емельян Иванович Пугачев не из чернильницы взметнулся. Г-н Шешковский удивится величанию «злодея Эмельки» (через «э» произносил почему-то) именем-отчеством и ответит: наущенье было, словесное прельщение. Ты ему о подрядчике Долгове, о мужиках-челобитчиках, что приходили к Зимнему, он и этот пример первичности экономики отвергнет: «Сговор был. В челе любого возмущения — слово, судырь ты мой».[52])

Он помолчал, потом спросил как бы без связи с предыдущим:

— Нашего анику-воина знаешь?

— Какого?

— А обера полицеймейстера.

— Кто его в здешней местности не знает.

— Вот, вот, — согласился г-н Шешковский. — А намедни Никитушка подписку ото всех домовладельцев отобрал: так и так,

обязуюсь за три дня извещать полицию, когда в моем владении пожар приключится. Смеха достойно, однако… Ты вникни: за три дня, а сие…

На колокольне Петра и Павла тяжело, но не звонко я твердо, как в стужу, а по-летнему, словно в большую подушку, ударили куранты.

— Смех, судырь, упраздни, — продолжал г-н Шешковский. — На меня господь беремя возложил: загодя извещать о пожаре, имеющем быть в державе. А ты заладил: «пужаешь, пужаешь»… Меня пужают, вот что, ме-ня! — Он огладил бумаги, белевшие на алом настольном сукне. Огладил и ласково поворошил, беззвучно шевеля губами, как это делал он, читая наизусть акафист Иисусу Сладчайшему. Но вслух повторил строго: «Не я пужаго — меня пужают».

На столе держал Степан Иваныч копию постраничных замечаний государыни к радищевскому «Путешествию»: «выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства»; «противу двора и придворных ищет изливать свою злобу»; «давно мысль ево готовилась ко взятому пути, а французская революция ево решила себе определить в России первым подвизателем»; «до протчих добраться нужно, изо Франции еще пришлют вскоро».

А всю копию не показал. Заметно было, кого-то или чего-то дожидался: в окна посматривал искоса, ножками (и по летнему времени валеные сапожки) елозил, вставал и скользил из угла в угол, руки сцепив за спиной и с какой-то подленькой шаловливостью поводя лопатками.

Нет, всю копию предъявлять не стал. А это вот повторил трижды и всякий раз с иным оттенком: задумчиво — «До протчих добраться нужно»; словно заклинание — «До протчих добраться нужно»; и вдохновенно — «До протчих добраться нужно». А потом, отзвенев замысловатыми ключами, извлек из потайного ящика книгу в багровом мягком сафьяне — «Реестр решенным делам по Тайной экспедиции». Утвердил на сафьяне указательный палец:

— Господа сочинители сгоды просятся. Даст бог день, даст и сочинителя. И несть тайны, иже не явлена будет. Одного из Франции уже прислали. Издадя, однако, веревочка вьется, подалее, нежели Франция. И-и, как еще подалее-то! Обвыкли Франция, Париж… А тут эвон, с того света…

Не приходилось гадать, в чей огород камешки. Ясно было, о ком он и о чем. И вот это «обвыкли» тоже понятно: Франция, Париж, как поставщики крамольного и крамольников, дело,

можно сказать, привычное, обыкновенное, а «тот свет» — это уж Новый Свет.

Императрица свою мету выставила, свою цель: добрались до Радищева, бунтовщика хуже Пугачева, до прочих, кои Пугачева не лучше, добраться нужно. Степан Иваныч, оглядчиво примериваясь, нашел кандидата, по всем меркам подходящего, — в гуще Вольтеров возрастал, в гуще бунта возмужал. Ай да Феденька, Васькин сын!

Плавал в канцелярии жидкий сумрак, Степан Иваныч, г-н Шешковский, свечи зажег — медленно зажег, словно бы даже ритуально, и вдруг встрепенулся: — Ага!

На дворе смолк стук казенной кареты, привезли Радищева.

## *6*

Заглядывал в окна, как в душу, некто бледный в черной епанче. Каржавин старался не замечать, но чуял неотступно: то была участь Радищева.

Лотте писал Теодор редко. Писал темными намеками, нетверд был на «линии» — подниматься Лотте с места или оставаться Лотте на месте.

Он писал — не домогайся моего доверия. Читать следовало: не могу я, не могу довериться бумаге. Она читала другое. И вспыхивала: твоя неоткровенность невыносима.

Писал — постарайся быть экономной. Следовало читать: боюсь лишить тебя последнего куска хлеба. Она читала другое. И гневалась: я не позволяю себе никаких излишеств, да и вообще всегда рассчитывала только на свои руки.

Он писал — не знаю, где окажусь к зиме. Читать следовало: даже ближайшее мое будущее в полутьме. Она читала другое. И мстительно парировала: черт побери, я могу уехать в провинцию, ну хотя бы в город Лан. (Оставалось лишь добавить: к Бермону.)

Положение Теодора ужасно? Да. Но ее, Лоттино, жестоко. Неизвестность хуже смерти. А Теодор опять молчит. Болен? Арестован? Умер? Нет, жив! Слава богу, жив. Как же понять это молчание? Чудовище!

Он пишет — очень желаю видеть тебя в России, да боюсь сделать несчастной, ибо супруге российского подданного могут воспретить возвращение на родину. Пусть так, отвечает она, одно твое слово — и я в пути. Он молчит еще несколько месяцев…

Сколь бы еще длилась эта мучительная неизвестность?

Вопросом задаюсь не риторически, а для того, чтобы подивиться, как сцепление множества обстоятельств и судеб,

казалось бы не связанных ни с Лоттой, ни с Каржавнным, как такие сцепления опрокидывают мучительную неизвестность, и вот уж нечего откладывать — поезжай в Гавр, поднимись на борт корабля. И прощай, милая родина. Бог весть, увидишь ли Париж? При мысли о расставании навсегда слеза затуманила бы Лоттин взор, но слеза еще не навертывалась, ибо Лотте не дано было знать, какие нити бесшумно прядут богини судеб человеческих, усталые, дряхлые Мойры.

Ну скажите на милость, какое дело Лотте до того, что в Париже годами живет вдова полковника русской службы, убитого под Бендерами? Лотта знать не знает баронессу Анну-Христину Корф. Как не знает и графа Ферзена, баронессиного приятеля. Вот у того есть дело до нее, но опять же ничем с Лоттой ие соотносящееся.

Положим, Лотте, подобно большинству французов, совсем небезразлично, удерет или не удерет король из столицы королевства — его отшествие за границу означало бы, по общему мнению, европейское нашествие на Францию. Но опять-таки, скажите на милость, какое все это имеет отношение к Лоттиной мучительной неизвестности?

А между тем и баронесса Корф, и граф Ферзен, любимец королевы, и русский посланник Симолин, и христианнейший король Людовик — все они совершают поступки, среди бессчетных последствий которых есть и такая иголка в стоге сена, как Шарлотта Рамбур-Каржавина, пассажирка корабля «Сюперб».

Вот, извольте, ниточка с узелками.

В первых числах июня девяносто первого года граф наносит визит баронессе. Он заводит речь о паспортах, необходимых для путешествия за границу. У Анны-Христины нет желания вояжировать? На дорогах рыщут шайки взбесившейся черни? Паспорт, объясняет граф, почтительно наклонив голову, паспорт нужен высоким, очень высоким особам. И пристально смотрит на баронессу. Ах так! Баронесса понимает графа. И быстро соглашается. Больше того, обещает и свою лепту: ей, бедной вдовице, ничего не жаль для столь восхитительного вояжа.

Г-жа Корф обращается не в дом Леви на рю де Граммон, где находится русское посольство, а в особняк на Босс-дю-Рампар, где уединенно живет русский посланник.

Его лисье личико иссушено пламенем свечей — действительный тайный советник пишет в Петербург пространные донесения. Но сейчас, отложив перо, он внимательно а благожелательно выслушивает посетительницу. Только выслушивает, нимало не обращая внимания на ее внешность. (Правду сказать, не отмеченную красой.)

Итак, баронесса с домочадцами желает получить паспорта? Похвально. Намерение ее императорского величества клонится к тому, чтобы русские подданные оставили пределы чудовищной смуты. Он, Симолин, не замедлит снестись с г-ном де Монмореном, ведающим внешней политикой Франции.

Знал ли, догадывался ли старый лис, партнер королевы за карточным столом, каков «расклад», — этого и теперь наверняка не скажешь. Как бы ни было, спустя несколько дней баронесса Корф из рук в руки передала графу Ферзену два паспорта: она, двое детей, слуги отправляются во Франкфурт. И, передав, вознесла молитву горячую, искреннюю: боже милосердный, царь небесный, спаси, помоги, укрой, вызволи.

Укрыть-то укрыл: темная, душная, беззвездная была эта ночь с понедельника на вторник, когда громадная, тяжелая карета, словно бы никуда не торопясь, двинулась к одной из застав Парижа. Но, едва миновав заставу, понеслась во весь опор.

Впереди бешеная скачка, клубящая тонкую белую пыль дорог Шампаньи, палящее, безумное солнце, страх погони, ожидание встречи с верными гусарами, оказавшимися неверными.

Впереди почтовые станции, надо перепрягать лошадей, у вояжеров паспорта в порядке, но есть что-то подозрительное в толстом носатом увальне, слуге баронессы! Да и в самой баронессе тоже, вот хоть эта вислая губа точь-в-точь как у королевы.

И опять дорога, опять бешеная скачка, палящее, безумное солнце, станции, городки, средь прочих Варенн, речка и мост, а на мосту поперек телега — баррикада.

«Ни шагу, или открываем огонь!» — горланят мужланы.

А там, в Париже…

Во вторник в семь утра в опочивальню Людовика вошел камердинер. Людовик не почивал. И не было во дворце ни королевы, ни королевского выводка.

В девять утра стекла Парижа дребезжат от пушочных залпов, облака над Парижем раскачивает набат, раскат армейских барабанов возвещает «общий сбор». Но велик ли прок бушевать у дворцовой решетки, если нег во дворце этой толстой свиньи?

И пушки, и набат, и барабаны слышала Лотта. И у дворцовой решетки была. Как и в позапрошлом году, на осенней дороге в Версаль, ощущала Лотта слитность, единство с согражданами, ощущала себя все той же вольной дочерью предместья, а сорванцы-гамены кричали: «Пропал король! Награда за находку!»

Вторник… Среда… Четверг…

Загоняя лошадей, всадники летят во все концы королевства. «Пропал король!» «Ищите короля!» В пыли, под нещадным

солнцем кони роняют серое мыло.

В пятницу, едва держась в седле, измученные курьеры прибывают в Париж: «Король схвачен!» А на другой день, в субботний вечер, когда багровое солнце, изнемогая от собственного жара, валится на кровли города, громадная, тяжелая карета, окруженная многотысячным мужицким конвоем, приближается к Парижу.

Париж встречает беглецов не криками гнева, не восклицаниями ненависти, не градом насмешек — молчанием. Слышен только храп коней да скрип колес. Национальные гвардейцы стоят шпалерами, ружейные дула опущены книзу, и это похоже на церемонию погребения.

Карета въезжает во двор Тюильри, дворцовые ворота смыкают высокие кованые створки. Король отрешен от власти. Он еще жив, но монархия уже мертва.

Арест Людовика возмутил монархическую Европу.

Близился разрыв дипломатических отношений. А вместе и конец череде событий, пересечение и сцепление которых упразднило мучительную неизвестность — подниматься Лотте с места или оставаться Лотте на месте.

Опасаясь разрыва дипломатических отношений, чреватых разрывом семейных уз, и ни о чем больше не помышляя, она скоропалительно обратилась в посольство. Ее просьбу удовлетворили не мешкая.

## 7

Двенадцать белых коней влекли колесницу с прахом Вольтера. Шли национальные гвардейцы, депутаты Якобинского клуба, коллежей, ученых обществ, шли санкюлоты с пиками, на пиках реяли вымпелы: «Из этого железа куется Свобода!» В ларце, похожем на ковчег, несли книги Вольтера. И несли камень Бастилии, обломок самовластья. Париж погребал в Пантеоне прах великого писателя.[53]

То было последнее, что видела в Париже Шарлотта Рамбур.

Несколько недель спустя трехмачтовый «Сюперб», прибывший из Гавра, положил якорь на кронштадтском рейде. Пассажирам, следующим в Петербург, надо было дожидаться пакетбота, и они перебрались на пристань. Баржи с гранитным ломом разгружали клейменые каторжники. Окаянный лязг кандального железа, отвергнутый землей, отвергнутый и небом, зависал в полуденной духоте[54]37.

То было первое, что увидела Шарлотта Каржавина в отечестве

своего мужа.

# ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

## *1*

Его жилье напомнило Лотте парижские антресоли, где девочка угощала мальчика слоеными пирожками; Лотта печально недоумевала: мое «я» при мне, но куда же девалось то, что было моим «я» десятилетия назад? В такие мгновения внезапно осознаешь долготу прожитого и словно бы вчуже, со стороны, улыбаясь растерянно, смотришь на себя прежнего, как бы отслоившегося от тебя нынешнего.

Но у Лотты не было времени предаваться печалям — ей надо было домиться, обзаводиться хозяйством: бедный Теодор обитал в холостяцком запустении. Да ему вроде бы ничего и не требовалось, кроме склянки чернил, стопки бумаги и книг, помеченных красными и черными штемпелями — знаком собственности, для него бесценной.

«Ведомости» сообщали о происшествиях на берегах Сены. Журнал «Парижские революции» Каржавин покупал в лавке Редигера на Миллионной. Новиков посылал из Москвы «Политический журнал». В письмах Лотты выискивал Каржавин не только подробности: письма были зеркалом простолюдинки. Он посмеивался: «Я создал ее из ребра своего». Лотта привезла тюк парижских тиснений — таможенной цензуры тогда еще, слава богу, не было.

Пищи духовной хватало. Каржавин испытывал потребность преломлять хлеб свой с согражданами своими.

Потребность сиюминутную. Нечего ждать, когда типографский станок примет итоговый трактат. Кто-то из древних сказал: малодушие лежать, когда можешь подняться. Истина нестареющая!

Светло, счастливо помнил он летний петербургский день: люди братски обнимались на улицах. Горожане стали гражданами. Они вышли из-под глыб павшей Бастилии. И какая возгорелась жажда чтения! Дворовые, ремесленники, лотошники в складчину подписывались на газету. В кабинетах для чтения мухи уже не дохли со скуки — у Овчинникова в Аничковом доме, там же при лавке Сопикова, у издателя Туманского в Большой Коломне… Федор Васильевич радовался тяге к печатному. Уж не исток ли филадельфийских вечеров «Сынов свободы»?

О, время! Мечта ведет за руку Действие. Ну, так действуй, Федор Васильевич. Действуй, Каржавии — Лами — Бах,

исполненный русским неунывающим духом.

Он в Петербурге, Лотта в Париже хлопотали о шрифтах, о покупке оборудования; хлопоты потерпели крушение; собственная типография оказалась не по карману. Никнуть, пока не раздобудешь денег? Э нет, впрягайся в другие упряжки. Сие не возбраняется, возбраняется бездействие.

Хроника событий, пусть истолкованных вкривь и вкось, хроника французских событий попадает на глаза читателям. Простим дворец славному Бомарше — он выдал в свет семьдесят томов сочинений Вольтера. Императрица переписывалась с Вольтером — императрица запретила Вольтера. Высочайшая цензура! А есть рогатка и полицейская. Полицианты на один салтык: «Никогда на чтение книг себя не употребляю». Унизительна зависимость от дубины. Но не слаще и зависимость от куратора университетского. Невежда иногда попустительствует; по добродушию ли, по лености ли «употреблять себя», но попустительствует, а умнику подозрительна мысль изреченная уже по одному тому, что кто-то посмел и сумел изречь ее.

Надо не только сметь, надо и уметь. Каржавин повторял старинную шутку: совершенный литературный стиль — искусство сказать все, что думаешь, и не поплатиться за это Бастилией. Прекрасно! Но там с Бастилией разделались. А здесь тверда твердыня Петра и Павла. Как быть? Пускайте стрелы, советовал Вольтер, а руки не показывайте. О, воскликнет догадливый читатель, рабский язык Эзопа! Да. И все ж эзопов язык помогает рабам осознать свое рабство. Осознавая рабство, раб уже наполовину не раб.

Каржавин пускал стрелы. Он изощренно пользовался сложной системой намеков, аллегориями, псевдонимами, ложным обозначением места издания. Он не забавлялся игрой в мистификации; он принимал правила игры, навязанные извне. Переводами с французского, компиляциями с английского снискивал себе пропитание и питал тех, кто не знал языков. Не стану уверять, будто так уж необходимо тотчас бежать в библиотеку, в отдел редких книг и отыскивать пожухлые каржавинские издания, но тогда, в те годы… Надо было жить в те годы, чтобы воздать должное этой неустанной работе.[55]

## *2*

Когда Лотта приехала в Петербург, ее муж корпел над примечаниями к «Персидским письмам» Монтескье. Этот

Монтескье, сердито подумала Лотта, не жил небось в таком запустении.

Постепенно обыденные хлопоты не то чтобы наскучили Лотте, а получили какую-то машинальность, словно хлопотунью одолевали недоумение, растерянность. Она чувствовала мужнин холод… Нет, не так, пожалуй… Теодор был «ровный». И эта «ровность» была едва лн не зловещей. «Господи, неужели Бермон?» — однажды подумала Лотта и тут же отвергла свою догадку; прошлогодний снег!

Но то, что казалось ей прошлогодним снегом, поднимало в душе Каржавина ненависть, и эту ненависть, муку свою он скрывал под «ровностью».

В Париже он был доволен: «Время страстей прошло». Теперь, стиснув зубы, признавал правоту древних: люта, как преисподняя, ревность. Он фальшиво усмехался — экая дичь в век здравого смысла! Но здравый смысл убивала не только ревность, но и тайное, невесть как возникшее, убеждение в своей телесной малости по сравнению с этим Арт. Бермоном.

В иные минуты Федор сожалел, что отыскал Лотту. Ей было бы лучше, думал Каржавин, она была бы счастлива с Бермоном. В его сожалении было и великодушие, и желание избавления от Лотты, что, в свою очередь, было бы избавлением от «преисподни». А вместе с тем — пойди пойми — Федор нипочем не согласился бы, что его любовь к Лотте давно шла на убыль.

Каржавин не представил жену родственникам, ссылаясь на ужасные отношения с маменькой Анной Исаевной, братцем и сестрами. Оно так, да тут и другое: чего представлять-то, коли близок разрыв?

А родственные отношения и вправду были хуже некуда. Дело о наследстве тянулось. Федор предлагал делить поровну. Маменька и братец Мотька стояли насмерть — ни рубля замужним кобылицам, Дунька с Лизкой приданое получили. Сестры, громко проклиная Анну Исаевну и Мотьку, втихомолку кляли и старшего брата — какого-де рожна вернулся, а не пропал навсегда за морями за долами.

И вдруг взорвалось все как шаровая молния.

## *3*

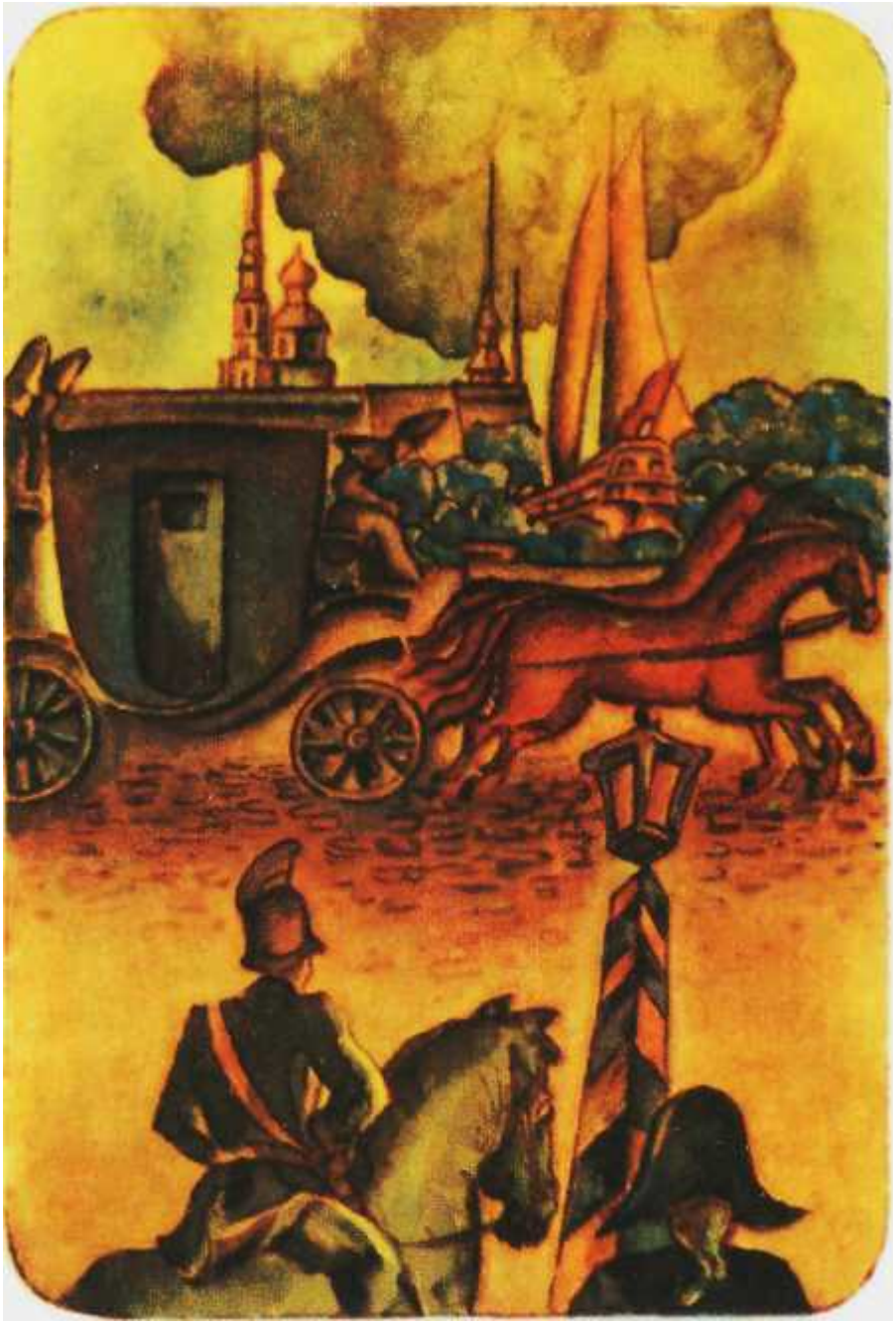
В потрясенной душе звучал голос матери: «Ах, Мотенька, сахар белый…» И шепот: «Убьет, беспременно убьет…» В потрясенной душе кочевало виденье — в белом саване, волоса спутаны, падая на колена, каялся, кланялся черный лицом,

черный губами, глазами; поднимаясь с колен, брел дальше, солдаты сдерживали ярость толпы; и опять на колена перед каждой церковью, пред каждой часовней — в белом саване, волосы спутаны, черный лицом, черный взглядом — каялся, кланялся… То не было галлюцинацией, а было виденьем: когда-то в Москве офицер удавил свою мать… Анну же Исаевну порешили топором, ее нашли в луже крови. В тот же день взяли под караул младшего брата Матвея. «Ах, Мотенька, сахар белый…» «Убьет, беспременно убьет…»

Ни на миг не усомнился Федор: мерзавец, негодяй — ни на миг не усомнился Федор в страшном преступлении младшего брата. И заметался с пистолетом в руке: «Убью!» И право, прикончил бы, не сиди «сахар белый» под крепким караулом в управе благочиния.

А потом Мотьку выпустили, как сказали бы нынче, за недоказанностью преступления, а тогда говорили: «предать сие воле божией». Пало подозрение на кучера Устина, кучерявого полюбовника Анны Исаевны, да поздно хватились — исчез кучерявый, ищи ветра в поле. Опять, стало быть, предали сие воле божией.

Страшная смерть умертвила все, что накипело на сердце старшего сына. Осталась жалость, неподвластная разуму, и беспричинное чувство вины перед покойницей, оно усиливало подспудное раздражение на Лотту. Опять странность! Не будь Лотты, казалось Федору, он примирился бы с матерью, но вместе и понимал, что невмоготу ему избыть Лоттину связь с Бермоном.



Проблескивало в сумраке: надо расстаться, расстаться надо. Неотвратимость нерадостного освобождения сознавалась обоими, да с языка не срывалось. А услышав: «Москва», Лотта воспрянула.

— У тебя, — сказала она Теодору, — было намерение обосноваться в Москве.

Так он однажды написал Лотте в Париж. И теперь Лотте вообразилось, что перемена места жительства переменит жизнь — заблуждение не новое. Про Москву же она услышала, наливая чай давно жданному московскому гостю.

## *4*

Годы но развеяли дружбу Каржавина и Баженова. Крепко обнялись они в доме на Екатерининском канале. Но Василий Иванович торопился в Гатчину. Вот уж после свидания с цесаревичем…

Наследник престола называл себя «гатчинским помещиком». Мог бы называть и «гатчинским затворником». Мать отечества не терпела сына; сыну приходилось терпеть родную матушку. Екатерина Алексеевна настороженно-зорко следила за Павлом Петровичем; Павел Петрович платил той же монетой. Шапку Мономахову на две головы не наденешь, скипетр не переломишь пополам.

Окружение Екатерины презирало Павла. Окружение Павла трепетало Екатерины. Петербург искоса наблюдал за Гатчиной. На гатчинской башне караульные офицеры не спускали глаз с петербургской дороги. У шлагбаумов угрюмо допрашивали: кто? куда? зачем?

Баженова пропустили без задержки.

Не треск барабанов, а безмолвие было лейтмотивом Гатчины. Тотчас возникало чувство натянутости, принужденности. Казалось, все здесь — и статские, и военные — проглотили шомпол.

Сани остановились. К Баженову приблизилась фигура, закутанная в плащ и вроде бы не имеющая обличья. Предъявила квадрат плотной бумаги с золотым обрезом и собственноручно начертанным: «*Павел*». То был знак, Баженову известный, — податель «билета» укажет дорогу. Так наследник престола, страшась слежки с высоты престола, приглашал на встречу конфиденциальную, доверительную. Не раз обжегшись на молоке, дуешь на воду, ибо и воду недолго забелить молочком. Его письма перлюстрировались, он об этом знал. В его поместье водились, как вши, людишки г-на Шешковского, он об этом догадывался. (Не поручусь, что и фигура, провожавшая Баженова к цесаревичу, кормилась только за счет цесаревича.)

Баженов давно приглянулся Павлу. Оба некогда полны были надежд: цесаревич — на кремлевскую коронацию и прекрасное начало нового царствования, зодчий — на кремлевскую

реставрацию и прекрасное воцарение новизны. Теперь надежды увяли. Сдается, они-то, увядшие, и не давали увядать Павлову благоволению к Баженову: мечты обоих губила Екатерина.

Кирпичи, торжественно, в виду всей Москвы, при громе пушек заложенные в котловане Большого Кремлевского дворца, так и остались краеугольными кирпичами без фундамента.

Потом было Царицыно — дубравы годин Годунова. Бессчетные чертежи залов, покоев, фасадов: круги, овалы, изгибы; мысленно видел Баженов весь ансамбль, повитый печально-поэтической дымкой, как здешние пруды поздней осенней порой.

Воочию успел возвести лишь первые здания, магически выразив в прочном камне хрупкость земного величия, и это, именно это неприятно поразило самодержицу, озабоченную как раз земным величием. Она повелела прекратить строительные работы, тем самым позволив времени начать работу разрушительную. И мало-помалу возникли развалины…

Павел и Баженов были пасынками. Первый — родной матери, второй — судьбы-мачехи. Неприязнь царицы к зодчему питала приязнь к нему цесаревича. Но в мартовский день девяносто второго года гатчинская встреча смущала Василия Ивановича. Не то беспокоило, что цесаревич едва ли не беспрестанно обретается в дурном расположении духа. И не то, что возгорается пороховым гневом едва ли не от искорки. А то, что Павел Петрович, вероятно, всерьез недоволен Баженовым и его собратьями во масонстве.

Это определили они, исходя как из общего хода дел, так и из особенностей натуры наследника. Дела принимали грозный оборот; наследник же наделен болезненной впечатлительностью. Предположение о его недовольстве не вышло бы из границ умозрительного построения, если бы не надворный советник Кочубеев. Кочубееву ли не поверить? Не потому, что надворный советник был почти своим человеком и в огромном доме графа Гендрикова на Спасской, и в скромном доме отставного поручика Новикова у Никольских ворот. И не потому, что надворный советник был осведомлен о благоволении цесаревича к Баженову, своего человека и в доме на Спасской, и в доме у Никольских. Как раз в некую тонкость отношений архитектора с наследником престола его и не посвящали. И как раз посему нельзя было не навострить уши: надворный советник господин Кочубеев имел честь служить в московской конторе розыскной экспедиции.

Зная служебное положение Кочубеева, читатель тотчас поймет смущение Василия Ивановича Баженова.

Потайной кабинет находился за стеной библиотечной залы. В кабинет вела низенькая дверь, забранная книжными полками.

Фигура, закутанная в плащ, не обронив ни слова, пропустила Баженова вперед и оставила наедине с бронзовым бюстом Фридриха Великого.

В тот же вечер Баженов уехал.

Весна припозднилась, наст держался крепкий, вороные бежали шибко, верстовые столбы мелькали. Считай ие считай, а от Гатчины до Петербурга — сорок четыре.

Василий Иванович не замечал ни дороги, ни верстовых столбов. Мысли его были в Гатчине. Сказано было: «Я тебя люблю…» Но нет, не ликовал Баженов — ник опечаленный, ибо сказано было: «Я тебя люблю и принимаю как художника, а не как масона. Об них и слышать не хочу, и ты рта не разевай…» Смягчая гнев, Павел положил руку на плечо Баженова: «Видишь, Василий Иванович, говорим секретно. Нужна всякая предосторожность в нашей стране, настоящей стране обмана».

О чем он? О том ли, что масоны-мартинисты обманывают? Или о том, что масонов обманывают? А в умных глазах, прежде оживлявших своим светом неправильные, почти уродливые черты лица с крутыми скулами и приплюснутым, вздернутым носом, в глазах Павла Петровича был страх.

Но вот уж кучер, гатчинский солдат, придерживая копей, правил питерскими улицами, держал, куда велено — к Екатерининскому каналу, и печальный Баженов как бы и мимовольно улыбнулся: сейчас увижу Федора…

Каржавин, знай наперед, что Василий Иванович обернется столь быстро, уклонился бы от зотовского посещения. Не доверял Зотову? Не совсем так, но после несчастья с Радищевым опасливо приглядывался даже и к хорошо знакомым людям. Кто из россиян усмехнется подозрительности Каржавина? За Суворовым и то соглядатай шастал.[56] Впрочем, и вполне, вполне доверяя Зотову, Каржавин уклонился бы от его нынешнего посещения: при чужом застегнется Василий Иванович наглухо.

Оказалось, не совсем уж и чужой.

Представленный г-ну Баженову, книгопродавец объявил, что и он, Герасим Кузьмич Зотов, родом Баженов. Как так? А очень просто: маменька из Баженовых, козельские они. Тут и Василий Иванович заулыбался: козельские, значит, калужские, оттуда его батюшка родом. Стали, как водится, шевелить веточки генеалогического древа, радуясь обнаружению троюродных и поглядывая друг на друга, если позволите так выразиться, уютным взглядом.

Зашла речь о зотовском промысле, несколько пошатнувшемся. Герасиму Кузьмичу пришлось оставить бойкую Суконную линию в Гостином дворе и торговать в небойкой

Зеркальной — наем помещения дешевле. Тут-то Лотта, разливая чай, и услышала — «Москва», произнесенное Теодором. Он, мол, советовал Кузьмичу поладить с белокаменной, с Новиковской «Типографской компанией», да теперь упорный слух есть, будто Компания рассеется, а может, уже рассеялась.

И Каржавин и Зотов смотрели на Баженова, ожидая, что он скажет. Положение Новикова, человека ему близкого, хорошо было известно Василию Ивановичу. Не ответив ни да ни нет, он обнадежил Герасима Кузьмича: ежели г-н Новиков и откажется от аренды университетской типографии и книжной лавки, то аренду возьмет его, Баженова, ученик Окороков, человек добрых правил, и уж он, Баженов, порадеет Герасиму Кузьмичу на предмет кредитов.

Кузьмич благодарил, повышая градус благодарения до пафоса и не замечая, как повышается градус сердитого нетерпения Федора Васильевича.

Умолчание о делах «Типографской компании» встревожило Каржавина. К тому же от него с первой минуты не ускользнула печальная подавленность Василия Ивановича. А этот ритор щелкает соловьем, и нет чтобы отвесить наконец прощальный поклон. Экий, право, недотепа.

— Полно тебе, Кузьмич, — грубовато оборвал Каржавин книгопродавца. — Уморишь Василия Ивановича, ему бы после дороги хорошо бы и на боковую.

Зотов смущенно извинился и ушел, в прихожей, вопреки обыкновению, не задержавшись.

«На боковую»? Дорожную усталость сон удалит, но Баженова томила душевная. А эту взбадривает бессонница, разделенная с тем, кто понимает тебя без долгих слов и, понимая, дышит неровно. И все же об отношениях с цесаревичем Василий Иванович не распространялся, даже имя не произносил, называл — «особа». Говорили о Москве. Лотта поглядывала на Теодора вопросительно и просительно; опять и опять обольщалась — перемена места жительства одарит переменой жизни.

Решено было ехать вдвоем. Лотта оставалась у очага — не гасить же, пока не сложишь новый очаг. Но, правду молвить, Каржавин не обещал переселение на холмы Третьего Рима. И не за помощью отправлялся, а на подмогу. Баженов уверял, что это необходимо и что Федору карты в руки.

## *5*

Путешествие из Петербурга в Москву… Ах, «привязать» бы

беседы спутников, как лошадей к коновязи на придорожных станциях, пахнущих навозом и дымом, «привязать» да и обозначить сюжеты, так сказать, постанционно, как в радищевском «Путешествии»: Тосна… Чудово… Крестьцы… Нет, книги-то и беседы — не одно и то же, и потому незачем придавать дорожным разговорам Каржавина и Баженова стройную последовательность — извлечем корень, изложим суть.

Повторяю с удовольствием: дружество Каржавина и Баженова не развеяли межконтинентальные ветры. Они переписывались. Каржавин не только прозой, а и стихами. Там, в Америке, сложил нечто одическое ко дню рождения Василия Ивановича. Новиков напечатал, скажу по секрету, не столько ради приращения жемчужин российской поэзии, сколько ради Баженова, друга задушевного… Узнав, что Баженовы ждут сына, Каржавин опять сочинил рифмованное. Розы еще не родившемуся не сулил; предрекая тернии, звал: «Бесстрашен будь…» Призывая к бесстрашию, утверждал: «Сей путь необходим и неизбежен нам…» Необходим? Да, если думать, как думал Василий Иванович: несчастия способствуют выделке из самого себя камня грядущего храма Соломона — гармонического людского общежития. Неизбежен? Да, если думать, как думал Василий Иванович: каждый имеет право на свободное развитие души и ума.

Все это Каржавин признавал, в этом Каржавин не разноголосил с Баженовым. Высокие «Врата» вели в «Храм Будущего». К нему устремлялись мыслью и Каржавин, и Баженов. Но с противоположных сторон. Несходство, и притом важное, обнаружилось после московского Чумного бунта и упрочилось после всероссийского пугачевского восстания.

Для Каржавина путь начинался в точке, обозначенной «мы». Мы — это те, кто сознает необходимость решительного переустройства земного, общего, народного.

Для Баженова путь начинался в точке, обозначенной «я». Я — это каждый, кто сознает необходимость переустройства собственной души.

В каржавинском «мы» находилось место и для «я», но второстепенное, подчиненное. В баженовском «я» находилось место и для «мы», но не первостепенное. Каржавин не покидал мира посюстороннего; Баженов не чурался потустороннего. Посмеиваясь над масонской мистикой, Каржавин сочувствовал этике. Обретая в масонстве «высшую созерцательность», Баженов не впадал в ритуальные сложности.

Но был и предмет бесспорный, предмет согласия полного — просвещение, Золотой Ключ. Ключ этот долго держал человек, на круглой издательской марке которого тесно сплетались литеры

«Н. Н.». Его руки слабели, одиночество окутывало зябким сумраком. К нему-то и ехал Каржавин.

Тракт пригревало солнце. Глядя на лужи и колдобины, на загривок ямщика и лохмы конского мыла, ощущая перемены воздуха, то пахнущего влажной землей, то снегом, но уже нечистым, слушая колокольчик, хлюп под копытами, всхрап лошадей, душа оглядывалась окрест, ум мыслил неторопливо, *крупно*: делай, что должно.

## *6*

Императрица Екатерина и поручик Новиков родились в апреле. День рождения государыни князь Прозоровский зарубил давно и прочно. День рождения поручика знать не желал.

Желал вот чего: 21 апреля преподнесть ее величеству сюрприз. Таковым полагал захват поручика. И примеривался, как главнокомандующий к вражеской цитадели. Да он и был главнокомандующим Москвой. А цитадель, защищенная палисадниками и выгонами, находилась в шестидесяти верстах, в тишайшем уезде, называлась имением Тихвинским, Авдотьино тож.

Считанные дни оставались до всероссийского торжества. Сиречь столько же до штурма Авдотьина. Действуя по правилам воинским, князь производил разведки. Сиречь обнаруживал в книжных лавках издания, запрещенные государыней. Опять же действуя по правилам воинским, распорядился изымать эти книги. Сиречь лишал неприятеля боевых припасов. А в день штурма — двадцать первого — отрядил в Авдотьино судейских чинов с караулом.

Такова была расторопность вельможи, известного по кличке Сиречь, ибо через одно-два слова князь непременно гундосил «сиречь».

Вышла, однако, промашка. А все из-за чего? А все из-за желания усладить монархиню. Да-с, неловко вышло: ударные силы, хотя и не понесли потери, воротились без арестанта — сказался больным; нездоровье удостоверил лекарь. Ежели бы князь исполнил указ государыни день в день, а не промедлил ради сюрприза, тогда бы г-ну Новикову шабаш.

И все же вылазка в Авдотьино до некоторой степени ублажила князя. Прозоровский отписал в Петербург, каково пришлось злонамеренному поручику:

«Неожидаемый приезд сделал в нем великую революцию, а особливо как начали письма пересматривать, то он падал почти в

обморок».

И трофеи достались — множество рукописей. Князь просил: необходим г-н Шешковский, одаренный натурой для изворотливых следствий.

Едва он отправил государыне всеподданнейшее донесение о ходе боевых действий, как явился, гремя саблей, разбитной служитель Марса: новиковские тиснения, изъятие в московских лавках, он, майор Жевахов, транспортировал подводами на Воробьевы горы, свалил в кучи да и спалил дотла.

— Туда и дорога! — ото всей души расхохотался князь. — А я и забыл приказать тебе сжечь эту чертовщину! Дыму-то, дыму небось, а? — И он опять засмеялся.

Гусарская удаль понравилась князю. Вот малый исправный, никакого лекаря не послушает — привезет. Хоть полумертвого, а привезет!

К повторному штурму авдотьинской цитадели он велел изготовиться тщательно, под хоругвь майора Жевахова выставить двух офицеров, одного капрала, дюжину нижних чинов. Седлай коней, господин майор. А завтра иль послезавтра — труби труба.

## 7

Приехали! В Москву приехали Баженов с Каржавиным. Охота, как встарь, предаться воспоминаниям о Москве. Нынче, однако, не до полонезов в Дворянском собрании. Не до старичков, оригиналов московских, — пустосвяты, юродивые. Не до таких новшеств, как духи «Вздохи амура», сменившие розовую воду. Не до того, что вальсон, он же вальс, признан приличным, хотя раньше маменьки поджимали губы: фи! обхват за талию! И не тянет перекинуться в дурачки, по-здешнему — филя, перекинуться да и назвать побежденного простофилей. Все это в сторону: у Баженова — надворный советник Кочубеев.

О нем уже упоминалось: тот, что подвизался в московской конторе Тайной экспедиции; тот, что был своим человеком и в огромном доме графа Гендрикова на Садовой, и в скромном доме отставного поручика Новикова у Никольских ворот; тот, что еще до отъезда Баженова в Гатчину нечто прослышал, нечто унюхал — о неудовольствии наследника цесаревича Павла Петровича Баженовым и Новиковым.

Да, упоминалось, но со слов Василия Ивановича, а сейчас вот он воочию, надворный советник Кочубеев, мышка-норушка. Такой весь серенький, весь такой шустренький, такой, знаете ли, никакой, ни шуму от него, ни запаха, ни жеста, а вместе и нечто

округленькое, упитанное, с сальцем под шкуркой.

Кого он морочил? Новикова ли с братьями во масонстве? Иль князя Прозоровского с Шешковским? От Новикова имел двести целковых — перебелял протоколы масонских заседаний. У Прозоровского и Шешковского пользовался репутацией чиновника ума недальнего, однако усердного. То ли этого Кочубеева запустили приглядывать за Новиковым, то ли Новиков его допустил — изволь, приглядывай, ведь нет же в масонстве ничего крамольного. А вернее всего, был надворный в обоих дворах, как говорится, и нашим и вашим.

Возникнув у Баженова, Кочубеев намекающе произносил: «Гатчина»; я, мол, предварял о неудовольствии его императорского высочества, вы уж от меня, сударь, не таитесь.

Василий Иванович отвечал холодно: в Гатчину призывался ради архитектурных рассуждений, оченъ-де цесаревич озабочен украшением своих владений. Кочубеев обиженно вздохнул и, точно бы в укор Баженову, поворотил в сторону Авдотьина, начав с того, что в городском доме г-на Новикова поставлен нынче караул…

Надворный Кочубеев, нашептав свое, скользнул со двора. Баженов бросился в залу, к Каржавину. Тот курил, перелистывая сочинение «Познание самого себя». Каржавина ничуть не увлекала смесь мистики и благонамеренности. С первого взгляда невзлюбив мышку-норушку, он опасался пакостей, и вот, сидя в креслах, вострил уши, рассеянным, ни строки не примечающим взором пробегал страницы печатной галиматьи.

Услышав торопливые шаги Баженова, он вскочил на ноги. Баженов — в лице ни кровинки — сжал его руки: на Спасской, в гендриковском доме, где типография, книжная лавка и бесплатная аптека, там обыск был, множество книг изъято, лавка запечатана; в доме у Никольских ворот тоже был обыск, караульщики ждут Новикова. Не сегодня завтра Николая Ивановича арестуют!

«Минитмены», — невнятно сказал Каржавин и крепко задумался.

## *8*

Оставив Москву, Новиков отъехал в Авдотьино. Так, потерпев поражение, отходят на заранее подготовленную позицию.

Он тут родился, тут возрастал, тут получил надежную оснастку — отец был флотским офицером жесткой выделки Петра. Черт догадал Новикова-старшего определить сына в

Измайловский полк, хоть и гвардейский, а все же сухопутный. Обидно! Сперва, однако, отец послал сына в гимназию при Московском университете. Учителя держались ломоносовского — необходимо пестовать «национальных, достойных людей в науках». Национальное означало: любить русское любовью зрячей; нерусское любить не слепо. Достоинство людей науки определялось не геометрией или географией, а просвещением людей непросвещенных.

Не стану писать ни о том, что писал Новиков, ни о том, что печатал Новиков. Но подчеркну: его издательская деятельность протяженностью в два с лишним десятилетия была титанической. Не прошу извинения за расхожее слово. Да, титанической.

Новиков пером колол Екатерину, как пикой. Ее перо, не будучи острее, писало с большим нажимом. В Москве основал он «Типографскую компанию». Екатерина не замедлила открытием враждебной кампании. Новиков не унимался. И она повелела послать к нему людей «верных, надежных и исправных», дабы Новикова «взять под присмотр».

«Типографскую компанию» разорили в ноябре девяносто первого. В апреле девяносто второго приказано было покончить с ее учредителем, укрывшимся в родовом именье. Новиков об этом еще не знал, но уже ожидал. Ожидая, не верил: я ж не Радищев. Верно, Радищевым он не был. Он был Новиковым, и этого тоже было достаточно для того, чтобы отправить его вослед Радищеву.

Душа принимала несчастье, как испытание души. Поднимался в четыре, пил чай, приступал к письменным занятиям. За полдень обедал, отдыхал. И опять садился к столу. В десять ложился.

Нет, Новиков еще не знал о высочайшем повелении — «взять под присмотр». Но беды ждал. Ожиданье не размыло дневной распорядок, неизменность которого противостояла изменчивости обстоятельств.

Ранним апрельским утром Николай Иванович, по обыкновению, сидел за работой. Скрипнула дверь, мальчонка-казачок пискнул: «Барин, а барин…»

— Чего тебе, Ванюша? — спросил Новиков мгновенно охрипшим голосом.

## *9*

Не было ни Смуглой Бетси, ни седельных пистолетов, но так же, как на дорогах бунтующих Штатов, владело желание сразиться с судьбой.

Со вчерашнего дня судьба, как медведица встала на задние лапы. Со вчерашнего дня, с того часа, когда Каржавин, обронив «минитмены», не то чтобы вспомнил виргинцев минутной готовности, а сам себя ощутил минитменом.

Его замысел сверкнул, как клинок. Баженов замахал руками. Каржавин рассмеялся нервно и весело, сунул Баженову карандаш и бумагу.

— Невозможно, — обреченно выдохнул Баженов и, понимая, чего требуется Федору, стал чертить маршрут, с машинальной аккуратностью выставлял: «село Бронницы», «дер. Марьинка», «село Ломачево»…

Каржавин меж тем натянул лосины, обул сапоги с короткими голенищами и облачился в суконный фрак с фалдочками. «Мир перевернулся вверх тормашками», — насвистывал он сквозь зубы, сухо и остро блестя глазами.

— Куда? Неужто с места в карьер? — спросил Баженов шепотом, словно бы стены подслушивали.

— К доносчику Ивану, — быстро ответил Каржавин. И опять рассмеялся нервно и весело.

Ивана, ровесника и родственника, не встречал Федор со времен службы в баженовской Кремлевской экспедиции. Этот Иван Каржавин, наведываясь в те годы в Питер по своим торговым заботам, наведывался и к «дражайшему дядюшке» Василию Никитичу. Толковали о коммерции, дискутировали о бытии божием, и, надо признать, Иван Петрович гнул безбожного дядюшку, ибо уже тогда, молодым, справедливо слыл у раскольников тонким буквалистом.

«Доносчиком» же назвал его Федор невсерьез, ничуть не злясь на давние сообщения покойному батюшке — связался-де ваш с Лукерьей, стряпухой Троицкого подворья. Э, пустое! Не злясь на прошедшее, Федор целил в непреходящее: в неколебимо-раскольничье недоносительство властям.

Дуй по пеньям, черт в санях! И Каржавин «дунул» за Яузу, на Воронцово поле, надеясь, что Иван Петрович и теперь, годы спустя, обитает в гуще древлева благочестия.

Обитал. Только уже не в деревянном, а в каменном доме. Ломил, видать, в гору на лесном своем торге. Ишь полканы-то на дворе залились. Дворник в бороде лопатой глянул исподлобья — не любил дворник нищелюбия своего хозяина, вечно к хозяину христорадно руку тянут, а хозяин удален гордости, никому от ворот поворота — нелюбезно глянул дворник и — шапку с головы долой: господин явился нетерпеливый, на бритой роже рубец разбойный.

Здесь не с руки рассуждать о раскольниках, но была и есть

благодарность к тем из них, кто оказал услугу отечественной истории. Родовитые баре, хирея, все с молотка пускали, а раскольники, разживаясь, скупали старинные иконы, утварь, рукописи. Скупали и берегли. Вот уж когда, вот уж в чем стойкое неприятие новомодного оборачивалось отнюдь не смешной стороною.

Иван же Петров Каржавин пуще всего, до азартности алкал рукописных книг. Впрочем, и печатными не пренебрегал — не чурался новиковской книжной лавки на Спасской. От старой веры не пятясь, полагал так: «Вера Христова, не старея, присно юнеет».

Ну — встретились. Со стороны глянуть, сразу определишь, одной породы — ростом высокие, смуглые, а глаза светлые, руки — повтор дедовских, тяжелые, крупные руки.

Иван Петрович Каржавин изумился нежданно-негаданному явлению Федора Васильевича Каржавина. Давно потерял из виду, да и не больно-то старался узнать, куда девался. Ан вот, извольте, собственной персоной, как лист перед травой. Но чего ему надо, с чем пожаловал? Ишь торопыга, ни чаев, ни закусочек, команду дал: «Слушай, брат!»

Иван сидел прямой, неподвижный, руки утвердил на коленях, черную с обильной проседью бороду положил па грудь, взор утупил. Не перебивал, слушал, лицом, казалось, темнел.

Федор умолк. Иван пустил пальцы в бороду. Потом сказал:

— В восемьдесят седьмом годе… — Поднял глаза: — Ты где тогда? — Федор нетерпеливо отвечал, был-де в Америке, в Виргинии. — У-у, далече тебя носило, — покрутил головой Иван. И продолжил: — А тут, на Москве, тут голод рыскал серым волком, голод тут гулял смертной вострой косой круче чумного мора, и господин Новиков тьмы и тьмы бедняков вызволял, до гривенника роздал, ибо чужд сребролюбия, ибо…

— А теперь ему видишь какой фавор?

Иван мрачно кивнул. Всем корпусом накренившись вперед, стал говорить, крепко припечатывая по колену тяжелой ладонью:

— Резвейшую тройку снаряжу. Привози. Сокрою. Со странниками уйдет. Котомку за плечи, посох в руки — уйдет. Привози! Не дадим антихристу утешения.

## *10*

В селе Бронницы отдохнули кони, и Каржавин велел вознице ехать в сторону Коломны, у первого верстового столба свернуть на проселок.

Ночь отходила, оставляя дороге тусклый иней, а смутному

небу дымчатый месяц. Скорая, тряская езда и бессонница не сморили Каржавина, но его решимость действовать уже не была нервно-веселой, как вчера, а словно бы затаилась в пружине, предельно сжатой. Он не вспоминал ни рукопашную на палубе «Ле Жантий», ни пешие вылазки из зимнего лагеря, когда рядом шли Ненси и Патрик, ни жестокую схватку за виргинский блокгауз… Не вспоминал, но слитным боевым ощущением все это обращалось в его жилах вместе с кровью.

Над дальним бором засветилась зорька, округа казалась чернью по серебру, ущербный месяц истаял, небо светлело. Ничего не замечая, Каржавин думал о том, что должно произойти, не может не произойти в Авдотьине… И вдруг, в неуследимые, безотчетные мгновения, обронив нить своих мыслей, он разом, как в охапку, забрал в душу и алеющие верхушки сосняка, и эти корявые пашни, и отрывистый храп коней, и этот ухабистый проселок. Все увидел зорко, отчетливо, в щемяще-сладком единстве с самим собою. Мельком почувствовал счастливое недоумение и тотчас властно и внятно сознал принадлежность своего «я», существа своего и к этой округе, и к тому, что было за лесами, за полями, где тоже проселки и тоже какие-нибудь деревни Агашкины, какие-нибудь Щербатовские выселки.

Тройка взяла изволок, дорога, плавно изгибаясь, потекла под уклон, в широкую, вольную долину, там врассыпную темнели села, разумно и ясно обозначенные высокими колокольнями. Внизу, справа лежало Авдотьино. Лежало, будто в купели, всклянь полной воздухом, таким гонким и чистым, что нежданно-негаданное возникновение желтого сгустка, грузного и душного, можно было бы принять за оптический обман, если бы не тот, теперь уже очень давний день, когда Каржавин пришел к Новикову и Николай Иванович достал из пузатого шкапа пухлую кипу корректурных оттисков «Гулливера» в переводе покойного дядюшки Ерофея. Потом говорили об издательском промысле, симпатия была, дружелюбие. Но едва Каржавин сказал о Париже, повеяло отчужденностью. Новиков и словечком не попрекнул, понимал, хорошо понимал, что у Каржавина не праздная прихоть, а все же… все же… Умолкнув, они смотрели в распахнутое окно, смотрели на желтый, грузный и душный петербургский полдень.

Вот это и привиделось в тонком, чистом апрельском воздухе, привиделось, встало поперек давешнего щемяще-сладостного чувства, и Каржавин утратил уверенность в твердом «да» Новикова. И вчера, и минувшей ночью в спящих Бронницах, и нынче, на закаменевшей грязи проселка, казалось непреложным: раскольники-странники тишком проводят Николая Ивановича

мимо застав, мимо рогаток; в Париже, где уж нет Бастилии, найдется печатный станок для новиковских тиснений, а славный капитан Жюль Фремон доставит их так, что и комар носу не подточит. Не сомневался Федор Васильевич в твердом «да» Новикова, но сейчас…

Прямой усадебной аллеей, насквозь пронизанной солнцем, тройка приближалась к господскому дому, железная кровля, выкрашенная зеленой краской, влажно блестела.

## *11*

— Барин, а барин, — пискнул казачок, отворив дверь в кабинет.

— Чего тебе? — спросил Новиков, мгновенно осипшим голосом.

— Оно не здешние, барин…

Новиков незряче взглянул на мальчонку.

— Ну что ж, приглашай, Ванюша.

Каржавин почему-то сразу отметил, что кафтан похож на пасторский, и лишь в следующую секунду увидел Новикова, прекрасное лицо его, большелобое, с крупными чертами, добродушное и вместе величавое, припорошенное, как пеплом, мертвенной бледностью. Эта мертвенная бледность отозвалась в душе Каржавина не порывом к утешению, не жалостью, а каким-то чувством-воспоминанием, включающим и Новикова, но они словно бы поменялись местами, и это не он, Каржавин, а Новиков, ослепнув, замерзал близ фурманного тракта из Бостона в Нью-Йорк, и это не он, Каржавин, а Новиков, слушая Зотова, ждал, страшась дождаться, не дознавались ли о нем в канцелярии обер-полицеймейстера… Одолев горловую спазму, Каржавин, поклонившись, назвал себя.

— О-о, американец! — глубокие темные глаза Новикова просияли.

Он оживился, ободрился, мертвенная бледность сошла, спрашивал, что слыхать на Москве, здоров ли почтеннейший Василий Иванович, по какой причине Федор Васильевич оставил Петербург. Каржавин отвечал кратко, самой лапидарностью ответов давая понять, что сейчас не время, есть нечто поважнее, и Новиков, поглядев на Каржавина пристально, грустно покачал головой.

— Оказав мне любезность своим посещением, вы подвергаете себя опасности.

— Не я, не я, — горячо отозвался Каржавин. — Вы, Николай

Иванович, вы подвергаете себя опасности.

— Знаю, очень хорошо знаю, — согласился Новиков. — Но кто, друг мой, противостанет воле божией? — Он помолчал, слабо улыбаясь, сложил на груди руки. — Много лет… дай бог памяти? Ну, да ладно… Много лет назад осматривал я крепость, в простолюдин зовут Шлюшином. И вот, вообразите, нынешнюю ночь мне снился Шлиссельбург. И будто бы я там, в застенке, цыплят кормлю…

Спазма сызнова стиснула горло Каржавина, но он прорезал спазму резким, высоким, ему несвойственным дискантом, стал говорить о том, о чем условился в Москве с Иваном.

## *12*

Обедать Каржавин отказался и уехал. Он был мрачен, подавлен, гневен, лицо осунулось, трубку, давно потухшую, держал в сжатом кулаке.

Лошади, обиженные краткостью отдыха, трусили нехотя. Федор с досадой ударил возницу по плечу. А тот вдруг воскликнул: «Чисто соколы!» — и, проворно обернувшись, указал кнутовищем на дорогу.

Гусарский отряд под командой князя Жевахова, огнепального истребителя книг, летел на рысях мимо старых сосен, мимо столба с надписью: «В имение Авдотьино».

## *13*

Был г-н Шешковский действительным статским советником, стал г-н Шешковский тайным советником. И от щедрот всемилостивейшей государыни сверх жалованья две тысячи годовых. Не ассигнациями — золотом, золотом.

— А как же? На одном господине Новикове кровушки своей сколь извел? Всяких, судырь, видывал, ан такого лукавца, ей-ей, не видывал. Натура вострая, ум увертливый, нрав дерзкий. Князь, на что покоритель крымцев, взмолился: пришли, государыня, Степана Иваныча, кроме Степана Иваныча правды никто не сведает.

— Сведали?

Не отвечая, вытянул он безымянный палец, сверкнул бриллиантом и смиренно, как послушник, пояснил:

— От фамилии несчастного Радищева в благодарность моей ласковости. Даяние есть благо. Отсель и мое деяние ко благу —

не досаждал господину Радищеву, а утешал. Ну разве что в расспросных речах держал скрозь вся ночи, дак ведь и сам глаз-то не смыкал. — Он потер зябкие ладошки, лизнул бледные губы. — Лукавца же поручика Новикова в Шлюшине, в крепости расспрашивал. Там сырость так и грызет, до хрящиков пронимает. А бумаги? Все перечти, все упомни, все разбери! И куда Новиков клонил? Ежели генеральное обольщение выпростать, клонил к равенству. Ну, скажи на милость, как я, Степан Шешковский, да вдруг и ровней с давним моим чиновником Сашкой Золототрубовым, эдаким дуроплетом? — Он губу выпятил и задумчиво причмокнул. — А что ж лукавец-поручик? А ничего, кайся годов пятнадцать кряду. А к утечке оттуда ни единой возможности, ни-ни… На его содержание я, слышь ты, велел давать по рублю на день. Мало разве, а? Вот комендант доносит рапортом; просит-де Новиков дозволения на обритие бороды. Прикажу иметь снисхождение. Так-то, судырь. А злые языки молотят: Шешковский — человек самых жестоких свойств, одного имени Шешковского все трепещут. Вздор! У кого душа чиста, не трепещет. Ибо Шешковский, судырь мой… — Поговорив о себе в третьем лице, что, как известно, облегчает самоанализ, Степан Иваныч удовлетворенно перевел дух и продолжал: — Я эвон когда глаголил: неймется сочинителям, неймется. И не поспешал: даст бог день, даст и сочинителя. А теперь… — Он подобрался, приосанился, окреп голосом: — Теперь поспешать надо!

Март того года унес двух монархов. Австрийский преставился вроде бы отравленный. Шведского застрелили на балу, как тетерева на току. Кто и почему — шведы, поди, знают… В апреле ужалили государыню донесением: пробирается в Санкт-Петербург злодей, умысел имеет на здравие величества. Судачили, будто летом лежать ей во гробе. Императрица передергивала плечами; боюсь сойти с ума от событий, потрясающих нервы.

— Демагоги парижанские, — продолжал г-н Шешковский, — достойны виселицы, а нашенские у них пристяжными ходят. — Он вдруг блекло улыбнулся. — Филозофу Дидероту случалось вишь и дело молвить. Из Дидеротова письма мне матушка-государыня самолично перевод вчинила. Давно, а помню крепко. Ежели бы я — это Дидерот про себя, значит, — ежели бы я прострочил вечерком в какое-нибудь злачное местечко, начальник полиции узнал бы о сем еще до отхода ко сну.

— Генерал Сартин докой был.

— И мы не лыком шиты, — заметил г-н Шешковский.

— У Сартина, в канцелярии на Нев-Сент-Огюстен, едва ль не на каждого нашлась бы справка.

— Хе, — выдохнул г-н Шешковский, задетый за живое, — в

кан-це-ля-рии… А у меня, судырь, в дому собственном!

Ох, уж этот его дом в Коломне, на питерской окраине. С флигелями и службами, с пытошным застенком. Здесь он был, пытошный застенок, здесь, а не во дворце графа Самойлова, как думали тогда. И здесь же, в одном из покоев с окнами в толстых решетках и шкапами в бронзовых накладках, находился *личный* архив г-на Шешковского. Не потому личный, что хранил семейное, а потому, что хранил секретные бумаги личного пользования.

Разумеется, и чужой переписки не чуждался Степан Иваныч. Выдержки-экстракты складывал в картоны. И особую гордость испытывал, залучив перлюстрацию из конвертов с надписью: «Сжечь прежде всего», то есть прочти и предай огню. Наследник Павел Петрович не почтой слал — с надежнейшими курьерами, а Степан-то Иваныч, случалось, перехватывал. Перехватив, снимал копии: одну для императрицы, другую для себя.

Личный архив! Были там бумаги из дела Радищева, были из дела Новикова. Но, честно сказать, горше другое. Не объясню, каким манером изловчился он выкрасть заветный и заповедный трактат Каржавина. Выкрал, сволочь! Потеря невозвратная.[57]

Все это приключилось невдолге до того, как г-н Шешковский протянул ноги. Если о чем-либо и стоило сожалеть, так это о том, что погребли его по соседству с писателями. Вот уж истинно: и в царстве теней продолжил надзор за русской словесностью. Если ж чему-либо и стоило радоваться, так это тому, что не успел, не успел г-н Шешковский залучить Каржавина в крепость Петра и Павла или в казарму Шлиссельбургскую, соседом девятого нумера, Николая Ивановича Новикова.

Но тайному советнику отпущено было еще без малого два года. И он лелеял прожект изобличения ужаснейшего заговора.

— Рассуди, — говорил, прижмуриваясь, — нет, ты вникни, рассуди. Я ж Феденьку-то с малолетства вроде бы пестую. Бывало, радовался успешливости в науках: знай, дескать, наших. В бунтовских шайках он обретался, теперь вот на одних стежках с господами Радищевым и Новиковым, а я все сквозь пальцы, сквозь пальцы. Зачем? Почему? — И глазки к потолку возвел. — А затем и потому, что есть ему предназначенье. Да-с! — Из стопки бумаг вытянул исписанный лист, проворно вытянул, как козырь из колоды. — Слушай, чего господин Симолин, наш посланник во Франции, доносил государыне: отсюда посылают разводить огонь восстаний, раздувать полымя революций… Сообрази: французишку пошлют — мотылек на нашу свечку. А Феденьку и посылать нечего — чистой воды эмиссар! Слушай далее. Феденька с француженкой окрутился. Будто мало своих, погляди,

какие павы, а ему вишь француженка по сердцу. Еще бы! Она из Парижа та-акое отписывала, святых вон… — Степан Иваныч коснулся картонки с перлюстрациями, отдернул ладонь, будто обжегся. — Эк, прыщет вредностями! Да-с, хороша парочка… Вон Шаховская, княжна, в Париже за бунтовщика выскочила, государыня и прикажи: урожденную Шаховскую возвернуть в Россию, а муженька-то на российский порог не пущать. А вот мадаму, которая Каржавина, эту вот я ж допустил — хороша парочка! Чего говоришь? Расстались? Знаю, судырь. знаю. И про то, что свою касаточку в Москву, гувернанткой у Архаровых определил, тоже знаю. — Степан Иваныч тихонечко рассмеялся. — Ежели со стороны глянуть, выйдет по-твоему: не ужились, и вся недолга. А ежели отсюдова глянуть, из Тайной, выйдет по-моему: умысел! Сам, значит, в одной столице колобродит, мадама — в другой. Вот ведь как у меня ладно да скла… — Он осекся на полуслове: палили пушки.

## *14*

В громах адмиралтейских пушек сходил со стапелей фрегат — вершилось дело строгое. Пестрели флаги на судах, река играла солнечными бликами. Громадина медленно сближалась с полноводьем Невы, широким и выпуклым, тяжелым и плавно-подвижным.

Фрегат сходил со стапелей в громах адмиралтейских пушек. «А мы еще только киль закладываем», — думал Каржавин. Толпа снимала шапки — вершилось дело строгое…

# ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Поздним февральским вечером стоял я в пустынном сквере, смотрел сквозь метель на желтые окна старого дома. Там некогда жил Каржавин, там и скончался в канун наполеонова нашествия.

Ворожила метель, возникали тени за освещенными окнами.

В его комнате пахло книгами и табаком.

Часы Морского собора мерно и достоверно отсчитывали время нашего свидания. Каржавин курил коротенькую шкиперскую трубку. Он курил крепкую смесь виргинского с волжским. Прощаясь, сказал: «Возьми, коли хочешь, фунтика три».

Донесся шум полночного трамвая, тот грубый стук порожнего вагона, что всегда отчетлив в уснувшем городе.

Дым виргинского и волжского стелется, голубея, поверх страницы. Вот этой, где последняя точка.

**notes**

# Примечания

# 1

По обстоятельствам времени и места знакомство П. Бомарше и Ф. Каржавина представляется вероятным. В ряде последующих глав возникают схожие ситуации, еще не имеющие прямого подтверждения, однако произведение литературное предполагает право автора на версии, на то, чтобы идти, так сказать, впереди документа. «Ст. Р.»

# 2

Братья Каржавины, вольнодумцы и атеисты, несомненно, оказали сильное влияние на революционность Ф. Каржавина. Разумеется, мы должны отталкиваться не от привычного образа революционера XIX — начала XX веков, а от того, как данный человек отражает освободительные идеи в контексте своего времени. «Ст. Р.»

# 3

Ни одного дня без черточки (строчки) — латинское выражение, означающее, что не следует и день пропустить без упражнений в своем искусстве, в своем ремесле.

## 4

В долг, в кредит *(фр.)*.

# 5

С полным правом, законно *(фр.)*.

# 6

Двухнедельный «Энциклопедический журнал» издавался в 1756–1793 гг. Один из наиболее последовательных печатных органов энциклопедистов. «Ст. Р.»

## 7

Монкёр — от *фр.* mon coeur — мое сердце.

# 8

Ф. Каржавин единственный из русских участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности университетского преподавателя французского языка. И вышел победителем. Но совмещать две службы он не имел формального права. Отказаться же от службы у В. И. Баженова не хотел. Как победитель конкурса, Ф. Каржавин получил «привилегию на содержание публичной школы». Школа была открыта, однако просуществовала недолго, вероятно, по причинам финансовым. «Ст. Р.»

## 9

Чиновник, исполнявший в военных судах обязанности прокурора и следователя.

# 10

Канат с хвостиками, орудие телесного наказания нижних чинов.

# 11

В круг дружеских связей Ф. Каржавина входили, например, известный картограф Жан Бюаш, гравер Жорж Ле Руж, историк Жан Бар. «Ст. Р.»

# 12

В начале французской революции Петербург запросил у посольства в Париже перечень русских, жительствующих в столице королевства. Список был прислан. В числе давних жителей указывались беглый солдат Тимофей и Зарин, служивший в середине 70-х годов лакеем графа Верженна. «Ст. Р.»

# 13

Ныне Портленд.

## 14

Порт — корабельная амбразура для ведения орудийной стрельбы.

# 15

Кайенна — центр французской колонии в Южной Америке; место каторги ж ссылки политических заключенных.

# 16

Случай не единичный. Известен рапорт полицейского офицера об аресте литератора, современника Ф. Блонделя: «Думая, что его везут в Бастилию или в другую тюрьму, он сначала переносил арестование неустрашимо; но потом, когда заметил, что его засаживают в сумасшедший дом, то трудно описать вам, какая произошла в нем внезапная перемена — его покинула вся философия». «Ст. Р.»

# 17

В. И. Ленин называл американскую войну за независимость XVIII в. одной из великих, действительно освободительных, действительно революционных войн. «Ст. Р.»

# 18

В бумагах Ф. Каржавина упоминается, что он служил помощником директора училища. Но какого, нам неизвестно. «Ст. Р.»

# 19

Обстоятельства, обязывающие начать войну на стороне союзника.

# 20

Ф. Каржавин послал письмо президенту Континентального конгресса с предложением своих услуг в качестве переводчика (сохранился автограф на французском языке). Этот факт свидетельствует о том, что он отнюдь не довольствовался ролью «снабженца», а изыскивал и другие возможности участия в американской революции.

Соображения Ф. Блонделя были правильными: Екатерину II больше заботило ослабление британского могущества, нежели подавление американских мятежников. «Ст. Р.»

# 21

Приз — неприятельская собственность или военная контрабанда, захваченные в морской войне. Часть приза в денежном выражении отчислялась в пользу экипажа корабля-победителя.

# 22

За один лишь 1768 г. («время» П. Джонса) европейские суда перевезли из Африки в Америку сто тысяч черных рабов. «Ст. Р.».

# 23

В дневнике одного из немецких офицеров отмечено, что из его полка дезертировало до двухсот солдат. «Ст. Р.».

## 24

«Омарами» и «ростбифами» насмешливо называли английских пехотинцев, одетых в красные мундиры.

# 25

Тайна фирмы, возглавляемой Бомарше, перестала быть тайной лишь в 1794 г. «Ст. Р.».

# 26

Французские офицеры, ужаснувшись при виде оборванных солдат континентальной армии, окрестили их «санкюлотами», т. е. «бесштанными». Впоследствии многих из этих офицеров, Лафайета и Сегюра в том числе, еще больше ужаснули санкюлоты отечественные. «Ст. Р.».

# 27

«Сыны свободы» — общественная организация, фундаментом которой были городские низы. Традиция совместных действий возникла в колониях задолго до революции. Известны, например, забастовки извозчиков (1684), трубочистов (1763) и портных (1768). «Ст. Р.».

## 28

Обстоятельства, приведенные автором, напоминают историю британского шпиона майора Андре. «Ст. Р.».

# 29

Г. Х. Веттер фон Розенталь (1753–1829), участник американской революции, вернулся в Россию в 1784 г. «Ст. Р.».

## 30

Шарлевиль и Мобеж — города Франции, где находились казенные оружейные заводы. «Плошками» называли в просторечия шляпы с приподнятыми полями; их носили во французской армии.

# 31

Эмблемой сердца из пурпура или шелка — знаком военных заслуг — награждали солдат континентальной армии.

# 32

Джек Сиссон, солдат-негр, находился в небольшом отряде, совершившем летом 1777 г. нападение на английскую штаб-квартиру в Ньюпорте (штаг Род-Айленд) и захватившем там генерала Прескота. Эта операция считается одной из самых дерзких за все годы революционной войны… Сейлем Пур участвовал в битве при Банкер-Хилле (1775 г.), характерной массовым героизмом повстанцев. Храбрость С. Пура отмечена в официальном документе, подписанном 14 офицерами: «…этот негр воплощает в себе мужественного и отважного воина»… Битва при Идентоне (штат Северная Каролина) произошла тоже в 1775 г. Имя разведчика-негра осталось неизвестным, хотя он, так сказать, обеспечил победу; проникнув в расположение королевских войск, столь красноречиво поведал о слабости «бунтовщиков», что англичане, ничтоже сумнящеся, ринулись на хорошо укрепленные позиции неприятеля, за что и поплатились сокрушительным разгромом. «Ст. Р.».

# 33

Ричард Уайзен — автор «Семи трактатов по хирургии».

# 34

История американской революции не бедна примерами воинской отваги женщин. Так, Маргарет Корбин служила вместе с мужем-фермером в артиллерии. В одном из сражений ее муж погиб, она продолжала вести огонь, несмотря на тяжелые ранения. Столь же мужественно вела себя фермерша Маргарет Хейес, произведенная в младшие офицеры. Женщины были и проводниками, и разведчицами, и связными, и поставщиками оружия, припасов, одежды. Случай с Люси Семтер имеет сходство с историей Деборы Геннет, служившей в 4-м Массачусетском полку. «Ст. Р.».

## 35

Аналогичные суждения несколько позднее высказывали просветитель В. Малиновский, первый директор Царскосельского лицея, и литератор П. Свинъин, посетивший Северную Америку в начале прошлого столетия. «Ст. Р.».

Следует отметить, что и американцы пытались привлечь индейцев. В 1778 г. конгресс уполномочил Дж. Вашингтона принять в континентальную армию 400 добровольцев из индейских племен. Явилось не больше полусотни. Пятеро индейцев, произведенные в младшие офицеры, служили в штабе главнокомандующего. Это, конечно, не означало, что американцы и аборигены замирилисъ. Летом 1779 г. карательный корпус прошел, капк смерч, по землям ирокезов. Кукурузные поля были выжжены, фруктовые сады вырублены, скот перебит. «Ст. Р.».

## 37

Такие случаи не были редкостью и после войны за независимость. Джона Теннера похитили в 1789 г. Впоследствии он издал книгу «Тридцать лет среди индейцев» (Нью-Йорк, 1830 г.). А. С. Пушкин привел обширные выдержки из этой книги в своей статье-рецензии, опубликованной журналом «Современник» (1836 г.). «Ст. Р.».

## 38

Буканина — мясо, вяленное на буковых палках. Отсюда — буканьер, что значит копченый. Буканьерами называли корсаров.

# 39

Хуан де Миральес жил в Виргинии одновременно с Ф. Каржавиным. В Соединенные Штаты испанцы отправляли не только тайных агентов, но и явных. Хуан де Миральес был назначен наблюдателем при конгрессе. Его деятельность сводилась не столько к наблюдению, сколько к заключению коммерческих сделок. «Ст. Р.».

# 40

Письма Ш. Каржавиной к Ф. Каржавину, испещренные пометками адресата, находятся в архиве Ленинградского отделения Института истории АН СССР. В ноябре 1965 г. нами получен микрофильм этой коллекции (заказ № 2884). «Ст. Р.».

## 41

На Кубе пробыл Ф. Каржавин около двух лет. В 1785–1787 гг. он находился в Виргинии. Служил переводчиком во французском консульстве, преподавал французский язык. «Ст. Р.».

# 42

Shmerz — глубокая печаль, тоска, страдание (нем.). Как поясняет словарь, все значения этого слова имеют неприятный оттенок.

## 43

В доме родственника Ф. Каржавина действительно обучались указанные крепостные бригадира В. Б. Голицына. Современный исследователь отмечает: грамотная, активная молодежь — крепостная, разночинная, купеческая — представляла собою легковоспламеняющуюся, опасную для царизма среду. «Ст. Р.».

# 44

Историк литературы В. П. Семенников подчеркивал, что в Петербурге 80-х годов XVIII в. распространялись рукописи об американской революции. «Ст. Р.».

# 45

Ф. В. Кречетов был арестован в мае 1793 г. Содержался в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, затем в Шлиссельбурге. Из заточения вышел в 1801 г. Вольной, измученный, отправился в пермскую ссылку.

Сравнительно недавно обнаруженное «Дело по просительному письму…» Ф. В. Кречетова, датированное 1808 г., свидетельствует о несломленности его духа: он добивался разрешения издавать книги. Бумаги Ф. В. Кречетова, составляющие шесть томов, находятся в Центральном государственном архиве древних актов (Москва). «Ст. Р.».

Критическое отношение Ф. Каржавина к послереволюционной Америке косвенно подтверждается некоторыми строками письма к нему из Вильямсберга от К. Беллини (1788 г.). «Ст. Р.».

# 47

Ф. Каржавин был отличным рисовальщиком. Альбом его хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. «Ст. Р.».

# 48

П. Джонс умер в июле 1792 г. Революционная Франция проводила его в последний путь депутацией Национального собрания. Это вызвало злобную реплику Екатерины II: Пол Джонс «совершенно заслуженно чествовался презренным сбродом». «Ст. Р.».

«Поход на Версаль» состоялся в октябре 1789 г. «Ст. Р.».

## 50

Вероятно, имеется в виду персонаж книги Г. Девиса «Путешествие по библиотеке страстного охотника до книг…», изданной в 1822 г. в Англии. «Ст. Р.».

## 51

Одно из объявлений «С.-Петербургских ведомостей» извещало о том, что в зотовской лавке «продается новая книга Федора Каржавина…». «Ст. Р.».

# 52

В августе 1787 г. в Петербурге, на Дворцовой площади собралось 400 выборных от 4000 рабочих подрядчика Долгова, чтобы подать жалобу на жестокость и притеснения хозяина. Воинская команда разогнала ходоков, 17 были схвачены и отданы под суд. «Ст. Р.».

## 53

Торжественное перенесение праха Вольтера в Пантеон происходило в июле 1791 г. «Ст. Р.».

## 54

На тяжкие работы в Кронштадте каторжников отправляли по указу Екатерины II. «Ст. Р.».

Перечень изданий Ф. Каржавина насчитывает несколько десятков названий. Его литературная деятельность свидетельствует о принадлежности автора и переводчика к тем людям, для которых, по определению В. И. Ленина, лозунг национальной культуры был «единым и цельным призывом к борьбе против феодализма и клерикализма». «Ст. Р.».

## 56

Имеется в виду некий Ю. Николаев, служивший в Тайной экспедиции. «Ст. Р.».

Местонахождение личного архива С. И. Шешковского неизвестно. Следует также отметить, что многие документы Тайной экспедиции были уничтожены при разборе сенатского архива в конце прошлого века. «Ст. Р.».